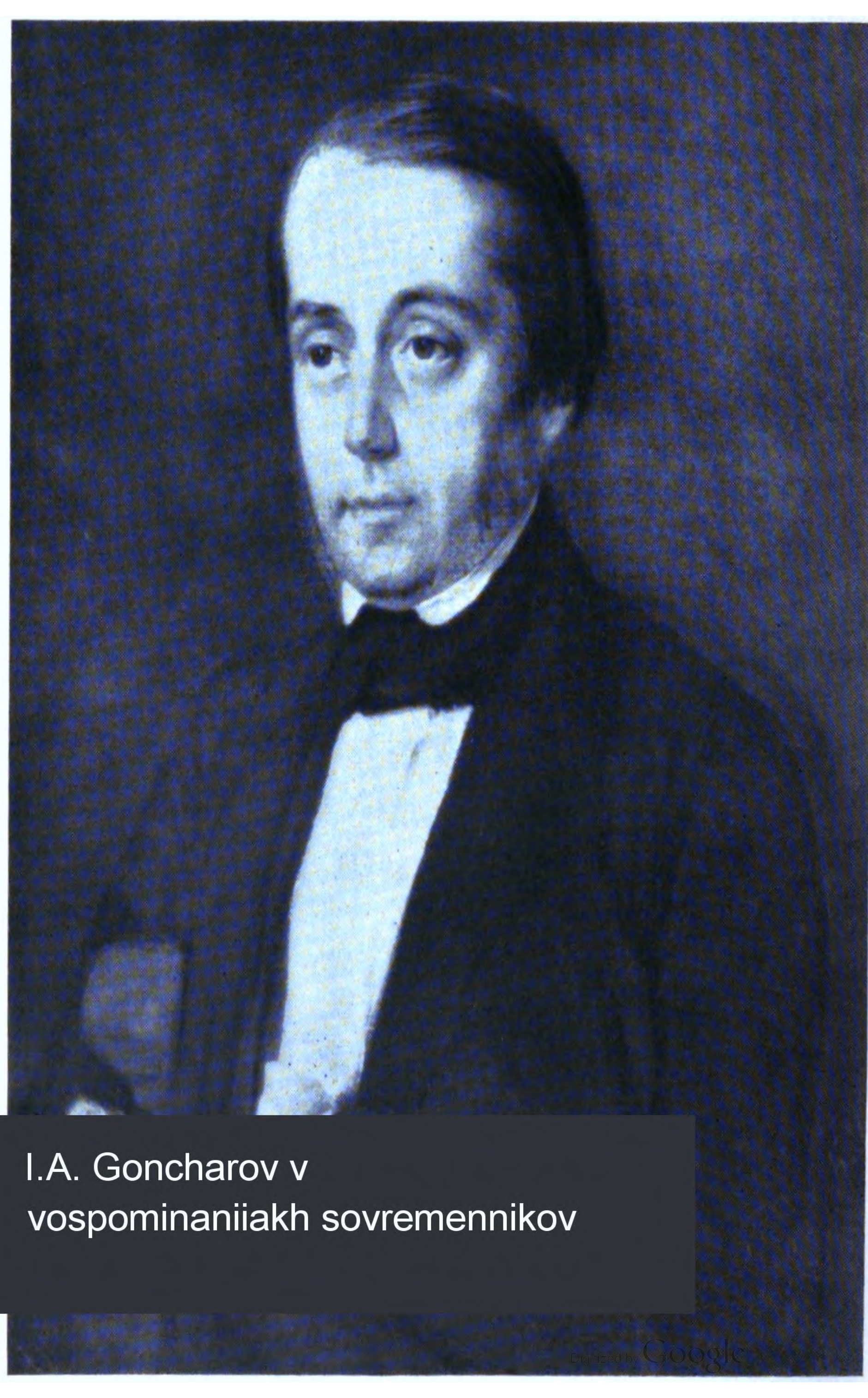
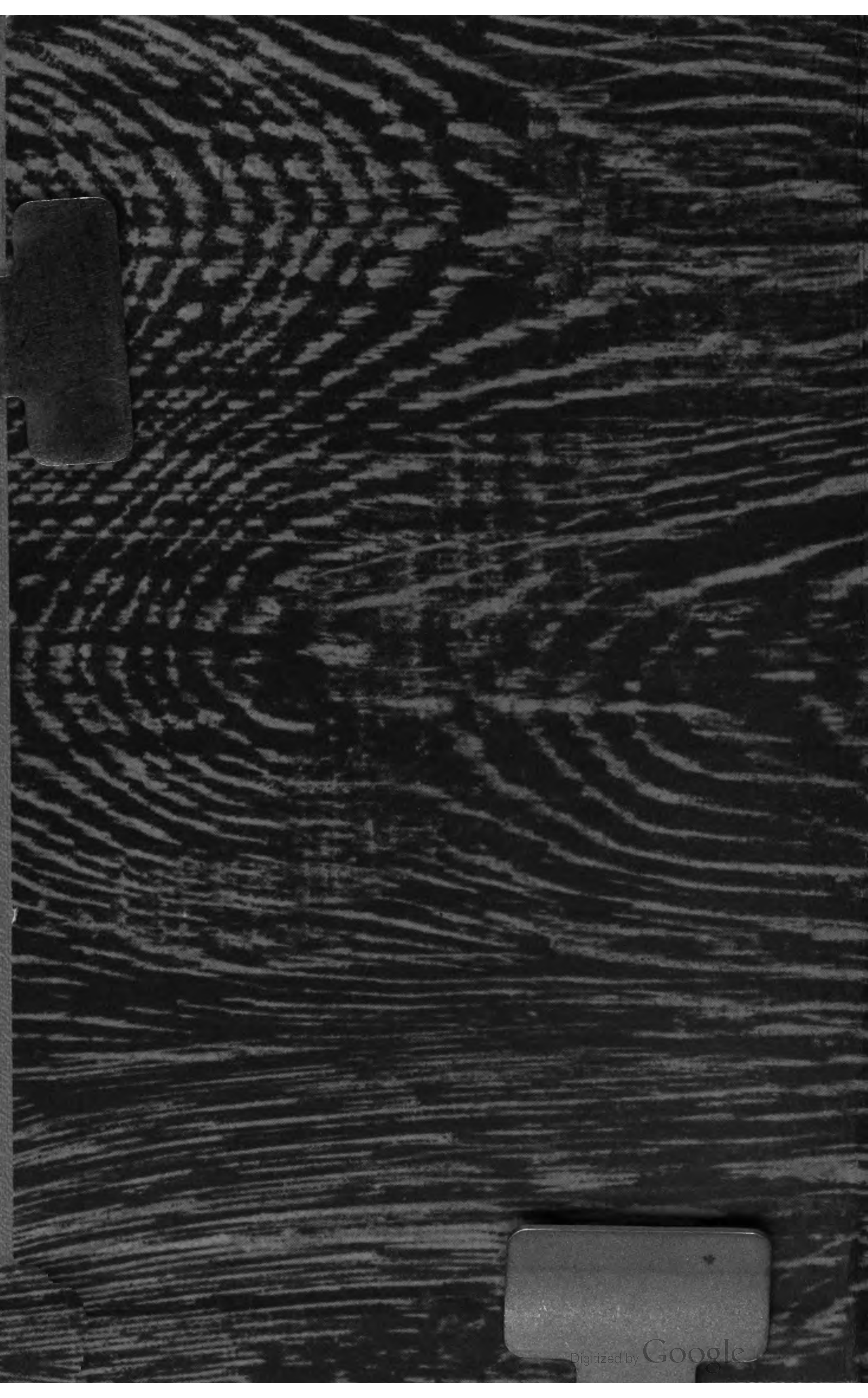

I.A. Goncharov v
vospominaniiakh sovremennikov
Digitized by Google







ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

Ленинградское отделение

Ленинград

1969

Серия литературных мемуаров

Под общей редакцией

В. В. ГРИГОРЕНКО,
С. А. МАКАШИНА,
С. И. МАШИНСКОГО,
Б. С. РЮРИКОВА

И. А.
ГОНЧАРОВ
В
ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННИКОВ

Ответственный редактор
член-корреспондент Академии наук СССР
|*Н. К. Пиксанов*|

Подготовка текста и примечания
А. Д. Алексеева и О. А. Демиховской

Вступительная статья
А. Д. Алексеева

Оформление художника
Н. Крылова

7-2-2
39-69



И. А. Гончаров
Портрет работы И. Н. Крамского. 1865

ОТ РЕДАКТОРА

Сборник воспоминаний современников об И. А. Гончарове займет свое необходимое место в серии литературных мемуаров. Не буду утверждать, что он станет в первом ряду книг подобного типа: воспоминания о Пушкине и Л. Толстом, конечно, многочисленнее и порою ценнее, чем о Гончарове. Не говорю уже о Горьком, о котором, по подсчетам К. Д. Муратовой, опубликовано свыше двух тысяч мемуаров. Это объясняется как своеобразием одинокой жизни Гончарова, так и чертами его замкнутого характера. Сказалось и сторожкое отношение литераторов-мемуаристов к цензурной деятельности писателя, а также и напечатанное им незадолго до смерти литературное завещание «Нарушение воли», запрещавшее публиковать письма и все то, что им самим не предназначалось к печати.

И все же крупная личность Гончарова, его высокое художественное дарование, его пребывание в центре литературного движения, начиная с 40-х годов, а также долголетняя общественная и служебная деятельность обеспечили ему немалое количество мемуаров.

Среди мемуаристов, высказывавшихся о Гончарове, имеются известные лица: П. В. Анненков, И. И. Панаев, Д. В. Григорович, А. В. Никитенко, А. Ф. Кони, М. М. Стасюлевич, П. Д. Боборыкин и др. Нельзя не пожалеть, что не оставили своих воспоминаний А. Д. Галахов, А. Ф. Писемский, А. Н. Пыпин, М. Г. Савина, С. А Никитенко.

Многое из включенного в сборник уже публиковалось, но имеются в нем и такие воспоминания, которые печатаются впервые: В. М Чегодаевой, М. В Кирмалова, частично Е. А. Гончаровой. Они были обнаружены О. А. Демиховской в Центральном государственном архиве литературы и искусства (Москва). Включены и публиковавшиеся, но безвестные воспоминания В И. Бибикова, Ф. А. Кудринского, Р. И. Сементковского, Н И. Барсова, Д. Н. Цертелева, И. А. Купчинского и др.

Некоторые воспоминания, в частности о В. Г. Белинском и о кружке Майковых, ценны не только для освещения личности Гончарова, но и для социальной характеристики его окружения и эпохи.

То же можно сказать и о воспроизводимых отрывках из дневниковых записей А. В. Никитенко.

Особую группу составляют воспоминания родственников писателя, богатые сведениями о сравнительно малоизвестной бытовой стороне жизни романиста и о его симбирском окружении.

Совокупность всех этих особенностей мемуаров поможет читателю полнее и глубже воссоздать писательский труд И. А Гончарова, его социально-политические воззрения, окружавшую его общественную среду и черты его характера до бытовых особенностей включительно. Нередко случается, что именно домашние, бытовые подробности жизни писателя помогают вскрыть более глубокие и ценные социальные источники творчества.

Само собой разумеется, что далеко не все помещенные в сборнике мемуары равноценны по своей значимости, по точному и беспристрастному воспроизведению событий и фактов из жизни И. А. Гончарова. Во многих случаях составителям-комментаторам пришлось произвести перепроверку показаний мемуаристов, основываясь на документальных источниках. В процессе этой работы было установлено, что в некоторых воспоминаниях родственников явно чувствуется недоброжелательность к Ивану Александровичу, оставившему по завещанию материальные средства своим петербургским воспитанникам Трейгут. Именно по этим соображениям оказалось невозможным включить в сборник написанные не без литературных достоинств воспоминания племянника — А. Н. Гончарова, в свое время опубликованные М. Ф. Суперанским («Вестник Европы», 1908, № 11), воспоминания, от начала до конца тенденциозно враждебные писателю, без достаточных оснований умаляющие его деятельность и порочащие его характер.

В ряде воспоминаний, имеющих неоспоримую ценность, встречаются фактические неточности и ошибки. Особенно грешат ими воспоминания Г. Н. Потанина. Примечания к ним предостерегут читателей и литературоведов от многих ошибочных заключений.

Комментарии к сборнику носят предельно сжатый характер. Дополнительные сведения легко находимы в «Летописи жизни и творчества И. А. Гончарова» (1960), составленной А. Д. Алексеевым, в «Библиографическом указателе» к десятитомной «Истории русской литературы» (1962) под редакцией К. Д. Муратовой, а также в составленной А. Д. Алексеевым «Библиографии И. А. Гончарова» (1968).

Порядок расположения мемуаров в сборнике выдержан, насколько это возможно, в хронологической последовательности отдельных этапов жизни писателя, независимо от времени появления мемуаров в печати.

Н. К. Пиксанов

И. А. ГОНЧАРОВ
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

Имя Гончарова, одного из крупнейших мастеров русского реалистического романа, стоит в одном ряду с Тургеневым, Толстым, Достоевским. Навсегда останутся выдающимися завоеваниями русского реализма XIX века его романы «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв», а образ Обломова — классическим типом мировой литературы. Значительна также его книга путевых очерков — «Фрегат „Паллада“», до сих пор не утратившая своего историко-литературного и познавательного значения. Исключительный интерес представляют воспоминания Гончарова о Белинском и статья «Мильон терзаний», содержащая непревзойденный по своей глубине анализ бессмертного «Горя от ума».

В романах Гончарова нашла глубокое и всестороннее отражение дореформенная и пореформенная жизнь России, как столичной, так и провинциальной. Писатель считал, что все три романа по идейному замыслу представляют «одно огромное здание, одно зеркало, где в миниатюре отразились три эпохи — старой жизни, сна и пробуждения» и что все три романа «связаны одною общею нитью, одною последовательною идеею — перехода от одной эпохи русской жизни... к другой».

Высоко оценил первый роман Гончарова Белинский, увидев в нем не только бесспорные художественные достоинства, но прежде всего его огромное общественное значение — как «страшного удара романтизму, мечтательности, сентиментальности, провинциализму».

Несравненно больший успех выпал на долю «Обломова» Герой его, ставший нарицательным с первых дней появления романа, еще более упрочил за ним славу произведения классического, которому в скором времени суждено было стать произведением всемирно

известным. «В типе Обломова и во всей этой обломовщине мы видим нечто более, нежели просто удачное создание сильного таланта; мы находим в нем произведение русской жизни, знамение времени», — писал Добролюбов в статье «Что такое обломовщина?».

Совсем по-иному, в новой общественно-политической обстановке сложилась судьба последнего романа Гончарова — «Обрыв». Завершенный в консервативно-реакционном окружении и появившийся в печати спустя двадцать лет после «Обломова», роман этот в общественном отношении не мог быть шагом вперед, несмотря на его неоспоримые художественные достоинства. Антидемократическая направленность романа, его враждебность материалистическому мировоззрению и революционным устремлениям молодого поколения были весьма очевидны каждому из современников. Демократическая критика (Н. Щедрин, Н. В. Шелгунов, А. М. Скабичевский и др.), избрав своей мишенью тенденциозный и наиболее уязвимый образ Марка Волохова, не менее тенденциозно и односторонне осудила гончаровский роман в целом, с излишней поспешностью низведя его в категорию откровенно реакционных, антинигилистических романов. Но на то у критики были особые причины, пройти мимо которых мы не имеем намерения, и речь о них пойдет ниже.

* * *

Большая, весьма своеобразная, хотя и не слишком богатая внешними событиями жизнь Гончарова (если не считать кругосветного путешествия на «Палладе»), к сожалению, нашла далеко не полное отражение в мемуарной литературе Ниже мы попытаемся объяснить причину этого несколько необычного явления, этой несправедливости, допущенной современниками по отношению к одному из крупнейших русских писателей, а пока отметим, что мы не имеем воспоминаний о пребывании Гончарова в Московском университете одновременно с Лермонтовым, Герценом и Белинским, нет воспоминаний о его службе в Симбирске по окончании университета, о кругосветном плавании на «Палладе». Правда, во всех этих случаях Гончаров в какой-то степени сам восполнил пробелы будущих мемуаристов, опубликовав книгу путевых очерков, имеющую определенно выраженный мемуарный характер, а затем, в конце жизни, — очерки «Из университетских воспоминаний» и «На родине». Но в предисловии к последнему очерку, во избежание упреков читателя за отход от истины, Гончаров счел нужным сказать: «Это не плод только моей фантазии, потому что тут есть и правда, и, пожалуй, если хотите, все правда. Фон этих заметок, лица, сцены

большею частию типически верны с натурой, а иные взяты прямо с натуры».

Наиболее ранний период жизни Гончарова, нашедший отражение в воспоминаниях, относится ко второй половине 40-х годов, ко времени его наибольшей близости к семье Майковых и частых встреч с В. Г. Белинским. О Гончарове как постоянном посетителе литературного кружка Майковых рассказывают непосредственные участники кружка — А. В. Старчевский, Д. В. Григорович и более молодой А. М. Скабичевский. Правда, сам Гончаров в этих воспоминаниях занимает сравнительно небольшое место, но ценность их от этого не уменьшается: они прекрасно воспроизводят окружение писателя — членов семьи Майковых и основных участников их кружка.

Воспоминаний о встречах Гончарова с Белинским и о том огромном влиянии, которое оказал на будущего автора «Обломова» великий революционный демократ, мы почти не имеем, кроме широко известных воспоминаний И. И. Панаева и А. Я. Панаевой. А между тем это был исключительно важный период жизни писателя, период создания им первого крупного произведения — «Обыкновенной истории», период его идейно-художественного формирования, протекавшего в русле руководимой Белинским «натуральной школы». Правда, и этот частичный пробел в мемуарной литературе в значительной мере был восполнен самим Гончаровым, оставившим замечательные «Заметки о личности Белинского», в которых, рассказав попутно и о себе, Гончаров сумел дать верную социально-политическую характеристику великого демократа: «Это был не критик, не публицист, не литератор только — а трибун». А внутриполитическую обстановку тех лет во всей ее неприглядности и трагичности воссоздал в воспоминаниях о Белинском И. С. Тургенев. Мы напомним читателю эти замечательные строки, передающие чувства и настроения, которыми жили в те годы передовые люди круга Белинского: «Бросишь вокруг себя мысленный взор: взяточничество процветает, крепостное право стоит, как скала, казарма на первом плане, суда нет, носятся слухи о закрытии университетов, вскоре потом сведенных на трехсотенный комплект, поездки за границу становятся невозможны, путной книги выписать нельзя, какая-то темная туча постоянно висит над всем так называемым ученым, литературным ведомством, а тут еще шипят и расползаются доносы; между молодежью ни общей связи, ни общих интересов, страх и приниженность во всех, хоть рукой махни! Ну, вот и придешь на квартиру Белинского, придет другой, третий приятель, затеется разговор, и легче станет; предметы разговоров были большей частью нецензурного (в тогдашнем смысле) свойства, но собственно политических прений не происходило: бесполезность их слишком явно

била в глаза всякому. Общий колорит наших бесед был философско-литературный, критическо-эстетический и, пожалуй, социальный, редко исторический»[1].

И. И. Панаев воспроизвел в своих воспоминаниях, пожалуй, один из самых ярких эпизодов в общении Гончарова с Белинским — чтение Гончаровым рукописи первой части «Обыкновенной истории». Сам Гончаров, вспоминая спустя много лет об этом чтении и о том впечатлении, которое произвело оно на Белинского, писал: «Белинский, месяца три по прочтении, при всяком свидании осыпал меня горячими похвалами, прочил мне много хорошего в будущем»[2].

Наибольшее количество воспоминаний о Гончарове посвящено периоду, начавшемуся с конца 50-х годов, со времени опубликования романа «Обломов». К наиболее ценным относятся воспоминания П. В. Анненкова, А. Ф. Кони, М. М. Стасюлевича, П. Д. Боборыкина и выдержки из «Дневника» А. В. Никитенко.

Воспоминания П. В. Анненкова, как и дневниковая запись А. В. Никитенко от 29 марта 1860 года, с наибольшей объективностью воспроизводят возникший между Тургеневым и Гончаровым конфликт, завершившийся товарищеским третейским судом.

Остановимся несколько подробнее на этом инциденте, вызвавшем много шуму и разговоров в литературных кругах и оставившем заметный след в посвященной Гончарову мемуарной литературе. Отметим также, что не все мемуаристы, касавшиеся этого вопроса, дали ему объективное отражение. Некоторые трактуют его слишком упрощенно, односторонне, даже превратно, как, например, Д. В. Григорович или Е. П. Майкова (в передаче К. Т.). Д. В. Григорович изобразил этот инцидент не как историко-литературное событие, оставившее неизгладимый след в биографиях обоих писателей, а всего лишь как курьезное, анекдотическое происшествие.

Чтобы иметь наибольшую ясность в создавшихся в конце 50-х годов между Гончаровым и Тургеневым отношениях, обратимся к фактам, которые в общих чертах выглядят так.

Гончаров, внимательно следивший за появлявшимися в печати произведениями Тургенева («Дворянское гнездо», «Накануне», «Ася» и др.), усмотрел в их персонажах черты, сходные с некоторыми чертами героев и героинь своего романа «Обрыв», существовавшего тогда только в «программе», в свое время довольно подробно изложенной Тургеневу самим Гончаровым. Обвинения Тургенева в плагиате, высказанные Гончаровым в письмах к автору «Накануне» и

---

[1] И. С. Тургенев, Собрание сочинений, т. X, Гослитиздат, М., 1956, стр. 300—301.

[2] И. А. Гончаров, Необыкновенная история. — В кн. «Сборник Российской Публичной библиотеки», т. II, Пг., 1924, стр. 7.

в превратном свете раздувавшиеся услужливыми друзьями, заставили Тургенева потребовать от Гончарова третейского суда, который и состоялся 29 марта 1860 года на квартире последнего в присутствии Тургенева и судей: П. В. Анненкова, А. В. Дружинина, С. С. Дудышкина и А. В. Никитенко.

Мы не намерены останавливаться на высказанных Гончаровым многочисленных обвинениях в адрес Тургенева — они весьма скрупулезно изложены им самим в не предназначавшейся для печати рукописи 70-х годов, озаглавленной «Необыкновенная история» и представляющей обширный обвинительный акт, направленный не только против Тургенева, но и против его зарубежных друзей. Не намерены также излагать и самый процесс суда — он, как уже говорилось, получил достаточно объективное отражение в воспоминаниях П. В. Анненкова и в «Дневнике» А. В Никитенко, непосредственных участников этого события. Напомним лишь его вполне справедливое решение в изложении П. В. Анненкова, учитывающее всю тонкость и щепетильность создавшегося положения: «Произведения Тургенева и Гончарова, как возникшие на одной и той же русской почве, должны были тем самым иметь несколько схожих положений, случайно совпадать в некоторых мыслях и выражениях, что оправдывает и извиняет обе стороны».

Действительно, некоторые совпадения у Тургенева — в образах и деталях — были. Известно, что ему пришлось изъять из рукописи «Дворянского гнезда» две главы, имевшие некоторое сходство с «программой» «Обрыва», и сцену, изображавшую ночное свидание Лизы Калитиной с Марфой Тимофеевной, близкую по содержанию к аналогичной сцене между Бабушкой и Верой. Эти совпадения, повидимому, и вызвали столь бурную реакцию предубежденного, до болезненности мнительного и подозрительного Гончарова. В письме его к С. А. Никитенко от 28 июня 1860 года имеются по этому поводу следующие проникнутые горечью строки: «Нет, Софья Александровна, не зернышко взял он у меня, а взял лучшие места, перлы и сыграл на своей лире; если б он взял содержание, тогда бы ничего, а он взял подробности, искры поэзии, например, всходы новой жизни на развалинах старой, историю предков, местность сада, черты моей старушки, — нельзя не кипеть» [1].

После третейского суда общественное мнение сложилось явно не в пользу Гончарова. Это нашло отражение и в мемуарной литературе и в сатирическом выступлении «Искры», опубликовавшей в № 19 за 1860 год стихотворение Обличительного поэта (Д. Д. Ми-

---

[1] И. А. Гончаров, Собрание сочинений, т. VIII, Гослитиздат, М., 1955, стр. 344.

наева) «Парнасский приговор», в котором, жалуясь богам на собрата, Гончаров произносит:

«Он, как я, писатель старый,
Издал он роман недавно,
Где сюжет и план рассказа
У меня украл бесславно...
У меня — герой в чахотке,
У него — портрет того же;
У меня — Елена имя,
У него — Елена тоже.
У него все лица так же,
Как в моем романе, ходят,
Пьют, болтают, спят и любят...
Наглость эта превосходит
Меры всякие... Вы, боги,
Справедливы были вечно,
И за это преступленье
Вы накажете, конечно»

На несколько лет между писателями были прерваны какие бы то ни было отношения, и, только сойдясь 2 февраля 1864 года на похоронах А. В. Дружинина, они вновь протянули друг другу руки. Казалось бы, с этого времени прежние отношения были восстановлены, возобновилась переписка. Но в действительности примирение носило внешний характер, особенно со стороны Гончарова, продолжавшего недоброжелательно и даже враждебно относиться к Тургеневу как к человеку.

К лучшим воспоминаниям о Гончарове, несомненно, относятся и воспоминания А. Ф. Кони, написанные к столетнему юбилею со дня рождения писателя. С юношеских лет Гончаров был в дружеских отношениях с отцом мемуариста — Федором Алексеевичем Кони, а начиная с 70-х годов и до последнего дня своей жизни — с Анатолием Федоровичем. Помимо высоких художественных достоинств, исключительно тепло написанный очерк А. Ф. Кони отличается психологической глубиной и всесторонним охватом личности Гончарова как писателя и как человека.

Единственные в своем роде воспоминания П. М. Ковалевского воспроизводят облик Гончарова в дружеском, непринужденном кругу сотрудников «Современника», на одном из редакционных обедов, состоявшемся как раз накануне выхода в свет романа «Обломов», опубликованного, кстати сказать, не в «Современнике», а в «Отечественных записках». Перед глазами встают бегло очерченные, хотя и в несколько грубоватой манере, но колоритно, портреты Гончарова — «кругленького, пухлого, с сонливо-спокойным взглядом светлых глаз» — и его знаменитых современников: Писемского, Островского, Тургенева, Анненкова, Некрасова, Панаева, Полонского

и др. И тут же портреты «двух самых ярких представителей только что народившейся породы «новых людей» — будущих нигилистов» — Чернышевского и Добролюбова. «Оба с ироническим отношением к окружающему».

В той же степени интересны воспоминания Л Ф. Пантелеева о чтениях в пользу Литературного фонда, в которых, помимо Гончарова, принимали участие почти все выдающиеся русские писатели. Гончаров, по словам мемуариста, «читал хорошо... как опытный докладчик, обдуманно, выразительно, но без внутреннего увлечения».

Особую группу составляют воспоминания симбирских родственников писателя (Е. А. Гончаровой, Е. П. Левенштейн, М. В. Кирмалова и В. М. Чегодаевой), богатые сведениями о сравнительно малоизвестной бытовой стороне жизни романиста, о его симбирском окружении в период летних приездов на родину в 1849 и 1862 годах. Воспоминания эти характеризуют Гончарова (как, впрочем, и самих мемуаристов) по линии родственных, чисто житейских взаимоотношений, — Гончаров как писатель интересовал их меньше всего. И это объясняется не только их сравнительно невысоким общим культурным уровнем (на фоне других мемуаристов), но и целым рядом других причин, уходящих опять-таки в чисто родственные отношения: тут сказалась и личная неприязнь писателя к жене брата, Елизавете Карловне, рожденной Рудольф; сказалась и неоправдавшаяся надежда кое-кого из родственников на богатое наследство и возникшая на почве этого вражда к новым наследникам — семье умершего слуги Трейгута; сказались, с обеих сторон, и своеобразные черты гончаровских характеров.

Особенной неприязнью и враждебностью по отношению к И. А. Гончарову проникнуты воспоминания племянника, А. Н. Гончарова, намеренно не включенные нами в настоящий сборник. Написанные не без литературных достоинств по просьбе биографа И. А. Гончарова М. Ф. Суперанского и опубликованные им в № 11 «Вестника Европы» за 1908 год, воспоминания эти, как тенденциозные, без достаточных оснований умаляющие и порочащие Гончарова как личность, вызвали в свое время волну протестов и опровержений в печати. Но не только обида на дядю, лишившего племянника доли наследства, сказалась на субъективном характере этих воспоминаний. Сказалось также и пристрастное, во многом несправедливое отношение писателя к матери мемуариста — Е. К. Гончаровой. Характеристика этой незаурядной, хорошо образованной женщины дана в воспоминаниях ее племянницы княгини В. М. Чегодаевой, раскрывающих также и основные мотивы многолетней неприязни к ней И. А. Гончарова. Воспоминания Чегодаевой интересны еще и рассказом о посещениях Н. Г. Чернышевским в 1851 году

брата писателя в Симбирске и о беседах его с Елизаветой Карловной. Об этих встречах записывает в своем «Дневнике» и сам Чернышевский, а также и о том, как он ехал из Петербурга в Саратов через Симбирск в одной карете с возвращавшимися домой симбирцами Н. А. Гончаровым и Д. И. Минаевым, отцом известного поэта-сатирика, и как они «дорогою все рассуждали между собою о коммунизме, волнениях в Западной Европе, революции, религии» [1].

Не все включенные в сборник мемуары беспристрастно и точно воспроизводят события и факты из жизни писателя В этом отношении особенно грешат воспоминания Гавриила Никитича Потанина, написанные им в преклонные годы. Воспоминания его посвящены главным образом пребыванию писателя на родине летом 1849 года. Хорошо знающий жизнь и быт старого Симбирска, семью брата писателя, Н. А. Гончарова, и семью сестры, А. А. Кирмаловой (Потанин был домашним учителем ее детей), он как мемуарист тем не менее во многом неточен, недостоверен, склонен к излишнему беллетризированию и к вымыслу. На его ошибки и неточности указывали в свое время известные исследователи жизни и творчества И. А. Гончарова А. Мазон и М. Ф. Суперанский [2]. Так, например, им дается не совсем верная характеристика служебной деятельности И. А. Гончарова и неверное представление о нем как о писателе, которому всю жизнь только и сопутствовали успех, слава и блестящая карьера. А описанная им (нами опущенная) встреча в 1853 году с воспитателем Гончарова Н. Н. Трегубовым, умершим, как известно, в 1849 году, и восторженный разговор между воспитателем и мемуаристом о путешествующем на «Палладе» Иване, из которого явствует, что мемуарист, будучи моложе Гончарова на одиннадцать лет, помнит о том, как тот еще в детстве мечтал о морском путешествии, — вызывает у читателя не только недоумение, но и скептическое отношение, граничащее с недоверием ко всем другим приводимым им, быть может и достоверным, фактам [3].

---

[1] Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. 1, Гослитиздат, М., 1939, стр. 402.

[2] А. Мазон, Материалы для биографии и характеристики И. А. Гончарова. — «Русская старина», 1911, № 10, стр. 47. М. Ф. Суперанский, И. А. Гончаров и новые материалы для его биографии. — «Вестник Европы», 1907, № 2, стр. 578—579; 1908, № 11, стр. 22.

[3] В настоящем издании ошибки и неточности мемуариста по возможности оговорены, разумеется, лишь в той части, которая включена в настоящий сборник. Тем же, у кого возникнет необходимость обращаться к опущенной нами заключительной части воспоминаний Г. Н. Потанина, следует быть предельно осторожными в использовании как заключенного в ней фактического материала, так и суждений мемуариста.

Вряд ли описанную Потаниным встречу следует объяснять только провалом в памяти престарелого мемуариста Скорее всего это не что иное, как безотчетное фантазирование, не лишенное, впрочем, беллетристических достоинств.

И еще несколько слов об очерке В. Русакова (С. Ф Либровича) «Случайные встречи с И. А. Гончаровым», опубликованном при жизни писателя (1888) и вызвавшем возмущение с его стороны как из-за описания не соответствующих действительности фактов частной жизни, например, встреч в Летнем саду с Григоровичем, так и из-за бестактности мемуариста, проявившейся в опубликовании без ведома и согласия Гончарова его писем к А. Ф Писемскому. В не меньшей мере возмутило Гончарова упоминание мемуаристом о действительно имевшем место, но тщательно скрывавшемся Гончаровым анонимном сотрудничестве его в 60—70-х годах в газете Краевского «Голос» [1].

Но следует признать, что далеко не все в очерке С. Ф. Либровича, как и в отрывках из его книги «На литературном посту», является недостоверным. С большим интересом рассказывает он о малоизвестных, не вызывающих сомнения встречах писателя и фактах, дополняющих его биографию новыми, живыми штрихами, весьма свойственными всей его натуре и образу жизни.

Необходимо отметить, что и в количественном отношении воспоминания о Гончарове значительно уступают воспоминаниям хотя бы о таких крупных писателях, как Тургенев, Толстой, Достоевский. И это объясняется отнюдь не значением творчества Гончарова в целом и не размером его художественного дарования в сравнении с названными выше именами, а прежде всего его цензорской деятельностью, специфическими чертами характера и индивидуальными особенностями биографии

«Давно ли умер И А. Гончаров?» — спрашивал Боборыкин спустя год после смерти писателя и отвечал: «Настолько давно, что в нашей печати могло бы появиться немало воспоминаний о нем. Их что-то не видно». Ждать большого количества воспоминаний через год после смерти писателя, может быть, и не следовало — серьезные воспоминания, как правило, пишутся спустя несколько лет, а иногда и десятилетий, — но о Гончарове, к сожалению, и в последующие годы появилось не так уж много воспоминаний. Боборыкин объясняет это необычное явление тем запретом, который наложил

---

[1] Гончаров помещал статьи и заметки в отделе «Петербургские отметки» и рецензии в библиографическом отделе См: А Мазон. Материалы для биографии и характеристики И. А. Гончарова. — «Русская старина», 1911, № 10, стр. 34—62; № 12, стр. 491—499.

автор «Обломова» на печатание своих писем и других материалов, не опубликованных им при жизни. Безусловно, запрет, выраженный в статье «Нарушение воли» (1889), сделал свое дело: многие близкие Гончарову люди, особенно родственники, не решились нарушить последнюю волю писателя и поспешили уничтожить имевшиеся у них письма и другие рукописные материалы. Запрет этот не мог не сказаться и на количестве оставленных современниками воспоминаний «Издатели исторических сборников и журналов, — писал Гончаров в статье «Нарушение воли», — не всегда обеспечены постоянным серьезным историческим материалом, и оттого они добывают всякую старую ветошь, даже мало занимательные мемуары, дневники людей вовсе не исторических и между прочим и частные письма, чтобы пополнять появляющиеся в определенный срок издания... И сколько накапливается такого материала!..» Есть все основания предполагать, что одной из основных причин, вызвавших написание этой статьи, явился очерк С. Ф. Либровича «Случайные встречи с И. А. Гончаровым», о котором уже говорилось выше.

Но не только последняя воля писателя, его замкнутый образ жизни и черты характера наложили свой отпечаток на сравнительную бедность оставленных о нем воспоминаний. Более важным, на наш взгляд, отпугивающим мемуаристов фактором явилась цензорская деятельность Гончарова, начавшаяся с 1856 года в Петербургском цензурном комитете и завершившаяся в 1867 году в Главном управлении по делам печати.

Поступление Гончарова по возвращении из кругосветного плавания на должность цензора не вызвало одобрений в петербургских литературных кругах. Еще до вступления в должность близкий Гончарову по духу и мировоззрению А. В. Дружинин записывал в своем дневнике: «Слышал, что по ценсуре большие преобразования и что Гончаров поступает в ценсора. Одному из первых русских писателей не следовало бы брать должности такого рода. Я не считаю ее позорною, но, во-первых, она отбивает время у литератора, а во-вторых, не нравится общественному мнению, а в-третьих... в-третьих то, что писателю не следует быть ценсором»[1]. Представитель другого общественно-политического лагеря, А. И. Герцен, опубликовал в «Колоколе» заметку «Необыкновенная история о цензоре Гон-ча-ро из Ши-пан-ху» (1857), высмеивающую Гончарова, а в другой заметке, «Право гражданства, приобретенное «Колоколом» в России» (1858), называл Гончарова «японским цензором».

---

[1] А. Г. Цейтлин, И. А. Гончаров, изд-во АН СССР, М., 1950. стр. 219.

Н. Ф. Щербина в получившей широкое распространение эпиграмме «Молитва современных русских писателей» (1858) просил всевышнего избавить их от «похвалы позорной «Северной пчелы» и от цензуры Гончарова». Высказывания о Гончарове-цензоре в частных письмах имели еще более недоброжелательный характер [1], а единичные промахи его по службе вызывали не только иронию, но и злорадство даже в наиболее близкой ему писательской среде. Так, П. В. Анненков в одном из писем к И. С. Тургеневу писал по поводу пропуска Гончаровым рецензии на книгу сенатора А. В. Семенова: «Строгий человек, но небо справедливо!.. Попался как цензор, пропустив окончание статьи Бабста против книжки сенатора Семенова... Ждет головомытия, а окончание это, если и противоцензурно, зато уморительно-остро и колко» [2].

Но еще большая справедливость требует признать, что многие недоброжелательные высказывания современников в адрес Гончарова-цензора, в том числе и Герцена, не имели достаточных оснований и относились не столько к результатам цензорской деятельности писателя, сколько к званию цензора. А если обратиться к конкретным фактам, характеризующим деятельность Гончарова как цензора, то выяснится, что только благодаря его заключениям смогли увидеть свет «Повести и рассказы» И. С. Тургенева (1856), романы «Ледяной дом», «Последний новик» и «Басурман» И. И. Лажечникова (1857), седьмой (дополнительный) том Собрания сочинений А. С. Пушкина в издании П. В. Анненкова (1857) с ранее запрещенными произведениями, роман А. Ф. Писемского «Тысяча душ» (1858), Сочинения А. Н. Островского в двух томах, включая ранее запрещенную комедию «Свои люди — сочтемся» (1858), Полное собрание сочинений М. Ю. Лермонтова с полным текстом стихотворения «На смерть поэта» (1859) и многое другое. Мало кому из современников могли быть известны подобные факты, да и вряд ли они смогли бы своевременно и по достоинству их оценить.

Но остается неоспоримым, что с поступлением Гончарова в цензоры общение его с кругом «Современника», и особенно с писателями демократического направления, заметно пошло на убыль. Уже в конце 50-х годов между ним и литературной общественностью возникла невидимая полоса отчужденности, поставившая Гончарова среди писателей в несколько обособленное положение.

---

[1] См., например, письма Г. Е. Благосветлова к В. П. Попову в кн.: М. К. Лемке, Политические процессы 1860-х годов, ГИЗ, М.—Пг., 1923, стр. 600, 623.

[2] «Труды Публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина», вып. 3, М., 1934, стр. 87.

Может быть, поэтому-то и «Обломов» появился не в революционно-демократическом «Современнике», как скорее всего следовало ожидать, а в умереннейших «Отечественных записках».

С начала 60-х годов заметно редеет круг старых друзей Гончарова, все менее уместным становится присутствие его на дружеских писательских вечерах, обедах, банкетах. Этому в какой-то мере способствовала и нашумевшая в литературных кругах его нелепая ссора с И. С. Тургеневым. С 1860 года писатель становится особенно близок со своим старшим сослуживцем по цензуре А. В. Никитенко и почти совсем перестает бывать в «Современнике» у Некрасова. Таким образом, личная жизнь Гончарова принимает еще более замкнутый, уединенный характер.

С осени 1862 года, после небольшого перерыва, началась служба писателя в возглавлявшемся П. А. Валуевым министерстве внутренних дел, сначала главным редактором «Северной почты», официального органа министерства, затем членом Совета по делам книгопечатания и с осени 1865 года членом только что учрежденного Главного управления по делам печати. Этими назначениями Гончаров был обязан прежде всего самому министру, весьма рассчитывавшему на него и писавшему в связи с этим товарищу министра А. Г. Тройницкому еще накануне назначения Гончарова главным редактором «Северной почты»: «Вчера был у меня Гончаров. Признаюсь, он снова мне крепко понравился. В нем есть эстетика, так что с ним можно иметь дело часто, а это «часто» для сношений с главным редактором необходимо. Ему хочется этим быть. Его имя прибавит не одного, а многих подписчиков и докажет, что газета не падает, а поднимается. Кажется, он зол на неких литераторов. И это может быть полезным» [1].

С этого времени Гончаров с головой уходит в служебную деятельность. Само собой разумеется, что новые назначения по службе еще более упрочили общественное мнение не в его пользу. Теперь для этого были более веские основания: служба Гончарова в высших цензурных инстанциях в известной мере обязывала писателя мыслить и смотреть на вещи с позиций правящих классов. И Гончаров, в силу возложенных на него служебных обязанностей и высокого звания, часто вынужден был действовать так, как этого требовали от него служебный устав, высочайшие предписания и распоряжения министра. А чтобы иметь, хотя бы в общих чертах, представление о действиях карательной цензуры и о деятельности ее органа — Главного управления по делам печати, членом которого Гончаров был более двух лет, обратимся к весьма характер-

---

[1] «Русская старина», 1899, № 7, стр. 232.

ной дневниковой записи бывшего члена Совета по делам книгопечатания А. В. Никитенко, вынужденного вскоре уйти в отставку, ввиду несогласия с проводимой Валуевым жесткой цензурной политикой, и не на шутку обеспокоенного, что в созданных им условиях «дело печати проиграно». «Литературу нашу, кажется, ожидает лютая судьба, — записывал А. В. Никитенко 16 мая 1865 года. — Валуев достиг своей цели. Он забрал ее в свои руки и сделался полным ее властелином. Худшего господина она не могла получить... Устав о печати отдает ему в полное распоряжение всякое печатное проявление мысли. Издание журналов и освобождение их от предварительной цензуры становится делом крайне затруднительным... Цензора нет. Но взамен его над головами писателей повешен дамоклов меч в виде двух предостережений и третьего, за которым следует приостановка издания. Меч этот находится в руке министра: он опускает его, когда ему заблагорассудится, и даже не обязан мотивировать свой поступок. Итак, это чистейший произвол, и уже не прежний мелкочиновнический и по тому самому менее смелый, а произвол, вооруженный сильною властью, властью министерскою» [1].

С первых дней существования деятельность Главного управления по делам печати была направлена на ликвидацию основных органов революционно-демократической печати — «Современника» и «Русского слова». И с этой задачей Главное управление справилось: в феврале 1866 года прекратило существование «Русское слово», а спустя три месяца был навсегда закрыт «Современник». Этому способствовал не только вступивший в силу с 1 сентября 1865 года закон об отмене предварительной цензуры и о введении новых цензурных правил, но и в большей степени накалявшаяся внутриполитическая обстановка, разрядившаяся 4 апреля 1866 года каракозовским выстрелом.

В этой решительной борьбе правительства с революционно-демократической печатью в известной мере сыграли свою роль и заключения члена Главного управления по делам печати И. А. Гончарова.

Параллельно с цензорской деятельностью в эти годы продолжалась работа писателя над завершением романа «Обрыв», в котором последовательно находили художественное воплощение его антинигилистические воззрения. Именно в этот период завершалась трансформация образа Марка Волохова в сторону усиления его отрицательных черт, видоизменялся в сторону религиозного смирения

---

[1] А. В. Никитенко, Дневник, т. II, Гослитиздат, М., 1955, стр. 514—515.

и покорности воле Бабушки образ Веры, возник новый «положительный» персонаж — помещик-экспортер Тушин.

Известно, как был встречен демократической критикой последний роман Гончарова. Известны также и неодобрительные отзывы о нем Тургенева, Боткина, Достоевского и др. Даже ответная, носящая оправдательный характер статья писателя «Лучше поздно, чем никогда» и неопубликованные при жизни «Намерения, задачи и идеи романа „Обрыв"» и «Предисловие к роману „Обрыв"» мало чем помогли ему реабилитироваться перед широким общественным мнением.

Таким образом, и цензорская деятельность писателя, особенно в высших инстанциях, и постигшая его неудача с романом «Обрыв» вряд ли могли способствовать желаниям современников оставить потомству беспристрастные воспоминания о Гончарове последних лет службы, периода завершения романа «Обрыв».

Но даже и то, что мы имеем из посвященной Гончарову мемуарной литературы, с наибольшей полнотой собранной в настоящем издании, должно представлять широкий познавательный интерес — и прежде всего для тех, кто изучает жизнь и творчество знаменитого романиста.

А. Д. Алексеев

И. А. ГОНЧАРОВ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

Г. Н. Потанин

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ И. А. ГОНЧАРОВЕ

Иван Александрович Гончаров происходил из старинного рода симбирских купцов. Видный дом отца Гончарова, каменный, двухэтажный, стоял на Большой улице; обстановка его была барская: большой зал с люстрой, нарядная гостиная с портретом хозяина и неизбежная диванная; на двор окнами — кабинет хозяина, спальня хозяйки и большая, светлая комната для детей. Иван Александрович говорит, что двор отца был загроможден постройками, да иначе и быть не могло: в нем жили две большие дворни — хозяина и постояльца, бегали цесарки, павлины и т. п. Старый слуга Гончарова мне говорил, что у каждого дворового была еще своя потеха: кто держал голубей, кто собак, кто заводил ворона или ястреба — «значит, всякий по своему скусу; а благородные пташки, канареечки али соловушки, ну те уж там висели, в барских комнатах, потешали господ». Вот в какой благодати родился и жил Иван Александрович в первые годы младенчества. После пожара 1864 года дом этот был продан и поступил во владение немца, изменившего совершенно характер и архитектуру старинного здания.

Отец Гончарова, Александр [Иванович][1], пользовался почетом в городе: его много раз выбирали городским головой. На портрете старик Гончаров изображен видным мужчиной, среднего роста, белокурый, с голубовато-серыми глазами и приятной улыбкой; лицо умное, серьезное; на шее медали. Мать Гончарова, Авдотья Матвеевна, умная и солидная женщина, обратила на

себя внимание императора Александра Павловича, танцевавшего с нею на купеческом балу. Об этом счастливом времени старушка всегда с восторгом рассказывала детям и внукам и под веселый час, отпирая сундуки, показывала нам наряды старого времени. Семейство Александра [Ивановича] состояло из двух сыновей и двух дочерей; Иван Александрович был старшим сыном;[2] младший брат его Николай, впоследствии учитель русского языка и словесности в гимназии, был гуманным человеком. Сестры Гончарова — Александра, вышедшая потом замуж за ардатовского помещика Кирмалова, и Анна, ставшая женой оригинала доктора Музалевского. Нельзя не упомянуть о преданных слугах дома Гончаровых, о Никите и Софье.

Иван Александрович поразительно верно описал их в романе «Обыкновенная история» под именем слуги Адуева, Евсея, и ключницы Аграфены.

Иван Александрович родился, как известно, в 1812 году и жил семьдесят девять лет. Он рано лишился отца: ему было тогда три года[3]. Но эту тяжелую потерю вполне заменил Гончарову крестный отец всех четырех детей, Николай Николаевич Трегубов, отставной моряк.

Николай Николаевич, постоялец в доме Гончарова, друг старика, был принят в семье как родной. Холостяк, он любил детей, которые, в свою очередь, были привязаны к нему искренно. По смерти Александра [Ивановича] Трегубов из флигеля перешел в дом; дети стали ближе, привыкли еще больше, и мало-помалу связи между крестным и детворой крепчали и приняли определенную форму отношений. Он был хорошим советником вдовы и руководителем детей. Биограф Гончарова о Трегубове говорил, что он был передовой человек того времени, масон, друг Лабзина и Порошина, в дружеской переписке с декабристами; умный, образованный, живой, он заслужил общую любовь и уважение в городе, и вокруг него собиралось лучшее общество в Симбирске. Гончаров к этому добавляет, что «Якубов (так он называет Трегубова в своих записках) был вполне просвещенный человек: образование его не ограничивалось одним морским корпусом, он всю жизнь читал и пополнял его по всем отраслям знаний». «Мать наша, — продолжает Иван Александрович, — в благодарность за то, что крест-

ный взял на себя заботу о нашем воспитании, взяла на себя заботы о его житье-бытье, хозяйстве, и мы жили общим домом»[4]. Эта духовная связь моряка с семьей Гончарова кончилась тем, что Николай Николаевич — в знак благодарности, что его, холостяка и старого бобыля, приютили в семье и дали насладиться семейной радостью, — все свои богатые имения роздал Гончаровой и ее детям. Я теперь не помню, что получила от него сама Авдотья Матвеевна, но мне положительно известно, что богатые ардатовские имения: Хухорево, Цыганово, Обуховка, Майданы, были подарены Александре Александровне Кирмаловой, а Чертановка с приселками Анне Александровне Музалевской. Сыновьям он имения не дал, а выразился о них своеобразно: «Я дал им в приданое образование и позабочусь об их карьере, — остальное пусть добывают сами».

Затем Гончаров рисует семейную картину, как Авдотья Матвеевна и Николай Николаевич обращаются с детьми и какое нравственное и умственное влияние имели на них. Считаю не лишним привести здесь эти слова, тем более что они написаны очень мило и трогательно.

«Мать наша, — пишет Иван Александрович, — любила нас не той сентиментальной, животной любовью, которая горячими ласками, баловством, потворством, угодливостью детским капризам портит детей. Она умно любила, неослабно следила за каждым нашим шагом и со строгой справедливостью разделяла свою материнскую любовь на всех четырех. Она была взыскательна и не пропускала без наказания или замечания ни одной шалости, особенно если видела, что в шалости кроется будущий порок, — тогда она была неумолима. Зато Петр Андреевич Якубов, заменяющий нам отца, был отец-баловник. Бывало, нашалишь как следует: влезешь на крышу, на дерево, убежишь с уличными мальчишками в соседний сад или с братом заберешься на колокольню, — ну, конечно, ищут, она узнает, шлет человека привести виновного. Вот тут-то и спасаешься в благодетельный флигель к крестному. А он уж знает, в чем дело. Является человек или горничная, зовет: «Иван Александрович, пожалуйте к маменьке!» — «Пошел вон!» — лаконически командует моряк. Посланный уходит доложить барыне, что его прогнали. А гнев барыни между

тем утихал, и беда обыкновенно заканчивается легким выговором или замечанием вместо дранья ушей, стояния на коленях, что было в то время самым распространенным педагогическим способом смирять и обращать детей на путь истинный».

В заключение Гончаров пишет о крестном отце, что он был человек «вспыльчивый», но тут же добавляет, что добрый крестный никогда не исполнял тех угроз, которые вырывались у него в минуты гнева; а по всем заметкам о матери тоже ясно видно, что Авдотья Матвеевна, при всей строгости, была женщина мягкая и добродушная. Только ко мне, человеку постороннему, добродушная Авдотья Матвеевна была неумолимо строга, и вот почему: у дочери ее, Кирмаловой, было двое детей; Александра Александровна пригласила меня давать уроки. Так как занятия в гимназии продолжались тогда до шести часов вечера, то мне, как гимназисту, приходилось давать уроки вечером, от шести до восьми. На беду мою у Кирмаловой была милая гувернантка, которая тянула меня к себе, как магнит, — так и хочется, бывало, гимназисту с гувернанткой поболтать! Вот мы засядем после урока в гостиной болтать да в болтовне и забудем, который час. А старуха строго считала часы, и как только ее старые часы прохрипят десять, она тут же вызывает свою наперсницу Марину и отдает строгое приказание: «Поди гаси у них свечи в гостиной и скажи: пора спать». Марина в точности исполняла приказание барыни: молча являлась в гостиную, гасила перед нами свечи и торжественно объявляла: «Барыня приказала вам сказать — пора спать». И мы, несчастные, не кончивши порванного разговора, расходились спать.

Николай Николаевич, напротив, был снисходительнее ко мне. Бывало, подойдет и скажет ласково: «А вы, молодой человек, после урока зайдите-ка ко мне: мы побеседуем, если вам не скучно с стариком». И — боже мой! — какие это были умные и увлекательные беседы для меня, неопытного и мало знающего гимназиста. Заведет, бывало, речь об астрономии, но тут же прибавит: «Впрочем, это отчасти вам известно — преподают в гимназии. А вот наше морское дело, конечно, неизвестно. Нелегко оно, голубчик,— старик тяжело вздыхает.— На корабле, как в тюрьме, вечно один. Слова вымолвить не с кем. А тут еще эти проклятые штормы, несносный штиль,

экваториальное солнце жарит тебя, как в огне, а ты стоишь, ни с места. Зато, как поборешься со штормом да выйдешь победителем — ах, какой восторг! Вы, ходя по земле, представить себе не можете, что такое шторм на море, особенно в Индийском океане. Как начнет качать, да целые недели!.. И еду и сон — все забудешь,— и старик задумывался. — Да. Наш морской неприятель страшнее вашего сухопутного: там он далек, есть надежда спастись, а на море и надежды нет никакой. Мой неприятель, морской, день и ночь со мной — вот тут, за бортом: мгновение — и нет тебя!» И, несмотря на преклонные лета, милый старик говорил все это сильно, вдохновенно, — любуешься, бывало, глядя на него, так и видишь, что это была его настоящая, морская жизнь. Был ли Николай Николаевич вспыльчив? Не могу сказать: я этого не испытал; но ругаться, как моряк, умел мастерски, особенно как начнет, бывало, распекать прислугу. Но самые задушевные и трогательные рассказы его были о «ребятах» — так он звал гончаровских детей.

«У кумушки моей, — говорил он, — была четверка детей; мы разделили их поровну: ей парочку девчат, мне пару ребят. С пелен я принял их на себя и сам учил грамоте с аза. Коля и Ваня были умные детки, с головой. Только Коля был какой-то сонный: не поймешь, бывало, что с ним такое, — вечно рассеян; слушает — не слышит; скажешь что — не поймет; рассказывать начнет — переврет; так и махнешь рукой. Одно в нем было удивительно: огромная память. Сколько стихотворений он знал в детстве и, представьте, все отлично декламировал. А Ваня мой не такой, — этот не заснет, нет! Этот был мальчик живой, огонь. Бывало, как начнешь рассказывать что-нибудь из моих скитаний по белу свету, так он, кажется, в глаза готов впрыгнуть, так внимательно все слушает, да еще надоедает: «Крестный, скажи еще». Так, бывало, и пройдет весь день с ним в болтовне. Лет шести, верно, я выучил его грамоте, а уж и не рад, как он начал читать. Вообразите, милый Гаврила Никитич, такой-то клопик заползает ко мне в библиотеку и торчит там до тех пор, пока насильно его вытащат есть или пить. Бывало, пойдешь полюбопытствовать, не заснул ли там мой сынок, — куда-с!.. Заглянешь в книжку к нему — точит какое-нибудь путешествие... И тут же начнет лепетать: живо расскажет, что ему особенно понравилось.

Больше всего любил он морские путешествия: об них он всегда азартно мне рассказывал. Бывало, восторженный, бежит с Волги и кричит с улицы: «Крестный, я море видел! Ах, какая там большая, светлая вода прыгает на солнце! Какие большие корабли с парусами!»—«Какое море твоя Волга! Ты теперь понять еще не можешь, какое большое бывает море»,— ответишь ему. Так что вы думаете? Он целый день после того покою мне не даст: скажи да скажи, какой длины море бывает! А что я скажу ему, положим, о Великом океане, когда человечек еще понятия не имеет, что такое аршин или вершок? А как скажешь ему, бывало, на ребячьи восторги его: «Ах, Ваня Ваня, если б ты сделал со временем хоть одну морскую кампанию, то-то порадовал бы меня, старика», — так он ничего мне на это не ответит, задумается глубоко и молчит... Ох, что-то он теперь поделывает в своем казенном Питере? Долго от него нет вестей. В чернилах, я думаю, купается вместо моря?» Старик над этим вопросом задумывается надолго, и после того от него не услышишь уже ничего.

Лет восьми-девяти дети Гончаровой начали ходить учиться в частные пансионы в городе. Симбирск, как дворянский город, был полон тогда всякими частными пансионами, даже иностранными: то Фурне, то Дуври, то Пиге, то Мейсель, — были даже привилегированные учителя танцев, как, например, француз Монсар и полуфранцуз Фе. Но умному крестному, верно, не совсем нравились эти пансионы. Ругается, бывало, выходит из себя. «Невежи. Черт их знает, чему они учили наших ребят?.. Спросишь самое обыкновенное, детское, и на это один ответ: «Нам об этом не говорили»; что же они там преподавали?.. А вы меня извините, молодой человек: я старик любопытный, раза два подслушал, как вы преподаете моим внукам. Правда, у вас еще нет ни методы, ни опытности, а все-таки идет сносно... А там, бывало!..» — и махнет рукой. Вот почему Николай Николаевич посоветовал матери Гончарова отдать сына за Волгу, в имение графа Головкина, в село Архангельское, где был особенно оригинальный пансион, под фирмою: «для местных дворян»[5]. Пансион этот содержал местный поп и жена его, француженка или немка. Но к чести попа я должен прибавить, что почтенный протоиерей, Федор Антонович[6] Троицкий, был весьма замечательный человек; он кон-

чил курс в академии и присватался к местной гувернантке Лицман; та приняла православие и превратилась в попадью, а он после посвящения получил место попа в родное село Архангельское и, точно в знак благодарности, принял от жены фамилию Лицман, часто так подписывался в официальных бумагах, и я знал двух сыновей его, которые в гимназии носили фамилию Лицманы. В доме Гончаровых я часто видел протоиерея Троицкого уже стариком, но и тогда он был красавец и щеголь, одевался в бархат, имел приятный голос, живо, увлекательно говорил, а от братии своей попов отличался особенно изящными манерами и умел держать себя корректно. В доме Гончаровых протоиерей Троицкий был такая почетная личность, что его встречали как архиерея. В этом оригинальном пансионе Иван Александрович выучился французскому и немецкому языку, а главное — нашел у батюшки библиотеку и принялся опять читать усердно. В библиотеке батюшки было все: «Путешествие Кука» и «Сатиры» Нахимова, Паллас и «Саксонский разбойник», Ломоносов и «Бова-Королевич», Державин и «Еруслан Лазаревич», Фонвизин, Тассо и детские рассказы Беркена, Карамзин и «Мрачные подземелья» Ратклиф, истории Ролленя и «Ключ к таинствам древней магии» Эккартсгаузена, по которому можно было даже вызывать чертей, — и все это было читано восьми-девятилетним Гончаровым. Можете себе представить, какую путаницу все это образовало в головке талантливого мальчика!

К счастью, это чтение продолжалось недолго: десятилетнего Гончарова крестный отец отвез в Москву и отдал в дельное заведение, как сказано в записках. Это дельное заведение — Московское коммерческое училище, куда и поступили оба брата Гончаровы, в младшее отделение. Николай кончил курс в коммерческом, и по всем сведениям его ясно было видно, что это было действительно «дельное» заведение того времени; кончил ли курс в коммерческом училище Иван Александрович и долго ли там учился, это неизвестно [7], да и вообще о всех юношеских годах писателя почти ничего не известно. Брат иногда говорил со мной об этом времени. От него я узнал, что Иван Александрович лет десять, до поступления в университет, больше жил в Москве,— «там ему лучше нравилось, чем дома [8], — прибавлял он грустно; — крестный

же его баловал: бывало, отпустит погостить к своим родным или знакомым, а он так загостится в своей Москве, что совсем нас забудет, и маменька не может его выписать. Ветреный был! Он и мне писал по-ребячьи, — помню его насмешливую фразу: «Ну что ты киснешь там, дома, Коля, — приезжай сюда, в Москве весело!» А я, признаюсь вам, сколько ни посещал Москвы, никогда мне она так не нравилась, как наш милый Симбирск. Но брат мой, несмотря на суету, и в Москве находил время много читать. Бывало, целый каталог пришлет показать, что он там прочитал: дети мы были, пустенькое любили. И теперь в Москве много Евстигнеевых да Манухиных с московской литературой, а тогда их было еще больше. Забавно иногда брат описывал новых знакомых; проказничал немало, а, впрочем, не кутил. Особенно восхищался он тогда французской литературой, — французский язык он знал так же хорошо, как я немецкий. Тогда только что входили в моду французские писатели Сю и Дюма, в восторг приходил от них! А как первый раз прочитал «Mystères de Paris», так даже цитаты мне прислал из романа и восклицательных знаков наставил бездну [9]. Французскую литературу он тогда до страсти любил; писал, что переводит какой-то роман Сю, теперь не помню; лет через пять после того отрывок из этого романа я встретил в печати, был напечатан в „Телескопе“» [10].

Что касается мировоззрения и взгляда на жизнь, то положительно можно сказать, что Гончаров в юности был такой же восторженный мечтатель, как все мы, юноши тридцатых и сороковых годов, да иначе и быть не могло. Время было такое — эпоха самого крайнего романтизма в Европе и в нашей молодежи. Сам трезвый Белинский, говорят, по приезде в Москву, сначала писал самые восторженные статьи. Громадное влияние Карамзина, Жуковского, Пушкина, который был тогда в зените славы,— все это, конечно, сильно действовало на нашу молодежь, а тут еще направление философии, идеалы Шиллера, обожание сумасброда Гофмана, и доходили мы до того, что зачитывались и восторгались Марлинским. И Гончаров, конечно, как все мы, юноши того времени, восторженно читал Марлинского или выписывал себе лучшие места, как я: «Багряные облака, точно огненные думы, толпятся вокруг чела твоего, неприступный утес св. Еле-

ны... Экватор опирается на твои рамены, сизые волны океана, как столетия, расшибаются о твои стопы, и сердце твое — гроб Наполеона, заклейменный таинственным иероглифом рока!» Вот чем восторгались мы в то время.

В 1830 году Гончаров хотел поступить в университет, но по случаю холеры университет был закрыт, и потому пришлось поступить позже. Курс университета продолжался тогда три года, и Гончаров кончил его блистательно. Какой-то странный критик опровергает успехи Гончарова и говорит положительно, что при таком составе профессоров филологического факультета, какой был тогда в Московском университете, Гончаров ничего не вынес из университетского курса. Но это совершенно неправда! Гончаров слушал известных профессоров: Снегирева, Шевырева, историка Погодина, словесника Давыдова, — неужели эти знаменитости того времени не могли ничего дельного передать Гончарову? Напротив, сам Гончаров о них отзывается иначе. Вот что по окончании курса он пишет товарищу, другу: «Хотя университетский курс теперь для меня кончен, но влияние университета не кончится никогда. Потеряв из виду вас, товарищи-словесники, я не забываю указаний наших профессоров. И теперь на службе изучаю иностранные литературы именно по тому методу и по тем указаниям, которые передали нам наши любимые профессора».

Нечего добавлять, что эти три года студенческой жизни были для Ивана Александровича самые счастливые! Брат его мне говорил, что «из университета он часто писал самые веселые и занимательные письма, которые, к сожалению, затерялись».

Одно только студенческое письмо Ивана Александровича каким-то чудом не затерялось у брата, и он хранил его, как сокровище. Оно было написано на трех почтовых листках, мелким, бисерным почерком; по содержанию это была передача разнообразных впечатлений студента. То он воздает должное поклонение профессору и удивительной лекции его и тут же прибавляет, что в Кремлевском саду встретил незнакомку, с которой неожиданно познакомился коротко; то рассказывает серьезную беседу с товарищами о философии,

поэзии, логике и тут же сообщает о самом пустом случае с ним на улице.

По окончании курса Гончаров приехал на родину. Двенадцать лет он не видел родного городка, — и можете себе представить, говорит его биограф, какое безотрадное впечатление произвела на молодого Гончарова сонная жизнь Симбирска после кипучей и животрепетной жизни столицы?.. Несмотря на то, что Гончаров любил родной город, и особенно дом матери, и в письмах брату писал: «Завидую, что ты теперь дома, а я между холодными чужими», несмотря на все это, Гончаров написал самую жалкую картину нашей провинциальной жизни: «Сон Обломова». Однако, несмотря на эту жалкую картину провинциальной жизни, Гончаров все-таки с год прожил у матери и, по-видимому, намеревался остаться в Симбирске, потому что поступил на службу в канцелярию губернатора, но в конце года не выдержал и с тем же губернатором уехал в Петербург[11] «делать карьеру», говорит критик, то есть определился на службу и погрузился в чиновный петербургский омут на пять лет[12]. В эти годы он так въелся в службу, что даже редко писал к своим. По рассказам брата, Иван Александрович был принят в доме Майкова, старика художника, там он учил детей (Аполлона, будущего поэ.а), там он занимался живописью и впервые попробовал свой литературный галант. Друг дома, молодой Солоницын, затеял издавать домашний, писаный «журнал»[13] и в сотрудники пригласил Ивана Александровича. Гончаров в журнале Солоницына написал два первые рассказа[14]. Эти пять лет чиновничьей службы, само собой, отразились на молодом человеке, которому этот мир раскрывал те отрицательные стороны, которые целиком вошли в его первый роман «Обыкновенная история», где фигура типичного чиновника-дельца, дяди Адуева, художественна и правдива, как сама жизнь.

Чрезвычайно интересно, как Иван Александрович объясняет, почему первый роман его назван «Обыкновенная история». «Адуев кончил тем, как кончали многие тогда: послушался практической — чиновной — мудрости дяди, принялся усердно работать по службе, и хотя пописывал в журналах, но уже не стишки; словом, проживши эпоху юношеских волнений, он, как большинство в Петербурге, достиг положительных чиновных

благ, то есть: занял по службе прочное положение, получил видное место, выгодно женился — словом, ловко обделал свои дела». Вот в чем заключается «Обыкновенная история». Известно, что первый роман Гончарова имел большой успех как в обществе, так и в литературных кружках.

После такого счастливого успеха Гончаров пишет брату: «Еду в Симбирск повидаться с маменькой». А добрейший Николай Александрович всем рассказывает: «Брат мой, новый литератор, едет сюда», — и Симбирск проснулся от своей обломовщины. Все начинают читать «Обыкновенную историю»; все спрашивают: «А вы читали? Ах, как хорошо!» А тут еще где-то в газетах нашли первую критику романа [15], и так расхвален Гончаров! Добрейший Николай Александрович, по рассеянности, три раза меня спрашивал: «А вы читали моего брата? Хотите, я книжку вам дам, — он мне прислал. Ах, читали уж, приятно слышать! Как по-вашему?» Но я не ответил ничего. В то время в душе я ненавидел злодея, старого Адуева. А в городе любопытство росло, только и слышно: «едет», «скоро приедет», «ждут на днях». Помню, как новый учитель словесности Грум-Гржимайло опрометью вбежал к нам в VII класс и торопливо спросил: «Потанин здесь?.. А, вот... я слышал, вы даете уроки в доме Гончарова, пожалуйста, не забудьте тотчас известить меня, когда приедет наш новый литератор. Я знаком с Иваном Александровичем еще по Петербургу», — и убежал. А слово «литератор» даже пугало меня, гимназиста. Слово это во времена императора Николая имело весьма важное и высокое значение, не то что теперь. В истории литературы почти все биографии литераторов того времени начинались так: «А. А. — литератор Российской империи, действительный статский советник и кавалер, родился в Москве, служил в высших должностях в Петербурге; творения его и т. д.» — так по крайней мере я прочитал и заучил в биографиях Булгарина и Греча. Напечатана даже была толстая книга «Сто русских литераторов» [16], с превосходными портретами Зотовых, Свиньиных, гравированными в Англии на стали. Поневоле страшила меня встреча с таким важным лицом, как литератор. Все кругом только и говорило о нем. Даже товарищи начинали завидовать и подшучивать надо мной: «А ты, брат, как увидишь его,

сейчас беги, скажи, какой такой литератор. Беленький, серенький или черненький он?» — «Зеленый с отливом!» — бухнул из угла наш дубовый насмешник Дидим. Все захохотали. Кто-то в другом углу вздохнул и начал плачевно: «А счастливец, братцы, этот Потанин: он первый увидит нашего симбирского литератора, а мы после... еще черт знает когда!»

Наконец сбылось ожидание Симбирска: «приехал!» Кто? Не спрашивай, все знают! Первые дни по приезде писателя в семье Гончаровых были проведены празднично. В эти праздничные дни не было даже уроков, и я с неделю к Гончаровым не ходил. Наконец настал и мой страшный день: представление гимназиста литератору. А я уж пронюхал, что Иван Александрович «отчаянный питерский франт» и такой «щеголь», каких свет не производил. Так отозвалась о нем сама горничная Гончаровых Маша, а кому же верить, как не горничным: они подробнее всех рассматривают наряды молодых господ. «Господи! — думал я в отчаянии. — Как это я, несчастный, с заплатанными сапогами, продранными локтями, оторванной пуговкой и смятым стоячим воротником, покажусь такому щеголю, какого свет не производил?»*, и мне в эту минуту было не только стыдно самого себя, а даже совестно, — не знаю отчего.

— Пойдемте, я вам брата покажу, — явилась веселая Александра Александровна в классную и повела меня в гостиную литератору показать.

К счастью моему, в гостиной не было ничего страшного: Иван Александрович беседовал с гувернанткой, Варварой Лукиничной, и, должно быть, очень весело, потому что гувернантка хохотала чуть не до истерики. Передо мной предстал обыкновенный мужчина среднего роста, полный, бледный, с белыми руками, как фарфор; коротко стриженные волосы, голубовато-серые глаза, как на портрете отца, но улыбка не отцовская, насмешливая. Одет он был безукоризненно: визитка, серые брюки с лампасами и прюнелевые ботинки с лакированным носком, одноглазка на резиновом шнурке и короткая

---

* Автор воспоминаний, будучи гимназистом, содержал себя исключительно уроками, за которые тогда платили крайне мало, — например, богатые купцы за урок давали 10 коп. ассигнациями, что составляло 3 коп. серебром. *(Прим. автора.)*

цепь у часов, где мотались замысловатые брелоки того времени: ножичек, вилочка, окорок, бутылка и т. п. Петербургские франты того времени не носили длинных цепей на шее. Гончаров был подвижен, быстр в разговоре, поигрывал одноглазкой, цепочкой или разводил руками.

— Брат, вот тот учитель, о котором я с тобой говорила, господин Потанин.

— А, приятно слышать!.. — отозвался тот небрежно и осмотрел меня с головы до ног, впрочем подал руку и пригласил: — Присядьте, побеседуем.

Я, как Акакий Акакиевич, присел на кончик стула. А литератор задумался, точно соображал, о чем ему побеседовать с гимназистом. Он с того и начал:

— Так учительствуете, господин... Как вас по имени?

— Да, учу и учусь, Иван Александрович.

— Это похвально-с.

В это время за матерью вбежали два мои ученика.

— Ну, а как вот эти сорванцы, мои племяши, зовут вас в классе: педáгог или педагóг?

— Не так и не этак, Иван Александрович. Они просто зовут меня «учитель». А если б вздумалось им, по незнанию, искалечить слово «педагóг», так моя обязанность, как учителя, поправить, и я, конечно, поправлю.

— Так-с, резонно.

Он взглянул на гувернантку, та улыбнулась, а я покраснел.

— Однако вы, господин учитель, извините, что я экзаменую вас, как ученика; это потому, что мне хочется знать, что у вас тут делается. Вы, кажется, в последнем классе?

— Да, в седьмом.

— А много ли из вас кончит курс?

— Все, я думаю, тринадцать.

— Ой, какое несчастное число, тринадцать! Из тринадцати, пожалуй, кого-нибудь оставят? — Он пытливо взглянул на меня.

— Может быть, — ответил я, недовольный. Мне ужасно не нравилась его улыбка.

— А скажите, пожалуйста, отчего такой маленький выпуск? Разве в гимназии вашей мало народу?

— Учеников, хотите вы сказать, сто семьдесят пять. На днях я писал общий список к ревизии попечителя Пушкина...

— О-о-о! «Пушкин» вы сказали? Ведь ваш казанский Пушкин совсем не похож на нашего петербургского? Говорят, он гроза ваших гимназий? Я думаю, вы, ух, как боитесь Пушкина?

— Ну, брат Ваня, ты не думай так плохо о нашей гимназии! Из симбирской гимназии в университет принимают без экзамена, такая гимназия во всем округе одна!

— Вот как! Это для меня новость, я не знал. А скажите, пожалуйста, как у вас словесность идет: что читаете, пиш-шете, со-чи-ня-ете?..

— Читаем больше Карамзина; я люблю Жуковского (Иван Александрович поморщился), Пушкина, конечно; я недавно Аксакова читал, теперь Гоголя...

— Да, да! Этих стоит читать — громкие имена! А как, Николя, твои ученики пописывают что-нибудь?.. И порядочное выходит?..

— И очень порядочное, друг: в прошлом году Николай Хотев написал такие стихи — напечатаны были по распоряжению попечителя, а лет пять назад Дмитриев написал сказку «Конек-Горбунок» — тоже напечатана; очень порядочная сказка. И господин Потанин тоже пописывает кое-что, — Николай Александрович улыбнулся, — на прошлой неделе он читал мне стихотворение «Осень», очень хорошо написано.

— Осень, осень! — вздохнул тяжело Иван Александрович. — И в ваши лета «Осень», — писали бы «Весну»!

— Не пишется, Иван Александрович! Моя весна — не красна! — ответил я горько.

Он на это ничего не сказал; взглянул только на меня ласково и задумался, а на лице его выразились жалость и тоска. В эту минуту я готов был броситься и расцеловать Гончарова, ибо в это мгновение мне виделось ясно, что этому великому человеку известен не один видимый миру смех, а иногда и незримые миру слезы. Вдруг он точно встрепенулся, крепко сжал мне руку и выговорил твердо:

— Пишите, пишите, молодой человек! Это хорошо.

Я обомлел от восторга и не помню, что ответил ему.

— Ну, а ты что, Николай, — обратился он к брату, — пишешь что-нибудь или по-прежнему почитываешь твое «Слово о полку»?.. Отчего не почитывать? Оно хорошо

написано. Ах, я и забыл: ведь оно, кажется, тебе и посвящено Минаевым? [17]

— Да, мне, — ответил скромно «добрейший».

— А как твои «Исследования славянских наречий», о которых ты так хвалебно написал? Как бишь это там сказано: «тятя, дядя, тетя, титя, дитя, батя»? Все это, по-твоему, от одного слова «тятя» родилось?

— Ну, об этом, друг Ваня, нам нечего с тобой много болтать. Твоя литература — беллетристика; тебе, милый, не понять, как важны исследования профессора Григоровича: они, может быть, со временем объединят всю нашу великую славянскую семью в Европе!

— А ты, уж кажется, сердиться начинаешь на мою шутку?.. — спросил Иван Александрович с удивлением.

— Нет, милый, я никогда не сержусь ни на кого! У каждого свое мнение, вот и я высказал тебе свое.

— Ну, прости, Коля. Я согласен с тобой.

Иван Александрович обнял брата, и оба задумались. Я простился и ушел.

В другой раз я видел Гончарова другим человеком, в третий — третьим, уже совсем непохожим на первого и второго, и чем больше в него всматривался, тем больше казался он мне непонятным и неуловимым: он по-петербургски мог в одно и то же время смеяться и плакать, шутить и важно говорить. Все это, конечно, оттого, что так счастливо сложилась его жизнь. В детстве он был одарен всеми благами: тут любовь матери, ласки сестер, воркование няни, раболепие прислуги, заботы крестного. Захочет ребенок шалить — на него смотрят с удовольствием и любовью; захочет блажить — на него смотрят снисходительно; захочет играть — перед ним выдержанные аристократические дети; захочет что-нибудь видеть, знать — перед ним лучшее, примерное общество; захочет учиться — и тут судьба шлет ему такого педагога, какого иному не придется слышать и в заведениях. Мальчик подрос, и тут заботливый крестный отец находит для него такое дельное заведение, где он дельно приготовляется вступить в университет. Идет молодой человек в университет, и у него заботы нет: обут, щегольски одет и еще при деньгах на все прихоти; он, я думаю, и не слыхал о том, как наши соседние казанские студенты-бедняки воду качали в Батуринских

банях, чтобы добыть себе кусок насущного хлеба. А богатый и просвещенный Трегубов и в университете ему сильно помог: он был в переписке и коротко знаком с профессорами, — отчего же было и профессорам не обратить особенного внимания на Гончарова, тем больше что Гончаров был не тупица? Иван Александрович описывал брату и знакомство его с профессорами, которые с радушием принимали молодого человека в свои дома, а это в николаевское время было весьма важно. Задумал молодой человек служить в Петербурге — и тут ему не пришлось хлопотать и места искать: оно давно было готово для него. Родной брат Трегубова был в Петербурге важное лицо [18], — а кому из нас не известно, что такое важное лицо в Петербурге и что оно может творить? Захочет путешествовать Гончаров — и сам министр предлагает ему исполнить его страстное желание: «сделать морскую кампанию», как выразился когда-то его крестный отец. Задумал Гончаров карьеру сделать — и карьера сделана; захотел он чинов — и за особые заслуги дали ему генерала; захотел он высших почестей — и судьба ведет его ко двору, и там он видный человек [19]. Император Александр III, в бытность в Симбирске, посетил гимназию, и когда директор представил ему учителей, он обратил милостивое внимание на фамилию Гончарова и ласково спросил:

— Я коротко знаком с нашим петербургским Иваном Александровичем, а вы, господин Гончаров, как ему приходитесь: родственник или однофамилец?

— Родной брат, ваше высочество! — ответил Николай Александрович, по обычаю, робко и застенчиво.

— Ах, приятно слышать! Позвольте с вами познакомиться? — И император милостиво подал руку нашему провинциальному Гончарову.

Наконец — последнее: захотел Гончаров славы — и слава трубит о нем от Петербурга до Камчатки. Чего еще? Биографы точно в похвалу ставят Гончарову, что он всю жизнь «был спокоен и ничем не волновался»; да о чем же было еще беспокоиться и волноваться, когда судьба сама дала ему все, без борьбы! [20] Вот почему, когда я увидал Гончарова в тридцать пять лет, совершенно зрелым мужем, он показался мне точно счастливо-балованное дитя. Беспечный и беззаботный, он и в эти лета играл в жизнь.

Теперь мы взглянем на Гончарова, каков он был в домашнем быту, у матери. Это было самое счастливое время для Гончарова; он жил здесь, если можно так выразиться, самою живою жизнью, какою только может жить человек на земле. Тут было все: и радость первого литературного успеха, и пленительные воспоминания детства, и сияющее лицо матери, и ласки, восторги, подарки тому же счастливому любимцу, и воркование слепой няни, которая теперь готова молиться на своего Ванюшу, и раболепие старика слуги, который, как мальчишка, бегает, суетится, бросается во все углы, лишь бы угодить Ивану Александровичу. А тут еще такой почет общества, приглашение губернатора быть без чинов, человеком своим, и, наконец, гордость купцов: «Каков наш Гончаров! Вон куда залетают из наших!» Да, окруженный семьей, осыпанный ласками, оживленный всем окружающим, он здесь вполне чувствовал, что он именно то солнце, которое все собой озаряет и радует всех. Зато надобно было видеть, как Иван Александрович в это время был жив и игрив. Боже мой! Как умилительно прикладывался к руке матери, точно к иконе, и в порыве так страстно обнимет старуху, что та задыхается в объятиях сына, на лету ловит, целует брата, сестер, племянников, племянниц, да что и говорить о кровных родных, — он в настоящее время всем был близкий родной. Придет какой-нибудь мещанин Набоков, семьюродный внук дедушке Ивана Александровича, скажет простодушно: «На тебя пришел поглядеть, Иван Александрович! Какой-такой ты есть на свете?» — и этого он приветит, приласкает, поцелует, усадит в кресло; час толкует с ним об его огороде; спросит: «Есть ли садик? Здесь у всех садики»; узнает, есть ли семья, детки и, если беден, так денег даст. Даже с прислугой он обращался точно с братьями и сестрами; комично кланяется всем и смешит. Обнимет старого слугу Никиту и спросит:

— А помнишь, старина, какой я был маленький? Веселое было тогда время! Помнишь, как важно приходил ты к крестному во флигель звать меня к маменьке? Даже страшно было, когда ты выговаривал: «Иван Александрович, пожалуйте»... — и вдруг в тебя выстрел: «Пошел вон!» Огорчался, я думаю, ты этим, голубчик?

— Да что! — Никита махнул рукой. — Все маменька ваша изволили тогда беспокоиться понапрасну. «Поди, веди его!» А зачем вести? По-моему, бог создал дитю для того, чтоб он играл и забавлялся, а они запрещают, — ну, разве это возможно? Хоша бы колокольня тогда. Ну, что?.. По-моему: пусть барчоночек полюбуется нашим городком — оттуда все видно. А они свое: «Расшибется!» Я тогда не вытерпел, сказал: «Эх, матушка барыня, бог-то не в одной церкви живет, он и на колокольне нашего барчоночка спасет!» Так куда... Осерчала даже на мои разумные слова, изволили закричать: «Пошел вон, не рассуждай!» Вот и только.

Иван Александрович не вытерпел, засмеялся.

— А ты хорошо, Никитушка, рассказываешь; поедем со мной в Питер!..

— Ох, Питер, Питер! Нету, батюшка барин! Я, старик, здесь привык, в Питере, чай, больно скучно будет мне?..

— Что ты, голубчик! В Питере скучно? Да там сроду никто не скучал, все весело живут: Петербург на веселом месте стоит!

— А коли так, я, пожалуй, и в Питер поеду. Для вашей милости, батюшка барин, я теперича не токмо что в Питер — в ад готов сходить!

— Спасибо, друг!

Иван Александрович Никиту поцеловал и болтуна в Петербург взял. Софьюшка сама напросилась в Петербург: «И меня уж возьмите, Иван Александрыч, пожалуйста! Я большое любопытствие имею поглядеть: какой такой есть на свете Петербург? Ей-богу, страшно хочется, барин!»

С Софьюшкой и Мариной барин забавлялся иначе: то сонных свяжет за ноги сахарной бечевкой, то накинет на себя белую простыню и явится перед ними в темном месте. Старые девы крестятся, визжат со страху, а он хохочет. Трогательны были его беседы со слепой няней. Мне кажется, иногда он слов не находил, как бы нежнее ее назвать. «Голубка моя возлюбленная! Помнишь, какие волшебные сказки ворковала ты мне?..» И он поцелует голубку и погладит по голове. «Хочешь, я золотом засыплю тебя за них?» Старушка обидится и шепчет с укором: «Эх, Ваня, Ваня неразумный! На что мне твои деньги в могилу? Мне всего на свете дороже

твоя любовь!» — и разрыдается до истерики. Даже с дворовой мелюзгой он находил удовольствие играть. Подхватит с полу какую-нибудь четырехлетнюю Машутку-соплюшку, усадит на колени, даст играть часы, кошелек, насыплет перед ней кучу конфет, поставит банку варенья и начинает угощать. Машутка ест до того, что начинает пыхтеть и наконец объявляет решительно: «Будет, барин, больше не хочу». «Еще хоть ложечку! Да кланяйтесь, Гаврила Никитич, хоть вы, — у меня нет жены». Машутка отворачивается от варенья. — «Ну, ну, Маша, утешь меня, понатужься еще». — «Мама! Что барин пристает!» — ревет наконец гостья. Барин бросает ложку, вскидывает Машутку на плечо, садит на шею и мчится по всем комнатам. Машутка вместо слез начинает хохотать, а барин очень доволен, что утешил Машутку. В это время он казался мне самым нежным отцом, да, верно, то же он чувствовал и в себе. Но самые веселые игры были с племянниками и племянницами. С теми разыграется, так готов хоть в козны; развозится, так готов кувыркаться и такие веселые и забавные строит им рожи, что дети визжат, хохочут до упаду; смельчаки бросаются на шею, садятся верхом и едут на литераторе. С девочками он обращался нежно: подманит лакомством, расскажет им забавные побасенки, поиграет в куклы и споет какую-нибудь песню. Особенно он любил известную тогда песнь московских цыган и пел мастерски. «Пляши, дядя!» — пищит мелюзга, и дядя пускается в пляс, по-цыгански, так же ловко, мастерски, как настоящий цыган; по всем комнатам раздается визг Ивана Александровича: «Ай, жги, говори!»

Иногда на него находило другое настроение: он, как испанец, с гитарой в руках, становился перед гувернанткой в позу гидальго и начинал: «Ты душа ль моя, красна девица! Ты звезда ль моя ненаглядная! Полюби меня, добра молодца!» На слово «звезда», конечно, самая высокая нота, а пение его в это время было так пленительно, голос так очарователен, что романс этот я до сих пор не забыл, а в глазах Варвары Лукиничны сверкали тогда такие огоньки, которых я сроду не видал. Особенно трогательны и задушевны были беседы Ивана Александровича с матерью, когда он напоминал ей свое резвое, шаловливое детство. Сидит грустный, задумчивый и вдруг начнет весело:

— А помнишь, мама, как я выпрыгнул из-под куста и выстрелил в тебя хлопушкой?

— Ох, сорванец! Ты уж лучше не напоминай мне твоих проказ! Я, Ваня, так тогда испугалась, что плакала от истерики.

— Ну, прости, мама! Я теперь за тебя поплачу, хочешь?..

— Ну, ну, полно дурить и рожу строить, — вишь, точно настоящий актер.

Авдотья Матвеевна матерински смеется, глядя на милого актера, который мастерски, по-актерски плачет.

— А помнишь, мама, как ты стащила меня за ухо с дерева, точно птицу за хохол?

— Ну, какая там птица с ушами! Просто нужно было тебя наказать! Помнишь, я думаю, какой ты был тогда маленький клопик, едва по земле ползал, и вдруг увидала тебя на дереве, — у меня сердце замерло от страху!

— Да не вытерпел, мама! Ты теперь представить не можешь, как тогда хотелось мне залезть!

— А, хотелось? Так вот тебе за хотенье и досталось на калачи! Не хоти, когда не велят.

— Теперь разумею, а тогда!..

— А тогда глуп был, вот я тебя и учила.

— Да ведь голову надо было учить, не уши?

— Ну, ты теперь об этом не рассуждай: уши и волосенки на голове растут; за что зацепила, за то и учила.

— Великий вы педагог, мама: по-вашему, значит, с которого конца ни начни науку, все равно?

— Конечно, все равно: был бы только в науке смысл и толк. А за большие твои проказы нужно было тогда хоть разок попробовать тебя посечь. Вот ты б и знал тогда, что такое мать!

— Посечь? Ведь это, я думаю, больно, мама? Посеките теперь, я попробую!.. — Иван Александрович начинает расстегивать жилет.

— Совсем сумасшедший! Да ты оглянись, кто тут сидит!

— Ах, Варвара Лукинична! Простите великодушно; ей-богу, не заметил, что вы здесь!

— Так это и примите за вежливость моего петербургского сына, Варвара Лукинична, — заключила мать. — Однако будет болтать, пойдемте, господа, чай пить.

— А помнишь, мама, как хитро я подкрадывался к сахару? Боже мой! Какой он тогда был сладкий! Ах, прелесть!

— Зато мне, сыночек, было горько! Не знала, как отучить тебя от этой скверной привычки. Ты не только горстями его таскал — полные карманы набивал, а это тебе было вредно.

— Да ведь не умер я тогда от сахару?

— Оттого и не умер, что я стала наконец коробку запирать от тебя на замок.

— Скупая ты была тогда, мама: родному сыну сахару не давала... Это безбожно, наконец!

Иван Александрович устроил такую печальную мину, что мы все невольно улыбнулись.

Иногда сама мать любила вспоминать проказы своего бесценного Вани.

— Представьте себе, господа, раз этот сорванец пришел с чердака с такой размазанной сажей рожей, что я не узнала его; да еще крадется, мошенник, в девичью, чтоб там умыли его секретно, а я цап его в коридоре — поймала.

Авдотья Матвеевна нежно погладила сына по голове и поцеловала.

—Эх, мама, мама! Ты теперь представить не можешь, какое забирало меня тогда любопытство! Мне непременно хотелось узнать, видно ли в трубу небо, — вот я и засунул туда голову: видно, мама!

— Да, да! И мне тогда было видно, каким ты пришел чучелом.

Гончаров в такой живой жизни прожил у матери долго, и общество дворян и купцов осаждало его день и ночь, точно они хотели видеть невиданного страуса или белого слона.

— Что это такое? — говорил литератор тоскливо. — Они не дают мне с Машуткой играть. Уедемте, мама, лучше в наш сад под гору, там и будем жить, как в скиту; туда не все доберутся. А здесь ты, Никитушка, сделай вот что: запирай с утра парадную дверь на крючок и без дозволения и доклада мне отвечай им в щелочку: «Дома нет». Кого нужно мне, я скажу.

Проводы Гончарова были торжественны, как самого почетного и знатного лица в городе [21]. Много колясок и карет, конечно, и с дамами, провожали его до Кандарати,

где он оставил загадочный стишок: «Ах, Кандарать, Кандарать, хорошо здесь ночевать!» и что-то шепнул другу по секрету; тот ответил серьезно: «Счастливец ты во всем и ночью и днем». Трогательны были проводы матери с сыном-любимцем. После напутственного молебна старушка чуть не упала в обморок, обнимая бесценного Ваню, — точно она предчувствовала, что расстается с ним надолго-надолго... В последний раз он был на родине в то время, как серьезно задумал писать свой последний роман «Обрыв»[22]. Лето он жил с шурином Музалевским на даче, в имении помещика Киндякова, в деревне Винновке, или Киндяковке. Там же он нашел для главной героини романа Веры — обрыв.

Один только человек в Симбирске, Дмитрий Иванович Минаев (отец нашего сатирика Дмитрия Дмитриевича), не сходился с Гончаровым в убеждениях относительно нашей литературы, но это, конечно, потому, что Дмитрий Иванович «несть от мира сего»: у него был свой, особенный взгляд на литературу. Поэзию, например, он боготворил и поклонялся ей, как римлянин богу своему Аполлону. Она была вторая религия Дмитрия Ивановича и, по понятиям его, должна была проповедовать миру только одно святое, великое и прекрасное. Писателей, которых он признавал «истинными талантами», он называл «гражданскими апостолами» и «пророками» и этим вменял в обязанность писать только добро, истину и духовное просвещение. С таким суровым взглядом на писателей «натуральной школы», он ненавидел даже несчастного Гоголя, называл его «скверный пачколя». «Он пишет одну только грязь! Что это такое? — кричал он в азарте. — Его Плюшкин! Его заплата там, где-то ниже спины?.. Помилуйте! Ведь это скверно выговорить, наконец, а он, мерзавец, печатает это на всю святую Русь! И это, по-вашему, чистая литература?» Понятно, что такой суровый литературный аскет не мог сойтись с Гончаровым. И Дмитрий Иванович Гончарова не провожал.

Я поступил на службу, уехал из Симбирска, но связи с милым домом Гончаровых не прерывал. Жаль только, что, посещая брата, я об Иване Александровиче ничего не мог узнать. От брата постоянно я слышал один ответ: «Писем от него нет. В Петербурге служит, редко пишет: верно, потому, что некогда ему».

И. И. Панаев

ВОСПОМИНАНИЕ О БЕЛИНСКОМ
(Отрывки)

...Расскажу об одном вечере (это уже было года два или три после смерти Белинского) у А. А. Комарова, на котором присутствовал Гоголь. Гоголь изъявил желание А. А. Комарову приехать к нему и просил его пригласить к себе несколько известных *новых* литераторов, с которыми он не был знаком. Александр Александрович пригласил между прочими Гончарова, Григоровича, Некрасова и Дружинина. Я также был в числе приглашенных, хотя был давно уже знаком с Гоголем. Я познакомился с ним летом 1839 года в Москве, в доме Сергея Тимофеевича Аксакова. В день моего знакомства с ним он обедал у Аксаковых и в первый раз читал первую главу своих «Мертвых душ». Мы собрались к А. А. Комарову часу в девятом вечера [1]. Радушный хозяин приготовил роскошный ужин для знаменитого гостя и ожидал его с величайшим нетерпением. Он благоговел перед его талантом. Мы все также разделяли его нетерпение. В ожидании Гоголя не пили чай до десяти часов, но Гоголь не показывался, и мы сели к чайному столу без него.

Гоголь приехал в половине одиннадцатого, отказался от чая, говоря, что он его никогда не пьет, взглянул бегло на всех, подал руку знакомым, отправился в другую комнату и разлегся на диване. Он говорил мало, вяло, нехотя, распространяя вокруг себя какую-то неловкость, что-то принужденное. Хозяин представил ему Гончарова, Григоровича, Некрасова и Дружинина. Гоголь

несколько оживился, говорил с каждым из них об их произведениях, хотя было очень заметно, что не читал их. Потом он заговорил о себе и всем нам дал почувствовать, что его знаменитые «Письма»[2] писаны им были в болезненном состоянии, что их не следовало издавать, что он очень сожалеет, что они изданы. Он как будто оправдывался перед нами.

От ужина, к величайшему огорчению хозяина дома, он также отказался. Вина не хотел пить никакого, хотя тут были всевозможные вина.

— Чем же вас угощать, Николай Васильевич? — сказал наконец в отчаянии хозяин дома.

— Ничем, — отвечал Гоголь, потирая свою бородку. — Впрочем, пожалуй, дайте мне рюмку малаги.

Одной малаги именно и не находилось в доме. Было уже между тем около часа, погреба все заперты... Однако хозяин разослал людей для отыскания малаги.

Но Гоголь, изъявив свое желание, через четверть часа объявил, что он чувствует себя не очень здоровым и поедет домой.

— Сейчас подадут малагу, — сказал хозяин дома, — погодите немного.

— Нет, уж мне не хочется, да к тому же поздно...

Хозяин дома, однако, умолил его подождать малаги. Через полчаса бутылка была принесена. Он налил себе полрюмочки, отведал, взял шляпу и уехал, несмотря ни на какие просьбы.

Не знаю, как другим, — мне стало как-то легче дышать после его отъезда.

Но обратимся к Белинскому...

К нему часто сходились по вечерам его приятели, и он всегда встречал их радушно и с шутками, если был в хорошем расположении духа, то есть свободен от работы и не страдал своими обычными припадками. В таких случаях он обыкновенно зажигал несколько свечей в своем кабинете. Свет и тепло поддерживали всегда еще более хорошее расположение его духа.

Его небольшая квартира у Аничкина моста в доме Лопатина, в которой он прожил, кажется, с 1842 по 1845 год, отличалась, сравнительно с другими его квартирами, веселостью и уютностью. Эта квартира и ему нравилась более прежних. С нею сопряжено много литературных воспоминаний. Здесь Гончаров несколько ве-

черов сряду читал Белинскому свою «Обыкновенную историю»[3]. Белинский был в восторге от нового таланта, выступавшего так блистательно, и все подсмеивался по этому поводу над нашим добрым приятелем М. А. Языковым. Надобно сказать, что Гончаров, зная близкие отношения Языкова с Белинским, передал рукопись «Обыкновенной истории» Языкову для передачи Белинскому, с тем, однако, чтобы Языков прочел ее предварительно и решил, стоит ли передавать ее. Языков с год держал ее у себя, развернул ее однажды (по его собственному признанию), прочел несколько страничек, которые ему почему-то не понравились, и забыл о ней. Потом он сказал о ней Некрасову, прибавив: «Кажется, плоховато, не стоит печатать». Но Некрасов взял эту рукопись у Языкова, прочел из нее несколько страниц и, тотчас заметив, что это произведение, выходящее из ряда обыкновенных, передал ее Белинскому, который уже просил автора, чтобы он прочел сам.

Белинский все с более и более возраставшим участием и любопытством слушал чтение Гончарова и по временам привскакивал на своем стуле, с сверкающими глазами, в тех местах, которые ему особенно нравились. В минуты роздыхов он всякий раз обращался, смеясь, к Языкову и говорил:

— Ну что, Языков, ведь плохое произведение — не стоит его печатать?..

А. Я. Панаева

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

С первого же года «Современнику» повезло. В февральской книжке 1847 года[1] был напечатан роман Гончарова «Обыкновенная история», имевший огромный успех. Боже мой! Как заволновались любознательные литераторы! Они старались разведать настоящую и прошлую жизнь нового писателя, к какому сословию он принадлежит по рождению, в какой среде вращается и т. п. Многие были недовольны сдержанностью характера Гончарова и приписывали это его апатичности. Тургенев объявил, что он со всех сторон «штудировал» Гончарова и пришел к заключению, что он в душе чиновник, что его кругозор ограничивается мелкими интересами, что в его натуре нет никаких порывов, что он совершенно доволен своим мизерным миром и его не интересуют никакие общественные вопросы, «он даже как-то боится разговаривать о них, чтоб не потерять благонамеренность чиновника. Такой человек далеко не пойдет! Посмотрите, что он застрянет на первом своем произведении».

Странно, что предсказания Тургенева о литературной будущности его современников почти никогда не оправдывались...

Я забыла упомянуть, что в 1847 году, не помню, в каком месяце, в Петербурге проездом был Гоголь[2]. Он изъявил Панаеву желание приехать к нему вечером посмотреть на молодых сотрудников «Современника», при-

чем, конечно, сделал свою обычную оговорку, чтобы ни посторонних лиц, ни дам не было. За час до прибытия Гоголя в кабинете Панаева собрались Гончаров, Григорович, Кронеберг и еще кто-то, а из старых московских знакомых Гоголя были Боткин и Белинский. Гоголь просидел недолго; когда он уехал, я вошла в кабинет и заметила, что у всех на лицах было недоумевающее выражение и все молчали, один Белинский, расхаживая по комнате, находился в возбужденном состоянии и говорил:

— Не хотел выслушать правды — убежал!.. Еще лучше. Я в письме изложу ему все!.. Нет, с Гоголем что-то творится... И что за тон он принял на себя, точно директор департамента, которому представляют его подчиненных чиновников... Зачем приезжал?

На другой же день вечером Белинский пришел к Панаеву и прочитал свое известное теперь письмо к Гоголю [3]. При чтении письма находилось несколько человек приятелей, и копия с него тут же была списана. Письмо было передано частным образом Гоголю...

Когда было напечатано первое произведение Дружинина в «Современнике» [4], то Тургенев говорил Некрасову и Панаеву:

— Положительно везет «Современнику»! Вот это талант, не чета вашему «литературному прыщу» [5] и вознесенному до небес вами апатичному чиновнику Ивану Александровичу Гончарову. Эти, по-вашему, светилы — слепорожденные кроты, выползшие из-под земли: что они могут создать? А у Дружинина знание общества; обрисовка Полиньки Сакс художественная, видишь гётевские тонкие штрихи, а никто в мире, кроме Гёте, не обладал таким искусством создавать грациозные типы женщин. Я прозакладываю голову, что Дружинин быстро займет место передового писателя в современной литературе... И как я порадовался, когда он явился ко мне вчера с визитом — джентльмен!.. Надо, к сожалению, сознаться, что от новых литераторов пахнет мещанской средой...

Как вообще некоторые высшие сановники начали в это время смотреть на литературу, может служить доказательством следующее приглашение, полученное

Панаевым, через И. А. Гончарова, от попечителя Петербургского учебного округа, князя Щербатова:

«Князь Щербатов поручил мне просить вас, любезнейший Иван Иванович, пожаловать к нему в пятницу вечером и жаловать в прочие пятницы. Там, кажется, будут и другие редакторы и литераторы, с которыми со всеми он хочет познакомиться. Только он просит извинить его, что за множеством дел и просителей он не может делать визитов. Вечер же — самое удобное время, говорит он, даже когда понадобится объясниться по журнальным делам. Он спрашивал меня, кто теперь есть здесь из наших литераторов (разумеется, порядочных). Я назвал П. В. Анненкова, Григоровича, Толстого; он усердно приглашает и их. О Василии Петровиче Боткине я не упомянул, потому что не знал о приезде его. Помогите склонить их поехать к князю, там они найдут немало наших. А как давно с вами не видались; не увидимся ли во вторник, а не то так в субботу у Языкова?

Ваш Гончаров

Князь считает вас уже за знакомого и ожидает к себе без церемоний».

А. В. Старчевский

ОДИН ИЗ ЗАБЫТЫХ ЖУРНАЛИСТОВ

(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СТАРОГО ЛИТЕРАТОРА)

(Отрывок)

У стариков Майковых, родителей Аполлона Николаевича, было довольно знакомых молодых людей, которые собирались к ним по воскресеньям к обеду или вечером; бывали и дамы. Все это был народ comme il faut, и это была для Дудышкина первая школа, в которой он брал уроки общежития, и он действительно стал цивилизоваться и скоро усваивал себе все хорошее.

Следует сказать здесь без преувеличения, что Дудышкин всем обязан семейству Майковых, добрых и образованных людей. Тут он познакомился с Владимиром Андреевичем Солоницыным, завсегдатаем Майковых, бывшим правителем канцелярии департамента внешней торговли и в то же время помощником О. И. Сенковского по редакции «Библиотеки для чтения», с И. А. Гончаровым, служившим у Солоницына переводчиком, с М. П. Заблоцким-Десятовским, П. М. Цейдлером и другими лицами, родственными Майковым, которые впоследствии имели влияние на всю его жизнь...

Это было во всех отношениях прекрасное и образцовое семейство вроде тех, о каких мечтали во французских и английских повестях, где описывались семейства Ван-Дика, Чимарозы и других. Семейство Майковых состояло из шести членов, но, начиная с обеда до поздней ночи, там почти ежедневно собиралось порядочное общество. Глава семейства, сын известного в начале этого столетия директора императорских театров Аполлона

Александровича Майкова, Николай Аполлонович Майков, отставной гусарский офицер, красивый брюнет, с открытым, добродушным характером, был женат на дочери московского золотопромышленника Гусятникова, Евгении Петровне, стройной, красивой брюнетке, с продолговатым аристократическим лицом, на которую был чрезвычайно похож второй сын Валериан. Н. А. Майков после женитьбы вышел в отставку и жил в Москве. Когда же пришло время воспитывать старших сыновей, он переселился в Петербург. ⟨...⟩ Тогда Николаю Аполлоновичу было уже под пятьдесят, супруге его Евгении Петровне за сорок. Были они люди в высшей степени радушные, симпатичные и гостеприимные. Старший сын, Аполлон Николаевич, еще очень молодой человек, похожий на отца, только в миниатюрном виде, рано обнаружил поэтический талант, который доставил ему известность впоследствии. Второй сын, Валериан, был наделен большими публицистическими способностями, но тогдашнее время обрезало ему крылья, а затем случайная смерть погубила весьма даровитого и способного юношу. Третий сын, так называемый *старичок* по своему тихому и спокойному нраву, Владимир Николаевич, менее даровитый, был тогда еще гимназистом. Четвертый — Леонид Николаевич — был тогда ребенком. ⟨...⟩

Прибавьте ко всему этому милое, свободное, но всегда приличное обращение, откровенность, юмор, радушие хозяев и умение их поддерживать разговор, переплетая его оживленными эпизодами и отступлениями, и тогда вы получите довольно приблизительное понятие о том, какое значение имел в свое время дом Майковых для молодых людей, которым почему-либо приходилось сблизиться с его младшими членами. В этом кругу никогда не происходило ни пошлых разговоров, не сообщалось двусмысленных анекдотов, никто не осуждался, никто не осмеивался; а между тем всем было весело, привольно, занятно, и постоянные посетители неохотно брались за шляпы в три часа ночи, чтобы отправиться восвояси.⟨...⟩

...В семействе Майковых, по вечерам, в воскресенье и другие праздничные дни, когда собиралось много молодежи, часто происходили чтения чего-нибудь выдающегося в современной журналистике, с критическими и другими замечаниями, идущими к делу. Чтения эти введены

были покойным Владимиром Андреевичем Солоницыным, о котором уже была речь выше, но со смертью его чтения эти почти прекратились, как вдруг Иван Александрович Гончаров, написав свою «Обыкновенную историю», заявил в один вечер, что, прежде чем отдать ее в печать, желал бы прочесть свое первое произведение у Майковых в несколько вечеров и выслушать замечания именно молодого, чуткого, откровенного и ничем не стесняющегося поколения; тем более что все слушатели были его ближайшие друзья и доброжелатели, и если бы в чем-нибудь замечания их оказались неверны, то их тут же и опровергнут.

В тот же день я получил от Владимира Аполлоновича Солоницына записку, в которой он приглашал меня прийти в шесть часов вечера слушать сочинение Гончарова, о существовании которого до тех пор никому не было известно. Вот содержание этой записки:

«Евгения Петровна (то есть Майкова), Валерьян и я купно советуем тебе прийти слушать повесть Ивана Александровича (то есть Гончарова), хотя к шести часам, иначе Иван Александрович рассердится, тем более что он читает повесть для тебя и Юнии Дмитриевны, которые не слыхали ее, а не для М — х (то есть Майковых), которые уже слышали ее дважды. Притом он, пожалуй, и не отдаст ее в твой журнал (тогда я имел в виду издавать «Русский вестник», который передавал мне С. Н. Глинка). Если ты не придешь, это его весьма обидит; ты знаешь, как он скрупулезен. Итак, убедительно советуем прийти к шести часам. Ответь хоть словом.

В. Солоницын».

На другой день я явился в семь часов вечера к Майковым и застал там всех наших знакомых. Спустя четверть часа Иван Александрович начал читать свою повесть. Все мы слушали ее со вниманием. Язык у него хорош; она написана очень легко, и до чаю прочитано им было порядочно. Когда разнесли чай, начались замечания, но они были незначительны и несущественны. Вообще повесть произвела хорошее впечатление. Чтение продолжалось несколько вечеров сряду, и по мере ближайшего знакомства с повестью развивался и интерес; все

яснее и яснее выходили лица. Конечно, замысел ее незатейлив, ничего сложного и запутанного не было; но по мере ближайшего знакомства с действующими лицами все чаще и чаще становились замечания; но это были замечания слишком молодых и неопытных еще людей; дамы тоже делали в эти замечания и свои вставки, также не имевшие никакого критического значения; старики вовсе не высказывались.

Жаль, что тогда среди нас не было ни одного человека с опытом и авторитетом, который знал бы, на что следовало обратить внимание, что изменить, сократить или развить. Несмотря, однако, на самые легкие замечания молодежи, Иван Александрович обратил внимание на некоторые замечания самого младшего из нас, Валериана Майкова, и решился сделать изменения в повести «Обыкновенная история» сообразно с указаниями молодого критика. Конечно, Иван Александрович во время чтения своей повести при многочисленном обществе сам лучше других замечал, что надобно изменить и исправить, и потому постояннно делал свои отметки на рукописи, а иногда и просто перечеркивал карандашом несколько строк. Но все же переделка эта потребовала немного времени, потому что спустя несколько дней опять назначено было вторично прослушать «Обыкновенную историю» в исправленном виде; я снова получил приглашение, но не мог им воспользоваться, потому что редактор «Журнала министерства народного просвещения», Константин Степанович Сербинович, прислал мне какую-то спешную работу; а так как он был человек в высшей степени аккуратный и всегда означал, к какому дню статья должна быть готова и доставлена ему на дом лично, поэтому я не был на вторичном чтении повести Гончарова.

Героем для повести Гончарова послужил его покойный начальник Владимир Андреевич Солоницын и Андрей Парфенович Заблоцкий-Десятовский, брат которого, Михаил Парфенович, бывший с нами в университете и знакомый Ивана Александровича, близко познакомил автора с этой личностью. Из двух героев, положительных и черствых, притом не последних эгоистов, мечтавших только о том, как бы выйти в люди, составить капиталец и сделать хорошую партию, Иван Александрович выкроил своего главного героя.

Племянничек с желтыми цветами составлен из Солика (племянника В. А. Солоницына — Владимира Аполлоновича Солоницына) и Михаила Парфеновича Заблоцкого-Десятовского; а прощание с матерью, приготовление к отъезду и первое впечатление, произведенное на племянничка Петербургом, — это описание своего отъезда из родного гнезда и приезд в Петербург.

Антон Иванович — это тоже лицо, мне хорошо знакомое; для этого господина материалом послужил, во-первых, Владимир Андреевич Солоницын, а во-вторых, действительный Антон Иванович, знакомый Дудышкина, целых сорок лет заведовавший делами Новинских, торговцев мехами, и к которому во всех делах обращался за советом Степан Семенович Дудышкин, не придавая, однако, этим советам большого значения.

Д. В. Григорович

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ»

В кругу литераторов, составляющих редакцию «Современника», я скорее всего сошелся с В. П. Боткиным и А. В. Дружининым, только что напечатавшим повесть «Полинька Сакс» [1]. С И. А. Гончаровым я познакомился несколько раньше у Майковых. Гончаров считался у Майковых «своим»; их связь была давнишняя; она началась еще в тридцатых годах. Приехав в Петербург и поступив на службу в таможенное ведомство [2], Гончаров и не подозревал в себе будущего писателя. Скромность мнения о себе доказывается тем, что рукопись первого его романа «Обыкновенная история» пролежала у приятеля Панаева, М. А. Языкова, более года [3], не вызвав никакого протеста со стороны автора.

После того как «Обыкновенная история» была напечатана, с Гончаровым произошло то же превращение, как с Достоевским после выхода в свет «Бедных людей». Неожиданность успеха, похвалы Белинского вскружили ему голову. Но Гончаров был едва ли не на десять лет старше Достоевского; он успел обжиться между людьми, научился управлять своими чувствами настолько, чтобы скрывать развившееся болезненное самолюбие; этому отчасти помогала также холодность его темперамента. На вид он продолжал казаться скромным, говорил мягко и вкрадчиво. В течение многих лет, как мы его знали, никто из нас никогда не слыхал от него похвалы чужому произведению; когда в его присутствии хвалили что-нибудь явившееся в литературе, он обыкновенно отмалчивался. По мере того как с каждым новым произве-

дением Тургенева имя его приобретало больше известности, Гончаров стал явно ему недоброжелательствовать и от него отдаляться.

Его история с автором «Записок охотника» лучше всего показывает, в какой степени успехи Тургенева тревожили Гончарова.

Раз — кажется, у Майковых — рассказывал он содержание нового предполагаемого романа, в котором героиня должна была удалиться в монастырь; много лет спустя вышел роман Тургенева «Дворянское гнездо»; [4] главное женское лицо в нем также удалялось в монастырь. Гончаров поднял целую бурю и прямо обвинил Тургенева в плагиате, в присвоении чужой мысли, предполагая, вероятно, что мысль эта, драгоценная по своей новизне, могла явиться только ему, а у Тургенева недостало бы настолько таланта и воображения, чтобы дойти до нее. Дело приняло такой оборот, что пришлось назначить третейский суд, составленный из Никитенка, Анненкова и третьего лица, — не помню кого [5]. Ничего из этого, конечно, не вышло, кроме смеху; но с тех пор Гончаров перестал не только видеться, но и кланяться с Тургеневым.

Во всей русской литературе не найдется человека счастливее Гончарова. Бранью осыпали Пушкина и Гоголя; в шестидесятых годах вошло в моду поносить Тургенева, и как еще! С легкой руки Белинского Гончаров во всю свою жизнь слышал одни только похвалы [6]. Избалованный критикою и опасаясь, вероятно, чтоб на будущее время она не принялась толковать по-своему его произведения, он под конец сам взялся объяснять их значение [7]. Обломову он придал тот смысл, что в нем хотел изобразить тяжеловесную сонливость русской натуры и недостаток в ней внутреннего подъема. Задача характера Обломова целиком между тем выражена в лице помещика Тентетникова во второй части «Мертвых душ»; не будь Тентетникова, не было бы, может быть, и Обломова. В безусловном поклонении произведениям Гончарова скрывается доля какого-то непонятного лицемерия — боязнь смело высказывать свое мнение. Сколько раз случалось мне говорить с приверженцами Гончарова и просить их откровенно сказать, много ли раз перечитывали они от начала до конца «Обыкновенную историю» и «Обрыв»; большая часть признавалась, что ни

разу не перечитывала этих романов; другие признавались, что начинали перечитывать, но показалось как будто что-то скучновато... В результате изо всего написанного Гончаровым остается «Сон Обломова» — действительно прекрасное литературное произведение; но разве в сочинениях Толстого и Тургенева не найдется произведений настолько же прекрасных в литературном и художественном отношении?

Лет за десять до своей кончины Гончаров, как будто чем-то обиженный и недовольный отношением со стороны литературных товарищей, стал от них отдаляться; к нему также заметно охладели; в последние годы он перестал даже посещать старинных своих друзей Майковых и окончательно замкнулся.

Е. А. Штакеншнейдер

ИЗ «ДНЕВНИКА»

1858

Воскресенье, 18 мая

Гончаров прислал мамá в подарок описание своего путешествия под заглавием: «Фрегат „Паллада“». Гончаров кончил свой «Сон Обломова»[1] и читал его некоторым друзьям. Кто-то заметил ему, что главное женское лицо в нем слишком идеально. Гончаров отвечал, что он его писал с натуры и что оригиналом ему служила Катерина Павловна[2]. Гончаров должен ее знать хорошо, потому что видается с нею ежедневно, так как имеет у них стол. Катерина Павловна — совсем исключительное создание. Она вовсе не красавица, невысокого роста, худенькая и слабенькая, но она лучше всяких красавиц какой-то неуловимой грацией и умом. Главное — не будучи кокеткой, не обращая особенного внимания на внешность, наряды, она обладает в высшей степени тайной привлекать людей и внушать им какое-то бережное поклонение к себе. За ней все ухаживают: и муж, и родители мужа, и все близкие; и она необыкновенно мила и ласкова со всеми ими. Другая невестка Майковых, жена Аполлона, Анна Ивановна, прекрасная дочь, жена, мать, но она далеко не то, что Катерина Павловна, и, как ни ценит и ни любит ее все семейство Майковых, отношения совсем не те; Анна Ивановна — это будни; Катерина Павловна — праздник, светлый праздник. Майковы — очень дружная, крепкая семья. Обе невестки совершенно всосались в нее, высоко держат ее знамя, но для

Катерины Павловны, кроме Майковых вообще, перед которыми она благоговеет, есть еще ее Володя, муж, выше которого она никого не признает.

Но кстати и о Гончарове. Его наши *новые* люди не любят, во-первых, кажется, за то, что он цензор[3], а во-вторых, за то, что преподает русскую словесность наследнику, что он, будто, выскочка, пробрался ко двору. Выходит, что Аполлон Майков недаром, несмотря на слезы жены и неодобрение стариков, отказался от этой должности, когда в прошлом году Плетнев ему ее предлагал. Аполлон Майков очень осторожен и очень дорожит мнением своих современников.

Помню, это было 6 декабря, и мы приехали к Майковым поздравить деда и внука с ангелом и нашли все семейство в смущении. Аполлон Николаевич решил отказаться от предложения Плетнева и указал ему на Гончарова. Анна Ивановна плакала, и сам Аполлон Николаевич был очень расстроен. Гончаров принял предложение с сохранением места цензора[4] и теперь не нахвалится учеником, который так полюбил его уроки, что вместо двух в неделю берет теперь три.

Гончарову и горя мало, что на него косо смотрят...

Воскресенье, 15 июня

Были у Майковых. Я там опять поспорила со Льговским и с самим Аполлоном Николаевичем. Я говорю, что русские унижаются перед иностранцами, особенно перед французами, а они утверждают, что нет и что если бы и да, то это хорошо, что надо признавать превосходство иностранцев перед нами.

Гончаров был. Это предмет негодования либералов, и сам цензор либерал-ренегат. Мама обыкновенно заступается за него. Лавров говорил мне, что ему хотят задать какую-то серенаду, дирижировать которой будет Кеневич, заклятый враг Гончарова. Но Кеневич-то сам как гнусен! Маленький, сутуловатый, желтенький человечек, как школьник на строгого учителя, озлобленный против всего, что зовется власть и начальник, радующийся, как находке, всему дурному, что увидит, ко всему придирающийся.

Понедельник, 23 июня

Еще год тому назад возникло в кружке Майковых, который принадлежит к «Библиотеке для чтения», редактируемой Дружининым, намерение противодействовать мутному потоку, пробивающемуся, со Щедриным во главе, в литературу, и придать ей, не отступая от действительности, несколько более изящное направление. Тургенев и Гончаров писали об этом из-за границы. Но партия Щедрина становится сильна. «Губернские очерки» пришлись к дому; [5] к этому направлению примыкает все молодое, появляющееся со всех сторон на смену господствовавшему до сих пор исключительно дворянскому сословию в литературе. Поклонники Щедрина и последователи его направления преследуют поэтов, достается и Тургеневу, но ему многое прощается ради «Записок охотника», также Григоровичу за его «Антона Горемыку» и прочее. Дружинина выживают из «Библиотеки для чтения», чтобы заменить его Писемским, на Некрасова злы за «Тишину» его [6], а на Гончарова за все. В этом круговороте, можно себе представить, как будет трудно вращаться Полонскому, поэту в полном значении этого слова, в качестве редактора [7], и не мудрено, что он так волнуется, приобщая к своей шаткой судьбе судьбу столь дорогого для него теперь существа [8].

1860

Воскресенье, 27 марта

Гончаров вообще любит шутить и поддразнивать, так меня все дразнил Бенедиктовым и уверяет, что я им всецело владею, и пишет так же шутливо. Вот, например, записки прошлого года по поводу лотереи для бедных, которую устраивала мама:

«Теперь я окончательно убедился, что доброе дело без награды не остается: какие милые выигрыши! Но мне хочется посеять еще больше семян, чтобы в будущем году стяжать еще лучшую награду, во-первых, у вас на предполагаемой с Евгенией Петровной лотерее, а во-вторых, на небеси. Поэтому позвольте, Марья Федоровна, возвратить нынешние мои выигрыши с просьбой обратить их на будущую лотерею. Прилагаю также

«Обыкновенную историю» для минувшей лотереи и «Фрегат „Паллада“» для будущей, присовокупляя торжественное обещание принести на алтарь добродетели и экземпляр «Обломова», если он будет уже к тому времени напечатан.

Очень жалею, что Николай Андреевич не застал меня: по его обещанию, я ждал его накануне. Рукопись его, подписанная мною, отправлена в цензурный комитет для приложения печати; там можно получить ее во всякое время [9].

Свидетельствую мое почтение вам, Андрею Ивановичу и всем вашим; перед Еленой Андреевной, кроме того, извиняюсь в том, что почерк нехорош, хотя я и старался.

И. Гончаров».

1859 год

Так в одном из писем поддразнивает он добрейшую старушку Евгению Петровну Майкову, которую очень любит и уважает. Перепишу и это письмо:

«Не знаю, как благодарить вас, милостивая государыня Марья Федоровна, за присланный 24 июня восхитительный букет, несмотря на то, что к нему приложен был сарказм о нелюбви будто бы моей к цветам: Евгения Петровна около двадцати лет прибегает ко всевозможным средствам, чтобы извести меня, и чего-чего не делает для этого. По воскресеньям дает мне съедать от трех до двенадцати блюд, чтобы я погиб от несварения пищи; однажды отправила вокруг света в надежде, что я пропаду, а теперь вот действует посредством клеветы, но провидение, должно быть, за мою простоту и добродетель хранит меня от ее неистовых гонений!

Если бы даже это была и правда, то есть, если бы я и не любил цветов, то такой букет помирил бы меня с ними.

Поручение ваше исполнил давно, то есть прочел стихи Я. П. Полонского, но по крайней тупости моей мне только сегодня пришла мысль отправить их на вашу городскую квартиру, с которою, вероятно, у вас бывают частые сношения. Вот почему стихи не дошли

до ваших рук. В них нет ничего противного цензуре, выключая «Молитвы», которую я и отметил карандашом [10].

На днях я встретился с Н. К. Гебгардтом и заключил с ним договор явиться в непродолжительном времени к вам и лично поблагодарить за ваше милое внимание.

Прося покорнейше передать мой искренний поклон А. И., Е. А. и всем вашим,

честь имею быть и проч.

5 июля 1858 года *И. Гончаров».*

К. Т.

СОВРЕМЕННИЦА О ГОНЧАРОВЕ

(ПИСЬМО ИЗ СОЧИ)

Под убаюкивающий ропот бирюзового моря безвестно для широкой публики доживает свои дни забытая писательница Екатерина Павловна Майкова.

Было время, когда она жила в сфере высшей интеллектуальной жизни, когда ее окружал цвет русской литературы, когда она, так сказать, грелась в лучах славы наших знаменитых писателей.

В славную эпоху 60-х годов в числе близких Екатерине Павловне лиц были такие первостепенные величины, как И. С. Тургенев, Д. В. Григорович, поэт А. Н. Майков и в особенности И. А. Гончаров и другие dii minores * литературного Олимпа.

Но годы прошли, и волею судьбы Екатерина Павловна, как лермонтовский листок, оторвавшийся от ветки родимой, нашла приют лет тридцать тому назад под лазурным небом черноморского побережья, в небольшом тогда поселке Сочи. И теперь лишь щедрое солнце юга согревает ее одинокую старость.

Но и в этом диком месте Екатерина Павловна не замерла, а в меру возможности уделяла нечто от идеализма той эпохи, внося в окружающую среду семена высокой усвоенной ею духовной культуры.

Благодаря заботам Е. П. Майковой возникла прекрасная библиотека-читальня, сыгравшая для Сочи большую культурную роль, основан в ее домике на Приморской улице Горный клуб, метеорологическая станция.

* Второстепенные боги (*лат.*).

Но человек другой эпохи, иного исторического цикла, Екатерина Павловна все-таки полной душой живет лишь в сфере великих образов прошлого, создав в своих комнатах, в мезонине, своего рода литературный музей.

Несмотря на свои восемьдесят три года [1], Екатерина Павловна удивительно сохранила остроту внешних чувств и ясность памяти.

С особенным благоговением и бережностью она хранит воспоминания об И. А. Гончарове, другом которого она была.

Знакомство с Гончаровым состоялось в доме Майковых — литературном салоне того времени, — и семья Майковых стала как бы своей для автора «Обыкновенной истории».

Еще очень юной, семнадцати лет, Екатерина Павловна, только что вышедшая замуж за Вл. Н. Майкова, брата поэта и впоследствии соредактора «Современника» [2], встретилась со знаменитым писателем. Впечатление он произвел необыкновенно яркое.

Всесторонне образованный, глубоко начитанный в классической литературе, русской и западноевропейской, Гончаров стал читать в молодом кружке Майковых лекции по литературе [3]. Это не были лекции в обычном смысле, а живая беседа, курс в образной и увлекательной форме.

К своим занятиям Иван Александрович относился вдумчиво и серьезно, заявив себя в записках таким же исключительным мастером стиля, каким мы знаем его по художественным произведениям.

Гончаров любил чуткую и любознательную ученицу Екатерину Павловну, которую за простоту и наивную серьезность к «вопросам» прозвал «старушкой».

— А что же не видно нашей старушки? — спрашивал Гончаров, когда чуть не каждый вечер приходил к Майковым.

В этом же кружке впервые был задуман план образцового детского журнала, в котором ощущалась нужда и в котором должны были принять живое участие выдающиеся художественные и литературные силы.

Мысль эта осуществилась созданием в 1852 году журнала «Подснежник» под фактической редакцией Е. П. Майковой [4], писавшей там рассказы и популярные

статьи, а Гончаров, Тургенев, Майковы и другие лица деятельно вносили туда свои творческие вклады.

Издавался журнал великолепно, клише специально заказывались в Лейпциге, и «Подснежник» оказал огромное воспитательное влияние на молодое, подрастающее поколение. Когда, например, писатель С. Я. Елпатьевский посетил недавно в Сочи Майкову, то вспоминал этот журнал, читанный им в детстве, говоря, что первые ростки направления и мировоззрения восприняты им из «Подснежника».

Братья-писатели в то время жили дружной семьей. Еще задолго до разрыва с Тургеневым И. А. Гончаров путешествовал вместе с Майковым, Тургеневым, Григоровичем и другими[5]. Гончаров вместе с Екатериной Павловной усердно посещал галереи и музеи искусств, причем в отношении прославленных произведений живописи и скульптуры проявлял оригинальную эстетическую оценку. Общепризнанные шедевры, вроде «Сикстинской мадонны» в Дрездене и других, не производили на него такого впечатления, как, например, на Тургенева, который патетически изливал свой восторг[6]. В подтверждение верности своего восприятия Иван Александрович ссылался на неиспорченное и непосредственное чутье Е. П. Майковой. Ее тонкую наблюдательность в восприятии явлений заграничной жизни Иван Александрович ставил в пример прочим писателям. «Смотрите, — говорил он,— мы, художники, не заметили вот этого паруса на озере, этого светового эффекта, а от ее внимания такие художественные детали не ускользали».

Екатерина Павловна во время экскурсий по европейским городам удивлялась тому культу еды, который царил среди писателей. Когда намечался маршрут пути, то сообща подробно обсуждалось меню, где и что будут они есть. В одном городе обращалось внимание на устрицы, в другом — на дичь, в следующем — на вина. В области гастрономического искусства Гончаров соперничал с Тургеневым, Григорович — с ними обоими.

Присутствие женщины сдерживало обыкновенно развеселившуюся компанию. Под влиянием великолепного вина языки развязывались, начинались вольные анекдоты. Особенно на этот счет отличался Григорович. В это время И. А. Гончаров, указывая на Екатерину Павловну, обращался к сотоварищу с укором:

— Осторожнее, Григорович, не забывайте, что среди нас почти ребенок!

На что Григорович извиняющимся тоном отвечал:

— Ей-богу, простите, ведь вы знаете мою черносливную натуру.

С течением времени Гончаров отдалялся от своих литературных товарищей. Чем старше делался Иван Александрович, тем подозрительнее относился к окружающим. Роман «Обломов» был зенитом славы Гончарова, которую он делил с Тургеневым.

Гончаров не был равнодушен к тому успеху у публики, который в большей доле выпал его сопернику. Привыкший делиться своими художественными планами с Тургеневым, Гончаров подробно рассказал последнему содержание глав и целые сцены будущих произведений. Но потом Гончарову стало казаться, что быстро пишущий Тургенев просто пользуется откровенностью Гончарова и заимствует у него типы и образы.

В памяти Е. П. Майковой зафиксировался такой, например, эпизод.

Гончаров прислал из-за границы письмо с подробным изложением плана и описанием действующих лиц своего будущего романа «Обрыв». Письмо прислано было общему другу писателей Льховскому[7], обладавшему замечательно тонким критическим чутьем. С его мнением и оценкой считалась вся литературная среда, в том числе Некрасов, редактор «Современника». Необыкновенный оратор, Льховский, к сожалению, не мог в равной степени выражать свои мысли письменно.

Тургенев, вернувшийся только что в Петербург, уезжая к себе в имение, спросил у провожавшего его Льховского, нет ли сведений от Гончарова. Узнав о письме, Тургенев попросил взять это письмо с собой, говоря, что прочтет внимательно в дороге. Тот, конечно, дал.

Прошло лето, осенью писатели все собрались в Петербурге. И так как все они обыкновенно, до напечатания своих вещей, читали их в тесном кругу у Майковых в рукописи, то и на этот раз был объявлен вечер для прочтения нового романа Тургенева «Накануне».

Тургенев почему-то пригласил на этот вечер всех, за исключением Гончарова.

Гончаров случайно, соскучившись дома, пошел к дому Майковых, увидел огонек у них и решил зайти.

Каково же было удивление Ивана Александровича, когда он застал всех в сборе, и в том числе Тургенева, читающего свою вещь.

Приход Гончарова не показался никому странным, так как все полагали, что и он приглашен, по обыкновению. Смущен был несколько, по словам Майковой, И. С. Тургенев.

Обиженный Гончаров молча сел и стал слушать чтение. Когда Тургенев кончил чтение, Гончаров, взволнованный, не сказав никому ни слова, ушел.

Затем видится с Льховским и спрашивает у него, не показывал ли тот его письма Тургеневу. Тот откровенно рассказал, в чем было дело.

После этого Гончаров пишет резкое письмо Тургеневу и обвиняет его в плагиате[8]. Тургенев отвечает в примирительном тоне с целью разъяснить дело.

Инцидент получил широкую огласку, и друзья принимают меры для примирения двух любимых писателей. Устанавливается третейский суд, на котором сходство в описании героев Льховский[9] и другие старались объяснить совпадением творчества великих художников, пользующихся по-своему одним и тем же куском мрамора.

Все же Тургенев согласился уничтожить две инкриминируемые Гончаровым главы[10].

Об этом характерном эпизоде в отношениях между Гончаровым и Тургеневым Майкова рассказывала также и Д. Н. Овсянико-Куликовскому, посвятившему Екатерине Павловне свой этюд о Гончарове[11].

В комнате-музее Майковой хранятся неопубликованные письма и некоторые бумаги Гончарова, его портреты с автографами и книги с собственноручными надписями. У нее же имеется от Гончарова необыкновенно художественной работы ларец и другие драгоценные реликвии.

Между прочим, Майкова помогала Гончарову в его литературной работе[12]. Автор «Обломова» отличался оригинальной манерой письма. Вынашивая годами образы в голове, Гончаров время от времени делал на клочках бумаги наброски сцен, содержания глав, имена действующих лиц, описания и характеристики. В конце

концов накапливался из этих черновых заметок целый портфель бумаг. Вот он и просил Майкову, которой доверял, разобраться в этом хаосе, систематизировать их в определенном порядке, так как «без этой предварительной работы, без этой канвы я никогда не приступлю к написанию своего „Обрыва"».

Все литераторы, кому приходится бывать в Сочи, считают своим долгом навестить Майкову, с удовольствием слушая ее богатые воспоминания.

Имя симпатичной старушки хорошо знакомо Д. Н. Овсянико-Куликовскому, В. И. Дмитриевой, И. П. Белоконскому и многим другим.

А. М. Скабичевский

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ»

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ПЕРЕЖИТОМ

Литературный салон Майковых в сороковые и пятидесятые годы был средоточием именно литераторов, группировавшихся вокруг «Отечественных записок». Наибольший тон в этом салоне давал Гончаров, этот истый бюрократ и в своей жизни и в своих романах с их бюрократическими идеалами, Адуевым и Штольцем. В качестве учителя поэта Аполлона Майкова он, конечно, озаботился привить достаточное количество бюрократического яда в голову своего ученика.

Нужно, впрочем, заметить, что вся семья Майковых была от природы расположена к принятию этого яда. Я не знаю, что представлял собою Вал. Майков, умерший до моего знакомства с его семьею. Что же касается всех прочих членов семьи, то они всегда поражали меня строгою уравновешенностью их натур, крайнею умеренностью и аккуратностью во всех суждениях и поступках, наружным благодушием и мягкосердечием, под которыми втайне гнездилось эгоистическое себе на уме, а порою и достаточная доза душевной черствости. Но все это скрашивалось таким светским тактом в обращении как с выше, так и с ниже поставленными людьми, что находиться в их обществе было очень легко и приятно. Невольно казалось нам, юнцам, что трудно и представить себе людей более передовых, гуманных и идеальных. Это и был тот самый «гармонизм» всех элементов человеческой природы, на который в кружке нашем смотрели как на квинтэссенцию той истинной просвещенной нравствен-

ности, которая заменила для нас отвергнутую нами обветшалую прописную мораль.

Ко всему этому надо прибавить, что все Майковы поголовно были эпикурейцы, тонкие ценители всего изящного и гастрономы, умеющие вкусно и в меру поесть и выпить. Наконец, все Майковы подряд были созерцатели, с примесью некоторой доли сентиментальности. О Майкове-отце нечего и говорить уж: поставщик образов в Исаакиевский собор и другие церкви Петербурга [1], он вечно витал в мире небесных образов, и глаза его то и дело возносились горé. Старший сын его, Аполлон, в свою очередь, был преисполнен звуков чистых и молитв: любил уноситься своим поэтическим воображением в эпохи античной древности и средневекового рыцарства и спускался в мир окружавшей его действительности только для подражания любовным мотивам Гейне и для воспевания подвигов великих мира сего.

Средний сын, Владимир, тоже склонен был к созерцательности. Между прочим, административная служба по департаменту внешней торговли столь иссушила его, что жена его [2], обладавшая более живым и пылким темпераментом, не в состоянии была ужиться с ним и сбежала от него на Кавказ с одним нигилистом, которого впоследствии Гончаров покарал, изобразивши в своем романе «Обрыв» в образе Марка Волохова. В 1865 году, живя в Парголове, я встретил однажды этого господина у Владимира Майкова, жившего на даче в Мурине, и мы гарцевали с ним даже верхами на чухонских лошадях. Он, как раз в то время, ухаживал за госпожою Майковой и показался мне очень симпатичным молодым человеком, не имеющим ничего общего с карикатурным героем романа Гончарова.

Что касается младшего брата Майкова, Леонида, нашего сотоварища, то он выдался более в мать, чем в отца; братья его все были брюнеты, а он — блондин, весь какой-то мягкотелый и уже в юности обещавший со временем потучнеть.

КОЕ-ЧТО ИЗ МОИХ ЛИЧНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

О семействе Николая Аполлоновича и Евгении Петровны Майковых существует уже немало воспоминаний в нашей литературе, начиная с И. И. Панаева и других.

Это был литературный салон, игравший некогда очень видную роль в передовых кружках сороковых годов. Сюда стекались все молодые корифеи, группировавшиеся вокруг «Отечественных записок»; здесь Гончаров учил маленького Майкова российской словесности, а затем вокруг Валериана Майкова группировались передовые люди более юной формации...

В мое время старики Майковы жили уже более замкнутой жизнью. Из литературных корифеев я встречал здесь лишь старого друга дома — Гончарова, Дудышкина, Громеку; раз или два при мне заглянул Писемский. Гончаров, при своей замкнутости, вечном спокойствии, отсутствии малейшей экспансивности и подъема тона, не оставил во мне ровно никаких впечатлений и воспоминаний. К тому же он мало сближался с молодежью, сидел всегда на почетных местах и чинно беседовал с старшими. Примеру его следовал и тучный, отяжелевший, неповоротливый в своих движениях и молчаливый Дудышкин. Совсем другое представляли собой Писемский и Громека. Писемского я встретил в 1861 или в 1862 годах, как раз тогда, когда он писал свое «Взбаламученное море». Я никогда, ни до того, ни после того, не встречал такого крайнего озлобления против молодежи, какое обнаруживал Писемский. Очень может быть, что присутствие двух-трех молодых людей его пришпоривало, но только он был поистине беспощаден, и, между тем как я с Л. Н. Майковым и еще с кем-то из наших ходили взад и вперед по зале, прислушиваясь к его речам и едва удерживаясь от смеха, Писемский, как градом, осыпал нас самыми энергическими выражениями, и его голос так и гремел по всей зале к общему смущению всей публики.

П. М. Ковалевский

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ

(Отрывок)

Из обедов, задававшихся вносителям перлов, мне остался памятнее других тот, на котором я познакомился с Тургеневым. Обед этот мог бы быть назван выставкою цвета русской литературы. Выбившись из-под николаевского снега сороковых и начала пятидесятых годов, она отходила теперь на весеннем солнышке первых вольностей воцарившегося Александра. Тут были: печатавший своего «Обломова» Гончаров — кругленький, пухлый, с сонливо-спокойным взглядом светлых глаз из-под широких век в ячменях; Писемский — с лицом как самовар из красной меди и черными навыкате, как уголья, глазами, Писемский — «Тысячи душ» и «Горькой судьбины»; рыжеватый и белый, как банщик или молодец из лабаза, Островский — «Любима Торцова» [1], огромный Тургенев — «Дворянского гнезда», которое уже набиралось для «Современника» [2]; сухой, длинный, с длинным лицом, висячими волосами и бородой Полонский — «Кузнечика-музыканта»; тоже длинный, но пооткормленнее или брюзглее, с подслеповатыми, вечно потупленными глазками Дружинин, редактирующий «Библиотеку для чтения»; похожий на маркера Панаев — Новый поэт «Современника»; прозванный им «critique fin» * Анненков, пучеглазый, с кувшинным рылом, получивший свой свет от больших солнц литературы, около которых неустанно вращался; московский краснобай, остроумный

---

* Тонкий критик (*франц.*).

и стародавний, теперь заново реставрированный писатель Павлов, в высоком, намотанном вокруг шеи галстуке по моде тридцатых годов; наконец, два самых ярых представителя только что народившейся породы «новых людей», будущих нигилистов, — Чернышевский, маленький, бледный и худой, в золотых очках, с тонкими чертами лица и длинными светлыми волосами, и Добролюбов, высокий, с волосами довольно темными, крупными чертами лица (строгого педагога или протестантского пастора), тоже в очках. Оба с ироническим отношением к окружающему. Молчание было с их стороны ответом на все, что ни говорилось. Один раз только пошутил вслух Добролюбов, и то по адресу своего соседа Чернышевского, когда заговорили о каком-то стихотворце, который писал оды Николаю и ходатайствовал о переименовании его настоящей фамилии в фамилию Николаевского.

— Как переименовали Грязную улицу, — вставил Добролюбов.

Улица эта недавно была из Грязной переименована в Николаевскую.

Анненков увидел возможность совершить вращение в сторону восходящих солнц: поднял над тарелкою ладони и изобразил ими рукоплескание. Но там это не было даже замечено.

Л. Ф. Пантелеев

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПРОШЛОГО

(Отрывки)

Кажется, в тот год, когда я приехал в Петербург, то есть в 1858 году, товарищество «Общественная польза», незадолго перед тем открывшее свою деятельность, впервые организовало целый ряд публичных лекций (в единственной тогда зале Пассажа) по естественным и прикладным наукам; в числе лекторов были проф. Ходнев, Ценковский и другие. Но литературные чтения начались только с открытия Литературного фонда (1859 год). Они тоже сначала происходили в зале Пассажа; попасть на первые чтения было очень трудно, так как зала Пассажа была невелика, а желающих послушать было видимо-невидимо; и я только благодаря протекции Кавелина, который состоял членом комитета фонда, доставал себе билеты.

На первых чтениях участвовали все корифеи тогдашней литературы: Тургенев, Гончаров, Писемский, Достоевский, Островский, Некрасов, Шевченко, Майков, Полонский. Эти чтения были интересны для публики не только тем, что она могла видеть своих любимцев, но и потому, что бо́льшая часть тогдашних литераторов были отличные чтецы, чем далеко не может похвастаться настоящее время, несмотря на существование разных декламационных школ и кружков выразительного чтения...

Бедность тогдашней общественной жизни достаточно объясняет это расположение перечитывать в кружках вещи, уже давно каждому известные, но все же способные доставлять большое художественное наслаждение.

Отсюда в чтецах вырабатывалось не столько желание произвести сильный эффект, сколько стремление точнее и проще передать всю внутреннюю красоту и правду.

Это и было видно в чтецах, выступивших на первых литературных вечерах. Честь открыть первое чтение выпала на И. С. Тургенева; в течение нескольких минут не умолкали рукоплескания; Тургенев, хотя и с заметной проседью, но еще во всей красе сорокалетнего возраста, только успевал раскланиваться; наконец установилась тишина. На этот прием Тургенев ответил так: «Как ни глубоко тронут я знаками выказанного мне сочувствия, но не могу всецело принять его на свой счет, а скорее вижу в нем выражение сочувствия к нашей литературе». Новые рукоплескания, и только когда Тургенев дал понять, что хочет приступить к чтению, мало-помалу публика затихла.

Голос у Ивана Сергеевича был негромкий, не особенно приятный, но такова была простота и вдумчивость его чтения, что Хорь и Калиныч стояли перед слушателями как живые; в каждом слове чувствовались все переливы их души, оттенялась контрастность двух типов. Нечего и говорить, что когда Тургенев кончил, то рукоплесканиям и вызовам не было конца; почти вся публика встала, дамы махали платками, мужчины не жалели своих рук.

Первоклассный чтец был Островский; никогда на меня «Свои люди — сочтемся» не производили такого впечатления, как в чтении Островского. Он прочел всю драму, сделав лишь очень незначительные купюры; всем слушателям драма была известна, но таково было мастерство чтения, что все прослушали ее, не только не испытав утомления, но с поразительным увлечением. Я точно сию минуту слышу Островского: «Олимпиада Самсоновна, позвольте ручку поцеловать». — «Вы дурак необразованный».

Своего рода был великий мастер-чтец Писемский. Раз он читал совершенно незначительную вещь — из «Гаванских чиновников» давно забытого Генслера [1]. Не только все разговоры Писемский передавал так, что слушатель совсем забывал чтеца, а казалось, слышал самих обитателей Гавани, но даже когда он рисовал картину — например, корову, стоящую перед лужей и задумавшуюся, что ей делать, или кофейницу, неустанно работающую, — иллюзия доводилась до необычайного совершенства.

И. А. Гончаров на одном из вечеров познакомил публику с главой будущего «Обрыва» — «Софья Николаевна Беловодова» (этот отрывок был озаглавлен «Эпизоды из жизни Райского»). Тогда Гончаров был в зените своей славы; за год перед тем вышел «Обломов», и все нетерпеливо ждали нового произведения. Он также читал хорошо, но у него была своя манера: читал, как опытный докладчик, обдуманно, выразительно, но без внутреннего увлечения.

На чтениях часто выступал Некрасов; читал он тихим, замогильным голосом; к некоторым стихам его это очень шло, например, «Еду ли ночью...», но где требовалось больше энергии, например, «Стой, ямщик!», тут он не мог производить сильного впечатления. Как-то Кавелин рассказывал, что когда Некрасов в первый раз прочитал в их кружке только что написанное им «Еду ли ночью...», то все так были потрясены, что со слезами на глазах кинулись обнимать поэта...

Не скажу, чтобы Некрасова очень восторженно встречали; все высоко чтили его талант, молодежь многое знала из него наизусть, но против него как человека царило широко распространенное предубеждение...[2]

А вот Шевченко был встречен так задушевно, что, растроганный до глубины души и чувствуя, как изменяют ему силы, он ушел с эстрады; и только когда несколько успокоился, он вернулся и приступил к чтению. Этот случай мне недавно напомнил Н. Ф. Анненский. Прочел он, помнится, из «Гайдамаков» и «Думы мои, думы...»

Достоевский читал в первый раз из «Мертвого дома»; ему тоже была сделана самая трогательная овация. Литературная слава его была еще в зародыше, но в нем чтили недавнего страдальца...

Из поэтов также часто выступали Майков и Полонский. Якова Петровича встречали с добродушною снисходительностью; чтец он был не ахти какой; кто не знал его лично, тот мог даже заподозрить Якова Петровича в не совсем умелом декламаторстве. Напротив, Майков читал умно, даже с увлечением, но в нем чувствовалась какая-то искусственность. Его сначала принимали очень сочувственно; однако он скоро набил публике оскомину, слишком часто выступая с чтением «По ниве прохожу я...» и т. п...

П. В. Анненков

ШЕСТЬ ЛЕТ ПЕРЕПИСКИ С И. С. ТУРГЕНЕВЫМ

1856—1862

(Отрывок)

...Эпизод из жизни Тургенева, немало огорчавший его...— литературное недоразумение с романистом-художником Иваном Александровичем Гончаровым — не заслуживал бы и рассказа, если бы не авторитетные имена обоих участников этого спора. Впрочем, мы ограничимся только передачей третейского суда, потребованного Тургеневым, который во всем этом деле усмотрел намерение объявить успех «Дворянского гнезда» и «Накануне» приобретенным неправильно. Дело, без сомнения раздутое услужливыми приятелями, заключалось в следующем. По возвращении из кругосветного своего путешествия или даже и ранее того И. А. Гончаров прочел некоторую часть изготовленного им романа «Обрыв» Тургеневу и рассказал ему содержание этого произведения. При появлении «Дворянского гнезда» Тургенев был удивлен, услыхав, что автор романа, который впоследствии явился под заглавием «Обрыв», находит поразительное сходство сюжетов между романом и его собственным замыслом, что он и выразил Тургеневу лично. Тургенев в ответ на это, согласно с указанием И. А. Гончарова, выключил из своего романа одно место, напоминавшее какую-то подробность, и я «успокоился», — прибавляет И. А. Гончаров в объяснительном письме к Тургеневу. С появлением «Накануне» произошло то же самое. Прочитав страниц тридцать или сорок из романа, как го-

ворится в письме Ивана Александровича к Тургеневу от 3 марта 1860 года, он выражает сочувствие автору: «Мне очень весело признать в вас смелого и колоссального артиста», — говорит он, но вместе с тем письмо заключало в себе и следующее:

«Как в человеке ценю в вас одну благородную черту — это то радушие и снисходительность, пристальное внимание, с которым вы выслушиваете сочинения других и, между прочим, недавно выслушали и расхвалили мой ничтожный отрывок все из того же романа, который был вам рассказан уже давно, в программе». Вслед за письмом стали распространяться и расти в Петербурге слухи, что оба романа Тургенева суть не более как плагиат неизданной повести Ивана Александровича. Эти слухи, разумеется, скоро дошли до обоих авторов, и на этот раз Тургенев потребовал третейского суда. И. А. Гончаров соглашался подчиниться приговору такого суда на одном условии: чтобы суд не обратился к следственной процедуре, так как в последнем случае юридических доказательств не существует ни у одной из обеих сторон, и чтобы судьи выразили свое мнение только по вопросу, признают ли они за ним, Гончаровым, право на сомнение, которое может зародиться и от внешнего, поверхностного сходства произведений и помешать автору свободно разрабатывать свой роман. На одно замечание Тургенева Гончаров отвечал с достоинством: «На ваше предположение, что меня беспокоят ваши успехи — позвольте улыбнуться, и только». Эксперты, после выбора их, собрались наконец 29 марта 1860 года в квартире И. А. Гончарова,— это были: С. С. Дудышкин, А. В. Дружинин и П. В. Анненков[1] — люди, сочувствовавшие одинаково обеим сторонам и ничего так не желавшие, как уничтожить и самый предлог к нарушению добрых отношений между лицами, имевшими одинаковое право на уважение к их авторитетному имени. После изложения дела, обмена добавлений сторонами замечания экспертов сводились к одному знаменателю. Произведения Тургенева и Гончарова, как возникшие на одной и той же русской почве, должны были тем самым иметь несколько схожих положений, случайно совпадать в некоторых мыслях и выражениях, что оправдывает и извиняет обе стороны. И. А. Гончаров, казалось, остался доволен этим решением экспертов. Не то, однако же, случи-

лось с Тургеневым. Лицо его покрылось болезненной бледностью; он пересел на кресло и дрожащим от волнения голосом произнес следующее. Я помню каждое его слово, как и выражение его физиономии, ибо никогда не видел его в таком возбужденном состоянии. «Дело наше с вами, Иван Александрович, теперь кончено; но я позволю себе прибавить к нему одно последнее слово. Дружеские наши отношения с этой минуты прекращаются. То, что произошло между нами, показало мне ясно, какие опасные последствия могут являться из приятельского обмена мыслей, из простых, доверчивых связей. Я остаюсь поклонником вашего таланта, и, вероятно, еще не раз мне придется восхищаться им вместе с другими, но сердечного благорасположения, как прежде, и задушевной откровенности между нами существовать уже не может с этого дня». И, кивнув всем головой, он вышел из комнаты. Заседание наше тем самым было прекращено. Позже они помирились, в 1864 году — при похоронах одного из экспертов, именно А. В. Дружинина. Во время самой заупокойной обедни на Смоленском кладбище перед раскрытым гробом журналиста произошло это примирение, которое, к сожалению, все же не могло восстановить вполне прежних добрых их отношений.

Р. И. Сементковский

ВСТРЕЧИ И СТОЛКНОВЕНИЯ
И. А. ГОНЧАРОВ

У моего опекуна [1] были три сестры: Екатерина, Елизавета и Мария, из них вторая, по мужу Жуковская, была матерью известного в свое время поэта, Александра Кирилловича Жуковского, писавшего под псевдонимом Бернет (о поэзии его Белинский выразился, что она «благоухает ароматным цветом прекрасной внутренней жизни») [2], а первая была бабкой Ивана Ивановича Льховского, в качестве переводчика совершившего вместе с Гончаровым кругосветное плавание на фрегате «Паллада» [3] и напечатавшего свои путевые впечатления в том же «Морском сборнике» (1861 и 1862 годы) [4].

Вот в доме этого Ивана Ивановича Льховского и его матери, вдовевшей уже тогда, я и встречал Гончарова. Они занимали казенную квартиру (Льховский управлял тогда типографией морского ведомства) в здании Адмиралтейства. Вход в квартиру Льховских был со стороны Зимнего дворца. Надо было открыть две тяжелые двери, выйти на затененную двумя стенами набережную засыпанной теперь уже канавки (нынешний Черноморский переулок), перейти мостик и открыть третью дверь, которая вела в квартиру Льховских. Здесь почти всегда царил таинственный полумрак, в самой квартире было много причудливых вещей, вывезенных Льховским с Дальнего Востока; сам хозяин, черный, высокий, худой, ходил дома в каком-то длиннополом одеянии, не то в халате, не то кимоно, и все это, понятно, сильно действовало на воображение шестнадцатилетнего гимназиста,

каким я был тогда. Льховский редко удостаивал меня сколько-нибудь продолжительной беседы, но я не был в претензии, потому, во-первых, что он мне казался уж чересчур серьезным, а во-вторых, еще и потому, что за его пренебрежение с лихвой меня вознаграждала его мать, Елизавета Тимофеевна. Она меня почему-то сразу полюбила и не только охотно беседовала со мною, но и угощала меня на славу. Мне старуха также очень полюбилась, и я охотно бывал у нее по воскресным и праздничным дням (с нее я списал мать героя моей повести «Леонтина»).

Кроме меня, по воскресным и праздничным дням к Льховским иногда заходил и Гончаров. Он был тогда членом Главного управления по делам печати и редактором «Северной почты», — мужчина лет пятидесяти, небольшого роста, с пробритым подбородком, с начинавшими уже седеть густыми усами, бакенбардами и волосами, тщательно приглаженными. Костюм сидел на нем мешковато, но все было опрятно, только помню (я сам любил тогда пощеголять), что половинки воротника рубашки были постоянно у него плохо пригнаны и как-то беспорядочно расходились. Я успел уже прочесть «Обломова» очень внимательно, без ума влюбился в Ольгу, и меня занимал вопрос, который так сильно занимал впоследствии критиков, — не изобразил ли Гончаров в лице Обломова самого себя? Поэтому я с большим любопытством его разглядывал, даже изучал. И я сразу пришел к отрицательному ответу. Конечно, герой Ольги не мог быть таким молодым, как я, — в такого Ольга не могла влюбиться, но и к такому старику, как Гончаров, она не могла, конечно, воспылать страстью, и, стараясь отдать себе в этом отчет, я внимательнейшим образом присматривался и к его костюму, и к его манерам, и к его лицу. И тут-то меня кое-что смущало. Я невольно любовался его тонким, правильным, благородным носом, а главное — его глазами, умными, вдумчивыми и в то же время такими печальными, что самому вдруг грустно станет. В эти глаза Ольга, без сомнения, могла влюбиться и, пожалуй — помню, меня эта мысль самого тогда сильно поразила, — забыть об остальном. Мне так и хотелось подойти к Гончарову и сказать ему что-нибудь теплое, доброе, хорошее, чтобы он не был

таким грустным и чтобы он не дошел до того, до чего дошел Обломов... Да, я Ольгу понимал!

Гончарову надо было, чтобы пройти в кабинет к Льховскому, миновать небольшую гостиную, в которой я обыкновенно заседал с Елизаветой Тимофеевной. Он считал долгом вежливости обменяться с нею несколькими словами, причем на ее приглашение сесть неизменно отвечал вопросом:

— А Иван Иванович дома?

Тот всегда оказывался дома, и Гончаров, отвесив почтительный поклон Елизавете Тимофеевне и дружелюбно кивнув мне, направлялся в кабинет к Ивану Ивановичу.

Что там происходило, или, точнее говоря, о чем там беседовали бывшие товарищи по кругосветному плаванию, я не знаю, но помню, когда дверь отворялась, чтобы пропустить горничную, приносившую Гончарову стакан сельтерской воды с вареньем, тщательно приготовленный самою старушкой, до меня доносились разные дальневосточные названия, свидетельствовавшие о том, что собеседники все еще предаются воспоминаниям о своем путешествии, о котором вообще часто говорилось в доме Льховских, доносился и ароматный дым манильских сигар, и я видел, как Гончаров неизменно полулежал на широком мягком диване, окружавшем кабинет, а высокая фигура самого Льховского виднелась у письменного стола, легко наклоненная к полулежавшему писателю. Затем дверь захлопывалась, и все исчезало. Гончаров обыкновенно уходил до обеда, или же я уходил раньше, так что я видел его только в то время, когда он проходил через гостиную, направляясь в кабинет Льховского. Краткие беседы, которые он вел с Льховской, проходя через гостиную, были так незначительны, что ни одна не осталась у меня в памяти; равным образом и вопросы, с которыми он иногда обращался ко мне, ничем не отличались от вопросов, с какими старшие обращаются к подросткам-мальчикам, так что и их я не запомнил, но один разговор Гончарова так врезался мне в память, что, вспоминая о нем, я как теперь вижу и комнату, в которой он происходил, и Елизавету Тимофеевну, и самого Гончарова.

Я забыл упомянуть, что Гончаров приводил к Льховским неизменно свою собачку. Это был не то мохнатый

пинчер, не то шпиц (я плохо тогда различал породы собак), во всяком случае, собака небольшая, мохнатая, чистенькая, с умными глазами. Она ни на шаг не отходила от своего хозяина, стояла около него, когда он стоял, ложилась, когда он садился, свертывалась калачиком, когда он вел продолжительную беседу; в кабинете у Льховского, когда дверь открывалась, я видел ее всегда мирно спавшую у ног своего хозяина, в гостиной она всегда была начеку, хотя признаков какого-нибудь беспокойства никогда не проявляла.

Когда Гончаров в это воскресенье вошел в гостиную, Елизавета Тимофеевна, лукаво взглянув на него исподлобья, спросила:

— Ой, не пора ли? Ведь и опоздать можно.

Разговор, очевидно, касался темы, уже раньше между ними затронутой.

Улыбка, игравшая на подбородке Гончарова, исчезла, красивые его глаза стали печальными.

— Давно опоздал, Елизавета Тимофеевна, — ответил он.

— Мне, как женщине, виднее, — возразила Льховская, — но терять времени не следует.

По лицу Гончарова пробежала такая густая тень, что Елизавета Тимофеевна была озадачена — я это ясно видел, — а мне стало как-то жутко. Тень быстро сменилась печальною улыбкою, и Гончаров сказал, указывая на свою собачку:

— Вот верный друг! Он не изменит... не обидит.

И, словно устыдясь чего-то, он быстрее обыкновенного поклонился Елизавете Тимофеевне и исчез вместе с своей собачкой за дверью кабинета.

Елизавета Тимофеевна после его ухода сидела в задумчивости, а я не смел прерывать молчания.

Эта сценка навсегда запечатлелась в моей памяти, но особенно отчетливо я ее вспомнил лет семь спустя, когда, кончая курс в университете, дочитывал «Обрыв».

Я вспомнил тут сразу и Наденьку из «Обыкновенной истории», исключительно озабоченную тем, чтобы подцепить выгодного жениха, и безответную, хотя столь симпатичную Лизавету Александровну из того же романа, и Ольгу из «Обломова», умную, увлекательную Ольгу, но озабоченную единственно личным своим счастьем, и, наконец, вот эту Веру, с трагедией жизни

которой я только что познакомился, то восторгаясь, то волнуясь до внутренней дрожи, то негодуя, — той трагедией жизни, которая вызывается борьбою между жаждою личного счастья и сознанием общественного долга. Могли ли пустые Наденьки, безответные Лизаветы Александровны, жаждавшие только личного счастья Ольги, еще не пришедшие к сознанию своего общественного долга Веры быть избранницами, подругами жизни того, кто так ясно, как Гончаров, сознал свой долг перед страною? Каждая строчка его произведений служила мне, теперь уже умственно окрепшему юноше, свидетельством возвышенности его общественных идеалов, — и легко ли человеку с таким возвышенным душевным строем найти себе товарища на всю жизнь, жену, призвание которой и состоит в том, чтобы быть если не единственным, то вернейшим другом своего мужа в лучших его помыслах и делах?

Теперь я уже не спрашивал себя, может ли Ольга влюбиться в Гончарова, я спрашивал себя, могут ли его героини сами оказаться достойными его любви, я проникался к нему чувством глубокого уважения, почти почитания, тем чувством, которым я был проникнут к только что утраченному мною моему опекуну (он умер в год появления «Обрыва»), также ставившему общественный долг, долг перед страною, выше всего, и жаждал и в то же время страшился принять на свои слабые плечи крупицу тяжелого, но и великого наследия исчезавших поколений.

Ф. А. Кудринский

К БИОГРАФИИ И. А. ГОНЧАРОВА

Бывшая начальница Виленского высшего мариинского училища Александра Яковлевна Колодкина была знакома с Иваном Александровичем Гончаровым. Полагая, что для характеристики наших выдающихся писателей важны все сколько-нибудь интересные эпизоды из их жизни, и пользуясь любезным разрешением госпожи Колодкиной опубликовать некоторые из ее воспоминаний и напечатать имеющееся у нее письмо И. А. Гончарова, мы с ее слов расскажем вкратце историю этого знакомства. Лето 1866 года А. Я. Колодкина проводила, вместе с своей сестрой П. Я., в Мариенбаде. Общество русских на водах было невелико. Большею частью это были больные, приехавшие для поправления здоровья. Здоровые, находившиеся при больных, искали развлечений. При таких обстоятельствах люди обыкновенно знакомятся быстро и охотно. К знакомствам побуждало и естественное чувство землячества, пробуждающееся на чужой стороне.

«Однажды, — рассказывает Александра Яковлевна,— мы обедали в ресторане «Stadt Hamburg» за отдельным столиком. Здесь по преимуществу собиралось русское общество. Неподалеку от нас расположилась группа посетителей. Среди них был Гончаров, которого доктора несколько лет уже подряд посылали в Мариенбад. Он посмотрел в нашу сторону.

— Это непременно русские,— сказал Иван Александрович и пожелал с нами познакомиться.

— Позвольте вам представить: Иван Александрович Гончаров, — сказал А. П. Опочинин, подводя к нам писателя.

— Гончарова не нужно представлять... Его все знают, — ответила я.

Он вежливо поклонился, и мы разговорились. С того дня он приходил к нам каждый день.

Конечно, мне приятно было знакомство с писателем, о котором говорила тогда вся Россия».

Гончаров находился тогда, можно сказать, в зените своей известности. Публике уже были известны его «Обыкновенная история», «Фрегат „Паллада“» и «Обломов». Иван Александрович работал над «Обрывом». Нервы Гончарова в это время были расстроены, и доктора посоветовали ему ездить, после лечения в Мариенбаде, в Boulogne-sur-Mer.

«Отправляясь туда и прощаясь со мной, — рассказывает Александра Яковлевна, — он обратился ко мне с такими словами:

— Не напишете ли вы мне в Булонь несколько строчек. Мне было бы очень приятно получить от вас хоть маленькое письмецо...

Видя в его словах обычную в таких случаях любезность, я, конечно, и не думала писать ему.

После шестинедельного пребывания в Мариенбаде я с своими родными переехала в Париж. В одну из тоскливых минут, какие часто находили на нас в дурную погоду в большом, чуждом нам городе, мне пришло в голову: почему и не написать Ивану Александровичу? К этому побуждала меня и моя сестра.

Хотя, по тогдашним понятиям, и не принято было писать молодым девицам письма мужчинам, но Гончаров мог быть исключением, — и я написала ему несколько строчек по-французски, самого общего содержания, вроде того: как вы поживаете, весело ли проводите время, как здоровье и пр. При этом прибавила, что вспоминаю разговоры и интересные прогулки с ним... Иван Александрович через несколько дней ответил мне следующим письмом [1].

«Boulogne-sur-Mer
Hôtel du Petit Pavillon

Перед отъездом моим из Парижа, Александра Яковлевна, вы отняли у меня суровым отказом всякую надежду получить от вас строчку; можете себе представить, как приятен мне был неожиданный сюрприз,

сделанный вашим милым письмом. Только вы приписываете ему не ту главную заслугу, какую оно имеет: *искренность.* До искренности еще не дошла речь, но я смею надеяться, что эта речь впереди, то есть когда вы, узнав меня несколько короче, сложите с себя этот характер сдержанности и учтивой любезности и замените их действительной искренностью. Но я, поспешаю прибавить, этого еще не успел заслужить и потому сознаюсь, что вы не могли написать письма в каком-нибудь другом тоне, как в том, в каком оно написано. Впрочем, самый факт, то есть присылка письма, дает мне право гордиться, что вы не забыли меня и что, следовательно, находили не неприятным мое общество. Я желал бы, чтобы по возвращении моем в Париж вы нашли большое удовольствие в наших прогулках и чтобы вспоминали о них более двух недель потом. Вот видите: вы немного побаловали меня, и у меня является неумеренная претензия, которую я постараюсь всячески оправдать.

Вы предоставляете мне угадать, почему пишете мне по-французски, а не по-русски. Я бы желал предположить какую-нибудь мелкую и невинную причину, например, нелады с «ѣ» и «е» или отвращение к запятым, наконец, наивную боязнь некоторых дам писать к литераторам, но такие причины слишком ниже вас — вы чересчур умны и ложный стыд в незнании запятых вам не к лицу. Я боюсь другой, горшей причины: французская речь лучше помогает быть любезным в принятых формах, нежели русская, не обязанная быть в то же время искренней. Впрочем, эта причина, при неопределенных, неустановившихся отношениях, законная и почти неизбежная. Я уверен, что после новых, очень немногих прогулок со мною вы перейдете на русскую речь.

Русских женщин я считаю лучшими из всех, и не по одному только патриотизму, а и по строгому, долговременному изучению их: язык есть самое живое и чуть ли не единственное выражение национальности. Женщина, постоянно говорящая и пишущая на чужом языке, всегда бы осталась для меня незнакомою, как бы я часто ни видал ее.

Вы полагаете, что я здесь попал в вихрь большого света и даже участвую в балах. Большого света здесь нет: англичан много, но из них мало порядочных, а большая часть приезжает, или спасаясь от долгов в Англии,

или для торговых сделок, или покутить неделю в чужом городе, или, наконец, бегут от английской дороговизны.

В балах я участвую тем, что проклинаю разъезд экипажей всякий раз, когда дается бал в Casino, находящемся против моей отели. Один раз я, увлеченный известным вам бароном [2], пошел в концерт, в котором участвовала Carlotta Патти, но, прослушав пропетую арию из Верди, ушел, не дождавшись другой.

Я живу здесь очень уединенно, даже перестал ходить в table d'hôte *, потому что некоторые англичане, и особенно англичанки, узнав, что я один русский во всей Булони (барон уехал), думают, что мне скучно, и стараются развлекать меня разговором, и притом английским. Я отвык почти совсем от языка, — и труд ломать голову над английскими фразами меня тяготит.

Сегодня особенно сюда наехало множество народа из Англии и из окрестностей Булони, даже из Парижа. Здесь празднуют нынешний день и совершают громадный крестный ход в честь Notre Dame de Boulogne **, причем епископ торжественно благословляет море. В процессии участвуют, как мне сказывали, до восемнадцати епископов и до тысячи девиц (toutes les vierges de Boulogne et des environs ***, сказывала мне одна благочестивая душа). А я думаю, что стольких епископов во всей Франции нет. Не знаю, наберется ли столько девиц в Булони и ее окрестностях.

Но как я и эту процессию видел раз пять, то и не тороплюсь из своей комнаты, а провожу время гораздо приятнее, то есть пишу вам.

Очень жалею, что вы не написали мне нумера дома, где вы живете, что необходимо здесь, и потому я посылаю письмо к хозяевам своей парижской отели для доставления вам.

Между прочим я роюсь в своих тетрадках и по временам прибавляю новую страницу [3]. Если охота не пропадет заниматься, то я, быть может, останусь здесь лишнюю неделю, хотя чувствую, что от работы, при морских купаниях, делаются приливы крови к голове. Если они не прекратятся, я надеюсь в непродолжительном времени лично поблагодарить вас за дорогое, милое внимание.

---

* Общий стол (*франц.*).

** Булонской божьей матери (*франц.*).

*** Все девы Булони и окрестностей (*франц.*).

А теперь прошу вас передать выражение моего почтения вашей сестрице, поклон племяннице и принять уверение в моей преданности.

И. Гончаров».

В скором времени в Париж приехал Гончаров. «Мы,— рассказывает А. Я. Колодкина, — целой компанией часто гуляли с Иваном Александровичем по городу, устраивали недалекие загородные прогулки. В театре Гончаров ни разу не был за все это время. Только раз удалось затащить его на концерт в Елисейские поля... Но концерт, по-видимому, не производил на него никакого впечатления: он зевал и скучал.

Он развлекал нас своими рассказами и шутками, остроумными замечаниями, на которые был большой мастер. Он обладал способностью одним выражением метко охарактеризовать человека и что угодно.

Черты выведенного им Обломова, имеющего, бесспорно, автобиографическое значение, в это время уже заметно сказывались в нем. Он не любил шумных мест, избегал людских сборищ. По бульварам любил гулять только в тех случаях, когда они были малолюдны. Черты обломовщины видны из письма. Подобно своему Илье Ильичу, он «проклинает разъезд экипажей», когда дается бал в Казино, уходит, «не дождавшись другой арии из Верди», «живет уединенно, даже перестал ходить в table d'hôte», предпочитает «не трогаться из своей комнаты», предполагает, что у него «пропадет охота заниматься»; его «тяготит труд ломать голову над английскими фразами».

Александра Яковлевна с улыбкой, между прочим, вспоминает о поездке с Гончаровым на ярмарку в Сен-Клу.

«Нам, молодым людям, — рассказывает Александра Яковлевна, — естественно, хотелось поглядеть на людей, потолкаться на ярмарке. Мы сказали о своем намерении Ивану Александровичу и пригласили его. Но он — ни за что...

— И с какой стати вы туда поедете? — начал он нас отговаривать. — Вы, молодые девушки, и вдруг на ярмарку... Чего вы там не видели!.. Там рабочие, разные сапожники, извозчики...

Мы стояли на своем. Видя наше настойчивое желание ехать, Гончаров решил провожать нас.

— Не могу же я допустить, чтобы вы ехали туда одни. Я буду вашим кавалером... Едем, так и быть, но только ради бога не пароходом.

После путешествия на фрегате «Паллада» у Гончарова на всю жизнь явилось отвращение к морским путешествиям и вообще к передвижению водой. Он не скрывал этого отвращения. Мы отправились по железной дороге.

Ярмарка действительно оказалась каким-то адом: масса народа, сутолока, беготня, шум, разные возгласы, крики... Продавцы леденцов выкрикивали пронзительно: «Voilà le plaisir!» Et les gamains repondaient: «N'en mangez pas, cela fait mourir!» *

— А что?.. Не говорил я!.. — ворчал писатель, идя за нами. — Ну, скажите, пожалуйста, кто из интеллигентных девиц в наше время ездит на ярмарку?..

Недовольство Гончарова усилилось, когда нужно было переходить с поезда на поезд чрез небольшой подъем по ступенькам... К тому же пошел дождь, что уже окончательно испортило настроение Ивана Александровича.

Успокоился он только в вагоне, отвозившем нас обратно в Париж. Усевшись с комфортом в углу вагона, он знал, что его теперь не побеспокоят никакими неожиданностями, шутил по поводу ярмарочных впечатлений и все задавал нам язвительный вопрос — много ли приятных впечатлений мы вынесли из ярмарки?.. А когда мы стали обедать в отеле «De France», Гончаров окончательно развеселился.

— Александра Яковлевна, — обратился он ко мне, — вы такая поклонница Пушкина, верно знаете его стихотворение «Ангел»? Скажите...

Я начала:

В дверях эдема ангел нежный
Главой поникшею сиял,
А демон мрачный и мятежный
Над адской бездною летал.
. . . .
«Прости, — он рек...

---

* «Вот лакомство!» А мальчишки уличные кричали: «Не ешьте этого, от этого умирают!» *(франц.)*.

— Теперь позвольте, — перебил в этом месте Гончаров и, держа бокал с шампанским, продолжал:

...Тебя я видел,
И ты недаром мне сиял:
Не все я в мире ненавидел [4],
Не все я в мире презирал».

Однажды мы гуляли по rue de Rivoli с Иваном Александровичем. Пошел дождь. Нужно было куда-нибудь скрыться.

— Пойдем в Лувр, — предложил Иван Александрович.

Хотя мы бывали в Лувре не однажды, но этот музей не наскучит, сколько бы раз его ни посещать. Дошли до комнаты, где на пьедестале высится Венера Милосская. Иван Александрович, хотя и не раз ее видел, пришел в необычный для него восторг и, глядя на классическую статую, продекламировал:

Цветет божественное тело
Неувядаемой красой
. . . .
Ты вся полна пафосской страстью,
Ты веешь негою морской,
И, вея всеподобной властью,
Ты смотришь в вечность пред собой [5].

Иван Александрович знал наизусть много стихотворений, но декламировал их не особенно охотно. Он был большой эстетик, любил все изящное, цветущее, жизнерадостное и, как выражение жизнерадостности, — молодость.

Он особенно часто развивал мысль о том, что молодости дается даром то, к чему как к окончательному итогу стремится наука и искусство... но молодость не умеет ценить своих благ. Эту мысль он обыкновенно закреплял соответствующими выдержками из «Фауста»:

Отдай же годы мне златые,
Когда я сам вперед летел,
Когда я песни молодые
Еще свободной грудью пел...

Он считал Гёте великим сердцеведом. Из «Фауста» ему особенно нравилось то место, где Мефистофель спрашивает Фауста: «Каких ты желаешь благ?»... А Фауст

отвечает: «Я желаю их всех, потому что желаю молодости»...

Себя Гончаров называл «старцем преклонным, но не благочестивым»... Ему было тогда пятьдесят четыре года».

Прошло лето. В двадцатых числах сентября А. Я. Колодкина вместе с Гончаровым возвращалась в Россию.

«При выезде из Парижа, — говорит Александра Яковлевна, — знакомые поднесли мне букеты. Один из них был в красивой коробке. «Это все ваши трофеи?..» — заметил Иван Александрович и, в свою очередь, поднес мне ананас, который я вложила в коробку. На одной из станций Гончаров принес сигары, дает мне и просит их спрятать. Он в это время много курил. Я вложила сигары в ту же коробку. Через некоторое время Иван Александрович спрашивает, где сигары.

— В коробке...

— Боже мой, что вы сделали!..

— А что?

— Помилуйте, все мои сигары пропахнут ананасом...

По дороге останавливались на несколько часов в Кёльне, где осматривали Кёльнский собор, — и, конечно, купили одеколону... Более продолжительную остановку сделали в Берлине. Берлин осматривали внимательно, посетили берлинские достопримечательные места».

Были, между прочим, в Крольгартене. «Помнится, — рассказывает по этому поводу Александра Яковлевна, — в Крольгартене какая-то певица пела Норму. Гончаров по этому поводу вспомнил, как его Ольга в «Обломове» пела «Casta Diva» и как она понимала Норму, «выплакивавшую сердце».

— Ольга — ваш идеал? — спросила я.

— Неудачный! — ответил писатель».

В Петербурге он часто бывал у А. Я. Колодкиной, которая жила тогда в своей семье на углу Большой Итальянской и Екатерининского канала, в доме Енгалычевой.

«Однажды, придя в мою комнату, — говорит Александра Яковлевна, — писатель спросил позволения покурить и удивился, что у меня пепельницы нет.

— Я сама не курю, и никто из курящих в мою комнату не допускается, — ответила я шутливо, — но для вас могу сделать исключение...

Писатель поблагодарил за внимание и, придя в следующий раз, принес и оставил у меня на столе небольшую, правильной формы, отшлифованную перламутровую пепельницу. Эту пепельницу он привез из своего путешествия. Другую пепельницу, в виде краба, он подарил моей сестре».

Пепельница, конечно, хранится А. Я. Колодкиной как дорогая память о писателе. Есть также у нее и «Обломов», поднесенный автором с собственноручной надписью: «Александре Яковлевне Колодкиной на память дороги от Парижа до Петербурга. Сентябрь 1866 г. От автора». Александра Яковлевна вклеила в начальную страницу книги миниатюрный портрет писателя, тоже подаренный ей Гончаровым. Портрет вклеен так, что под ним приходится заглавие книги — «Обломов».

— Разве похож? — спросил Гончаров, увидя книгу.

— Вполне... — ответила Колодкина.

На экземпляре «Фрегата „Паллады"», поднесенном А. Я. Колодкиной, Гончаров сделал другую надпись: «В память кругосветного путешествия по Парижу, Кёльну и Берлину».

Конечно, Александра Яковлевна в настоящее время не помнит всех разговоров с Гончаровым, бывших сорок лет тому назад, но некоторые его выражения сохранились у нее в памяти.

В то время было известно, что некоторые редакторы предлагали Гончарову по пятьсот рублей с печатного листа.

— Что же вы не пишете? — спрашивала его Александра Яковлевна.

— А вы полагаете, что писатель — сапожник... получил заказ — и сейчас же скроил...

Говоря о бесспорных преимуществах ума, писатель не без иронии прибавлял всегда со вздохом:

— Конечно, ум... это хорошо... но в ум не поцелуешь...

В Гончарове в это время преобладало — по воспоминаниям А. Я. Колодкиной — какое-то особое настроение, которое можно назвать сентиментально-эгоистическим. Он очень любил посентиментальничать, но его сентиментальность отличалась эгоистическим характером, чего он и не скрывал. Иногда на него, впрочем, находили минуты пессимизма, и тогда он говорил о бренности всего существующего и о неизбежности общего для всех конца.

В следующем, 1867 году он опять уехал в Мариенбад. В этом году сестра тоже звала Александру Яковлевну за границу, но судьба распорядилась иначе.

Она приехала погостить к другой своей сестре, М. Я. Кузьминой, в Вильну. Здесь в это время открылось Высшее мариинское женское училище. Попечитель виленского учебного округа искал для училища, которое должно было занять выдающееся место в Северо-Западном крае, начальницу. Выбор пал на Александру Яковлевну, молодые годы которой не помешали ей занять эту должность.

Гончаров был очень удивлен, когда узнал о поступлении А. Я. Колодкиной на службу.

— Что ее заставило уйти в училище? — спрашивал он сестру Александры Яковлевны, с которой встречался в Петербурге. — Вероятно, большое вознаграждение?..

— Начальница получает всего пятьсот рублей в год.

Это еще более удивило Гончарова. Он прислал А. Я. Колодкиной свою карточку с любезной надписью. Колодкина поблагодарила...

Больше они не встречались.

«Об Иване Александровиче у меня остались самые приятные воспоминания», — так закончила свой рассказ о Гончарове А. Я. Колодкина.

Е. П. Левенштейн

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ И. А. ГОНЧАРОВЕ

[I]

Первые мои воспоминания о моем дяде относятся к 1855 году, когда мне было всего семь лет. Он тогда вернулся, после своего кругосветного путешествия, в свой родной город Симбирск, чтобы повидаться со своими родственниками. Я его видела тогда у моих родителей, и в моей памяти сохранились лишь кое-какие отрывочные воспоминания о нем. Помню только, что он много рассказывал о своем путешествии, из которого привез нам всем подарки, между прочим, замечательные японские картинки на рисовой бумаге. Он был в очень хорошем настроении, был любезен и внимателен ко всем. Он рассказывал много, но в конце говорил моей матери, что она лучше всего может прочесть то, что он рассказывает, в его «Путевых заметках»[1].

После первого его приезда я в течение долгого времени не видала его и не слыхала о нем ничего такого, что бы врезалось у меня в памяти. Поэтому могу упомянуть теперь только о втором его приезде, в 1862 году, когда мне было почти четырнадцать лет. Он тогда приехал летом в Симбирск из Петербурга, предварительно предупредив мою мать, что в этом году он не намерен отправиться за границу, куда ежегодно ездил (преимущественно в Баден-Баден)[2], а думает на досуге работать в Симбирске над новым романом (утвердительно не могу сказать, но, мне кажется, над «Обрывом»); он спросил мою мать, можно ли будет ему провести у нее лето, чему она, конечно, весьма обрадовалась, так как

они с малолетства были между собой очень дружны. Ему, разумеется, отдали самую лучшую комнату в доме и предоставили сад, в котором он проводил большую часть времени, беспрепятственно работая в беседке. Он был очень доволен всем, говоря, что не столько дорожит комфортом, сколько тишиной и свободой для своей работы, что немыслимо для него получить в Петербурге. Дядя был удивительно изящен во всем: в манерах, в разговоре, даже в отдельных выражениях, что мне особенно нравилось.

Он просил, чтобы к нему никого не допускали. Если он на улице завидит, бывало, еще издалека кого-либо из наших знакомых, то тотчас же сворачивает куда-нибудь в сторону, избегая встреч. Это немало огорчало мою мать, которая очень любила брата и гордилась им. К его счастью, в городе летом почти никого не было, все помещики разъезжались по своим имениям, а Симбирск наш был в то время помещичьим городом. Если бы Иван Александрович прибыл в Симбирск зимой, то он никак не отделался бы от посещений и знакомств и ему, конечно, не дали бы заниматься. Он писал, вероятно, «Обрыв», так как часто что-то шутил со мной, называя меня «Верой», а племянницу моего отца — «Марфинькой», на том основании, что племянница имела склонность к хозяйству, а я — к книгам и музыке.

Дядя был по временам мрачен, раздражителен, говоря, что он страдает головными болями, и особенно его мучает часто tic douloureux *, что особенно болезненно ощущает он перед дурной погодой или грозой. Я очень порядочно говорила по-французски, и дядя заставлял меня часто читать ему вслух лучшие отрывки из французской литературы, всегда выбирая их сам или направляя мой выбор. Попадались иногда в чтении слова, смутно понимаемые мной, и дядя объяснял мне их очень полно, наглядно и ясно.

Раз встретилось выражение «les injures du temps» **. Я понимала каждое слово в отдельности, но смысл сочетания их мне был непонятен.

---

* Нервный тик *(франц.)*.

** Сокрушительные удары времени *(франц.)*.

Дядя взглянул на меня, как бы раздумывая, как яснее мне его перевести. Вдруг вскочил на ноги, схватил меня за руки и быстро подвел к зеркалу, висевшему тут же в комнате, между двумя окнами. Он совсем приблизил свое лицо к моему. «Ты видишь разницу между моим лицом и твоим?» — спросил он. Конечно, я видела ясно эту разницу. Я видела мое юное лицо с полудетским выражением удивленных и выжидающих глаз, с тонкой, розовой, гладкой кожей, чуть-чуть подернутой легким, нежным пушком, и обрамленное пышными темными волосами, а рядом с собой, прижатое ко мне щека со щекой, лицо дяди. Оно мне показалось вдруг как-то особенно старым, какие-то тени покрывали его, морщинки, раньше не замеченные мною, тянулись около глаз, от крыльев носа и углов рта, чего не могли скрыть ни усы, ни бакенбарды. Глубоко сидящие глаза его с красноватыми веками вокруг и массою мелких, издали незаметных складочек смотрели на меня в зеркало неприветливо. Гладко зачесанные за уши волосы, в которых начинали пробиваться серебристые нити, выдавали крупный череп. Он схватил пальцами свою щеку около глаз и приподнял ее. «Ты видишь это, мою кожу и твою? Ты видишь, понимаешь разницу?»

Да, конечно, я видела ее: кожа на лице дяди была совсем другая, чем на моем, не гладкая, а вся в каких-то ямочках, точках, складочках. «Да, я вижу», — проговорила я, все еще не понимая, к чему клонятся его вопросы.

— Моя кожа *теперь* не такая, как твоя, но раньше, когда я был моложе, и моя кожа была такая же, как и твоя. Вот тебе и «les injures du temps»!

Дядя придерживался строго определенного режима, вставал в восемь часов, делал себе холодные обливания и, окончив свой туалет, отправлялся гулять, а после прогулки приступал к своему обычному завтраку à l'anglaise *, как он говорил, состоявшему из бифштекса, холодного ростбифа и яиц с ветчиной, — все это он запивал кофе или чаем. В остальное время он придерживался нашего домашнего режима.

Перед обедом он делал ручную гимнастику. Помню, раз в аллее сада я застала его неожиданно за гимна-

* На английский лад *(франц.)*.

стикой и хотела убежать, но он остановил меня, сказав, что через несколько минут кончит свои упражнения и тогда позовет проэкзаменовать меня, по просьбе матери, по моим научным занятиям. Я тогда брала частные уроки по всем предметам школьного курса у симбирских учителей, и, между прочим, по русскому языку со мной занимался другой незабвенный мой дядя, Николай Александрович Гончаров, который много лет был учителем в симбирской гимназии. Он же занимался со мной год и немецким языком. По-французски я говорила и писала свободно, так как с малых лет у нас была в доме француженка.

Возвращаюсь назад. Итак, Иван Александрович позвал меня, и экзамен начался. Все шло отлично. Вдруг дядя задал вопрос:

— А скажи-ка, кто изобрел книгопечатание?

— Не знаю, — был мой ответ.

— Возможно ли? Что ты, милая? Чему же тебя учили?! Не знать этого! — Дядя страшно волновался при этом, бранил учителей и всех и всё. А я, чувствуя себя ни в чем не виноватой, принялась плакать.

Увидев мои слезы, дядя понял не заслуженную мною обиду, продолжал спрашивать, но уже вовсе не строгим голосом: «Ну, а кто был Лютер?» Опять «не знаю»; но я сказала это таким испуганным голосом, что дядя махнул рукой, прибавив: «Да это ни на что не похоже!»

Объяснилось все это тем, что я еще не проходила истории того периода, и потому мне недоставало многих познаний. Я была слишком неразвита для моего возраста, хотя была очень любознательна и любила учиться. Дядя решил, что лучше будет отвезти меня в Москву, в пансион, где уже кончили курс мои кузины Кирмаловы. Вот чем закончился мой несчастный экзамен.

Затем, в последующие дни, было несколько совещаний у мамы с обоими братьями. Конференция кончилась тем, что было решено отвезти меня в Москву.

В первых числах августа[3] начались сборы в Москву для помещения меня в пансион. Бедная моя мать, страшно любившая меня и притом никуда до того времени не выезжавшая из Симбирска за всю жизнь, начинала с грустью поговаривать о предстоящей разлуке со мной

и о дальнем неведомом путешествии, которое ее ужасало. Отец не мог нас сопровождать, имея на руках труднобольных; в то время не было еще везде железных дорог: приходилось до Нижнего ехать Волгой, а оттуда до Москвы на почтовых лошадях.

Неудивительно, что моя мать была в нерешимости, доходила почти до отчаяния, а между тем надо было меня везти в Москву. Вот горе — из-за меня! Анна Александровна решилась на все жертвы; вероятно, ее всячески уговаривал брат Иван Александрович. Чтобы успокоить ее, он предложил сопутствовать нам до Москвы и помочь ей отыскать пансион и устроить меня там, для чего ему потребовалось бы пробыть в Москве несколько лишних дней. Все это показывает, до чего он любил сестру.

Благополучно добрались мы до Нижнего, хотя путешествие наше было сопряжено с большими неудобствами на пароходе. От Нижнего ехали в двух тарантасах, на почтовых. Помню, около Владимира проезжали Муромскими лесами. Поговаривали о случаях нападения и ограбления путешественников. Даже ямщики — и те спешили проезжать некоторые места, зная, где может представиться опасность; им, привычным, и то было жутко.

Помню, что хотя и редко, но встречались пикеты, охранявшие путь. Дядя часто смотрел в заднее окошечко повозки, не отрезаны ли наши чемоданы. Мы от страха мало спали, плохо ели, обеда почти нигде нельзя было достать, и знаменитый наш писатель весьма плохо себя чувствовал, бранил русские дороги, вспоминая заграничный комфорт и пути сообщения. Однажды утром ему сделалось даже дурно, и он напугал нас.

Мы, по счастью, тогда еще не знали железных дорог и не так страдали от всех этих неудобств и лишений.

Наконец благополучно добрались до Москвы и там через два дня простились с Иваном Александровичем, с которым я уже не видалась до зимы 1865 года.

[II]

Когда Левенштейны (в 1867 году) приехали в Баден-Баден, то, пробегая Cur-Liste*, доктор был приятно поражен, прочитав имя M-r Jean Gontscharoff среди приезжих. Помня привычку знаменитого дядюшки рано вставать, они решили навестить его утром на следующий день. Встав в 5 часов, они около шести постучались в его дверь, за которой слышался плеск воды. По голосу Иван Александрович сейчас же узнал Евдокию Петровну. «Это ты, Дунечка? Очень рад. И с мужем? Принять сейчас не могу, делаю ablution**. Пройдите в сад; я приведу себя в порядок и явлюсь к вам». Около получаса ждали они его на променаде около гостиницы, одной из лучших в городе. «Радушно и вполне по-родственному,— рассказывала Евдокия Петровна, — встретил он нас, попрежнему называя меня Дунечкой... Он угостил нас кофе, повел на дальнюю, ежедневную свою прогулку, причем часто справлялся, не устала ли я, не желаю ли я отдохнуть». Евдокия Петровна не помнит всех разговоров за этот день, но он оставил в ней воспоминание чего-то светлого, приятного, родного. Возвращаясь с прогулки, они встретили расфранченных дам, которые окликнули Гончарова по-русски. Он извинился, оставил Левенштейнов и подошел к этим дамам, которые изредка, во время разговора с ним, лорнировали Левенштейнов, что было тем неприятно, особенно потому, что они были в дорожных, далеко не элегантных костюмах. Они отошли в сторону, чтобы не помешать дяде. Вскоре он их нагнал в веселом настроении, извинился, что оставил их, и пригласил пройти в курзал, где показал рулетку. На счастье «Дунечки» он бросил два-три золотых и проиграл их; а затем угостил их обедом за table d'hôtes. Они несколько стеснялись своих костюмов среди beau mond'a этой людной гостиницы. Иван Александрович успокаивал их, говоря, что это сущий пустяк, был очень весел и настойчиво удерживал их до другого дня, когда обещал показать им окрестности Баден-Бадена, которые — как он говорил — очень интересны. После обеда они отпра-

---

* Список приезжих *(франц.)*.
** Обливание *(франц.)*.

вились, втроем, в парк. Но темные тучи заволокли с запада все небо, чувствовался холодок, какой-то сыроватый туман оседал в низинах... Гончаров замолчал, а затем, круто повернувшись к своим спутникам, вдруг сказал: «А знаете что? Поезжайте-ка лучше сегодня. Погода, видимо, переменится, пойдут дожди, и это продлится недели две. Я это чувствую уже на себе: сейчас ухо заболело, стреляет. Неможется мне. Уезжайте лучше; что вы тут будете делать? Ничего более интересного здесь нет. Уезжайте!» Эта перемена в его настроении очень поразила Левенштейнов; но, видя его нервное, возбужденное состояние, они поспешили успокоить его, обещали уехать в тот же день и, поблагодарив за его любезность, распрощались с ним. Он облегченно вздохнул, пожал им руки и пожелал счастливого пути.

В. М. Чегодаева

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ И. А. ГОНЧАРОВЕ

По смерти моего дедушки бабушка Елизавета Ивановна Рудольф, поместив своих сыновей в корпус и младшую дочь Екатерину в институт, сама с двумя старшими дочерьми Аделаидой и Эмилией переселилась в Петербург.

По сохранившимся семейным преданиям, Елизавета, Аделаида и Эмилия были теми лицами, портреты которых вошли в роман И. А. Гончарова «Обрыв».

Елизавета Ивановна Рудольф зиму проводила в Петербурге, а на лето уезжала на дачу, в Стрельну или в Ораниенбаум. Как в городе, так и на даче у них постоянно бывал И. А. Гончаров, проводивший у них целые дни, ухаживавший за Аделаидой и Эмилией, кажется, увлекаясь то той, то другой.

Эта почти совместная жизнь с семьей Рудольф продолжалась с начала сороковых годов — лет пять-шесть. Ко времени переезда в Петербург Аделаиде было лет шестнадцать — семнадцать, а Эмилии тринадцать — четырнадцать. Они получили домашнее, но очень тщательное образование: к ним приглашались лучшие местные преподаватели, каждый по своей специальности. Кроме того, при них были гувернантки. В Петербурге Эмилия Карловна продолжала свое образование под руководством брата Елизаветы Ивановны, Шитц, прекрасного преподавателя (сына профессора Шитца), и его жены, хорошо знавшей иностранные языки. Супруги Шитц занимались с нею в течение четырех лет, до выхода ее замуж. Аделаида Карловна была хорошая музыкантша,

а Эмилия имела хороший голос (mezzo-soprano), и они брали уроки музыки и пения у тогдашних петербургских знаменитостей, между прочим у артиста императорской оперы Бианки. Обе они были большие рукодельницы, особенно Аделаида Карловна. Сохранилась икона св. Елизаветы, вышитая ею так тонко, что только в лупу можно рассмотреть, что это не нарисовано. Возвратившись в Симбирск после пяти-шести лет жизни в Петербурге, они производили впечатление чисто столичных жительниц, без признаков провинциализма.

В Петербурге Иван Александрович в семье Рудольф был всегда желанным гостем и относился к девицам Рудольф весьма внимательно. Читал свои и чужие произведения, доставал им билеты в оперу, показывал достопримечательности столицы и ее окрестностей (возил их, между прочим, на фарфоровый и стеклянный заводы), вообще, что называется, нянчился с ними. Он часто говорил их матери, которую называл то Елизаветой Ивановной, то, как называли ее дочери, «маменькой»: «Нет, Елизавета Ивановна, это необходимо показать кузинам», или: «Нет, маменька, с кузинами непременно надо съездить туда-то» и т. п. Вообще он покровительствовал им, часто говоря, особенно Эмилии: «Ах, как вы еще молоды и неопытны, кузиночка...» Особенно он увлечен был старшею из них, Аделаидой Карловной, привлекавшею его как своим развитием, начитанностью, так и исканиями «пылкой девичьей души». Это прототип Веры из «Обрыва», тогда как простодушная Эмилия послужила ему натурой для Марфиньки. Первая была выдающаяся красавица, а вторая уже в тринадцать — четырнадцать лет имела вид совершеннолетней.

В семье Рудольф познакомился Иван Александрович и с красавицей, их кузиной, Е. И. Э., которая с своей семьей приезжала на зиму в Петербург из Смоленской губернии. Она, как и Аделаида Карловна, обращала на себя внимание на балах своей красотой, но это была бессловесная красавица. Первым браком она была замужем за кн. Др. С — м, с которым, однако, разошлась, и вышла за своего двоюродного брата, по фамилии тоже Э. Ее черты — в Софье Беловодовой.

В Петербурге семья Рудольф жила в доме Каменецкого, у которого была дочь Марфинька. Она была влюблена в Ивана Александровича, не пользуясь с его сто-

роны взаимностью. Это была некрасивая девушка, слабого здоровья, постоянно кашлявшая, заика, но очень умная и интересная собеседница. Летом, на даче, из окна своей комнаты она целыми вечерами смотрела на освещенные окна дачи Рудольф, где засиживался до поздней ночи Иван Александрович. Только имя ее попало в «Обрыв», так же как и мое имя: когда в 1844 году, в Симбирске, в Троицкой церкви, его брат Николай крестил меня, Иван Александрович сказал ему: «Ты дай это имя своей крестнице, а я назову им героиню своего будущего романа, если не поленюсь его написать» [1]. По сведениям, которые до меня дошли, Иван Александрович вообще пользовался большим успехом у женщин, но чем объясняется этот успех — для меня неясно. Несомненно, что он умел настоятельно и усиленно ухаживать, быть интересным, увлекать своими разговорами, прекрасным чтением и т. п. Но обычно он не доводил своих ухаживаний до конца, какая-то осторожность, недоверчивость к себе и другим удерживала его от того, чтобы сойтись с женщиной или жениться на девушке. Если же предмет его выходил замуж, то у него вспыхивала какая-то неосновательная ревность к сопернику.

Имел место, между прочим, такой случай. В него была влюблена молодая девушка, гордость которой делала ее сдержанной, но есть основания полагать, что Иван Александрович знал об этой любви. Для нее он был идеалом.

Выйдя замуж за другого, она вошла было в колею семейной жизни, свыклась с мужем и была хорошей женой. Через четыре-пять лет после этого она вновь встретилась с Иваном Александровичем, и это смутило ее покой: снова вспыхнула прежняя страсть, которой она не могла преодолеть. Она уже не могла больше жить с мужем и оставила последнего, предполагая, вероятно, что Иван Александрович догадается, что с ее стороны — это жертва ради него. Но он не догадался или сделал вид, что не догадывается, и молодая женщина бросилась в воду. Когда ее спасли, то на ее груди нашли связку писем Гончарова. Говорят, до конца жизни она была верна этой любви... Я думаю, что если бы она, преодолев свою гордость, сама первая призналась ему в любви, то, вероятно, получила бы такой же ответ, как Татьяна от Онегина. Так же безрезультатными были его

ухаживания за «кузиночками». Притом женитьба на которой-либо из них была бы соединена с большими препятствиями как вследствие существовавшего между ними свойства, так и потому, что мать Ивана Александровича едва ли примирилась бы со второй невесткой-лютеранкой. Поэтому, когда в Петербурге мой отец, Михаил Михайлович Дмитриев, занимавший в то время должность чиновника особых поручений при петербургском гражданском губернаторе, начал ухаживать за Аделаидой Карловной, то бабушка Елизавета Ивановна очень недвусмысленно дала понять Ивану Александровичу, что cousinage est dangereux voisinage *, чем тот был очень огорчен и после чего стал реже бывать у Рудольф. Мой дед Михаил Александрович Дмитриев был тогда обер-прокурором сената. Знакомство между Дмитриевыми и Рудольф было старинное. Бабушкина мать, вдова профессора Щитца, Марья Филипповна, была дружна с сестрами Ивана Ивановича Дмитриева, моими прабабушками. Одна из них, Наталья Ивановна, жила в симбирском Спасском женском монастыре, и я ее там навещала. Она, указывая мне на портрет своего брата, говорила: «Ты должна быть достойна такого прадеда», придавая при этом больше значения его звезде и мундиру министра юстиции, чем его литературной деятельности. Нерасположение Ивана Александровича к Дмитриевым нашло отражение в его письме к своему брату от 29 декабря 1867 года, где он говорит, что его удивляет помещение в сборнике биографий таких сочинителей, как Михаила Дмитриева (мой дед Михаил Александрович) или великолепного действительного тайного советника Ивана Ивановича Дмитриева [2].

Не таково было отношение Ивана Александровича к третьей сестре Рудольф, Елизавете Карловне, бывшей замужем за его братом Николаем, — к нашей тете Лизе. Он сравнительно мало знал ее, почти только по отзывам своей матери и сестер, и относился к ней холодно и не совсем дружелюбно, так как судил о ней по отзывам своей матери и сестер, настроенных по отношению к ней враждебно.

Мы все очень любили тетю Лизу, эту добрейшую, самоотверженную, деликатную женщину, совершенно не

* Двоюродное родство — опасное соседство (*франц.*).

способную назвать Ивана Александровича «Ванькой Каином»[3], какую грубость приписывает своей матери в своих воспоминаниях Александр Николаевич Гончаров. Напротив, она питала к писателю большое уважение и дорожила его мнениями и советами; но она обижалась за мужа, к которому Иван Александрович относился покровительственно-снисходительно и даже насмешливо. Она, напротив, всегда говорила нам и своим сыновьям, что Николай Александрович очень умный и образованный человек, но его мало кто понимает; на его счет она не допускала никакой шутки. Она была всегда довольна, когда он отправлялся к Языковым, и говорила: «Там его понимают, там его среда». Судьба соединила Елизавету Карловну с Николаем Александровичем как-то странно. Идя в гимназию из дому, он почему-то постоянно проходил мимо дома Рудольф, делая [прогулку]. Она влюбилась в него из окна. Но когда их просватали и она узнала жениха поближе, узнала, что это за тюфяк, то ужаснулась, но не посмела отказать ему, боясь строгой матери, и до конца жизни оставалась хорошей семьянинкой, верной женой, заботливой хозяйкой и нянькой ему и детям. Ей приходилось не только заботиться о воспитании детей и нести все домашние заботы, но и устраивать даже служебную карьеру своего мужа, который, при всем своем образовании, был плохим преподавателем и постоянно рисковал потерять место: бедная тетя Лиза ездила хлопотать за него в Казань, к попечителю округа, искала защиты и у Ивана Александровича. Положение ее в семье Гончаровых было безотрадное. Ее свекровь, Авдотья Матвеевна, была человек малообразованный и довольно грубый, с деспотическими наклонностями. Сестры мужа были не чужды провинциальных недостатков, сплетен и пересудов и по отношению к тете Лизе были настоящие «золовки-колотовки».

В их доме тетя ходила «по одной половице». В лице своего мужа она не видела поддержки и защиты: это был человек безгласный и находился под башмаком матери, и если бы не Трегубов, то хоть бы вон из семьи. Последний был очень внимателен к ней и умел сглаживать грубость Авдотьи Матвеевны, но тут другая беда: ревность к красивой, образованной невестке. Не любила Авдотья Матвеевна тетю и за ее лютеранство и во время ее болезни, когда она была в бессознании, даже

совершила обряд присоединения ее к православию. Поэтому, когда представилась возможность Николаю Александровичу занять квартиру в здании гимназии, тетя рада была переехать туда, предпочитая скромную жизнь в казенной квартире сытому довольству в семье Гончаровых, хотя она была избалована привольной жизнью в родной семье Рудольф. Тетя Лиза была очень хорошенькая, стройная, с чудными, умными серыми глазами. Как уже сказано выше, дедушка Карл Федорович не жалел средств на образование своих дочерей, и тетя Лиза, как ее сестры, кроме гувернантки, имела учителей по каждому предмету и была образованная женщина. Она, как и Аделаида, была в душе художница и великолепно рисовала. По своему душевному складу она была сходна с Аделаидой Карловной — с такими же неясными исканиями, неопределенными запросами... Поэтому понятно сильное впечатление, произведенное на нее Н. Г. Чернышевским во время пребывания последнего в Симбирске: Чернышевский ежедневно бывал у нее и вел с нею продолжительные беседы[4], «развивал» ее, так что создалась даже насчет их отношений сплетня, тревожившая и без того ревнивого Николая Александровича. Эти беседы смутили душевный покой тети Лизы; «новое слово» Чернышевского на ее страстную, впечатлительную натуру произвело сильное влияние. «Я жадно прислушивалась к его речам, — рассказывала она потом, — но многое шло вразрез с моими понятиями; я плакала по ночам, в моем мозгу все перевернулось» и т. п. Впоследствии она часто вспоминала эти свои разговоры с Чернышевским, говоря по тому или другому поводу: «Для меня это не новость, Чернышевский давно это говорил, только тогда я не могла себе всего уяснить». Да и семейные заботы не позволяли ей сосредоточиться на многих вопросах. Но вообще этот эпизод в ее жизни не прошел для нее бесследно, хотя она и не пристала к новым взглядам; этот ее надлом не ускользнул потом от внимания Ивана Александровича.

Любя и уважая тетю Лизу, мы все, однако, осуждали ее отношение к своим сыновьям. Будучи натурой страстной, не зная личного счастья, она всю силу любви сосредоточила на своем первенце Саше, с такой же страстью возненавидела Володю еще до рождения, как будущего соперника ее первенца в отношении земных

благ. Но на образование того и другого, без различия, она не жалела средств, тратя на них все свои личные доходы.

Елизавета Карловна была высоконравственная женщина, и хотя за ней ухаживал Д. Д. Минаев[5], но ни до какого адюльтера она не унизилась. Дочери Рудольф были воспитаны как Herrenhüter'ши[6], и если Г. Н. Потанин сплетничал на ее счет, то, конечно, наслушавшись от ее золовок.

Иван Александрович не жил с тетей Лизой и совершенно не знал ее, как только по отзывам матери и сестер. Например, в письмах к брату пишет: «Нельзя доверять деньги женщинам, чтобы не истратили на тряпки»[7]. Да ведь это сестра его Музалевская была такая[8]. На тетю еще надо было удивляться, как она сводила концы с концами. Если бы Иван Александрович жил с тетей столько же времени, сколько с ее сестрами Аделаидой и Эмилией, то он ее бы оценил и так же полюбил, как их, которых он хорошо узнал, наблюдал и с которыми, как со своими «кузиночками», сроднился.

В письмах к брату он осудил ее за заботу о выборе рода службы сыновьям и пишет: «Когда же они сами будут хотеть?» Но он сам же натолкнул ее на эту заботу, написавши Саше: «Смотри, палеонтология — наука не хлебная, суп из костей допотопных животных не питателен» и т. п. Тетя и посоветовалась или написала Ивану Александровичу, нельзя ли в инженеры или что-то в этом роде. В письмах к брату он всегда проявляет к ней внимание, просит его «кланяться жене», так же как и семейству Рудольф, например: «мое почтение Елизавете Ивановне, твоим belles-soeurs и beau-frère» (12 августа 1862 года). Когда он узнал о несчастии с ней, писал брату, что он «душевно опечален этим». И заметил: «Поклонись ей и изъяви глубокое мое соболезнование, да сделай дружбу, уведомь поскорее, лучше ли ей и кончится ли повреждение ноги благоприятно, без последствий» (письмо от 1 декабря 1855 года).

Тем не менее в этих письмах видно, что он не особенно высоко ценил ее как мать и хозяйку, не особенно высоко ставил ее женственные и нравственные качества, ставя ее гораздо ниже своей покойной матери.

Характерно, что (в этом и другом случае) он проводит параллель с своей матерью, женщиной необразованной, но обладавшей недюжинным практическим умом.

М. В. Кирмалов

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ И. А. ГОНЧАРОВЕ

Первые мои воспоминания об Иване Александровиче относятся к 1870—1871 годам, ко времени моего детства.

Дедушка часто брал меня и сестру с собой при посещении Ивана Александровича. Звать его надо было дядей, ибо звание дедушка он не любил. Помню хорошо расположение комнат в его квартире (старой, до переделки) в доме Устинова на Моховой. Комнаты небольшие. В кабинете перед столом у окна стояла высокая подставка деревянная, вроде складного стула с натянутой сверху материей, на которой постоянно лежала книга: большого формата издание басен Крылова[1], причем иллюстрации к басням были не в звериных, а в человеческих лицах. Так, басня «Плотичка» была иллюстрирована изображением молодой дамы, сидящей на балконе, окруженной толпой поклонников.

Иван Александрович иногда читал нам басни и показывал «картинки», иногда дарил нам безделушки; так, я получил от него перочинный ножичек-брелок и трость из его большой коллекции тростей, собранной со всех стран земного шара. Коллекция эта в виде объемистой пачки покоилась на двух кронштейнах над его кроватью.

В это же время его посещала и Варвара Лукинична, служившая в институте, с своими двумя детьми. Мальчика за его тонкую и высокую фигуру он шутя называл «макароной». Но внимания он заметно больше оказывал девочкам.

На рождество он устроил у себя для нас елку. Были мы с сестрой, дети Варвары Лукиничны и, кажется,

дети Людвига. В кабинете на круглом столе стояла маленькая елка, а под ней подарки детям, и среди них — хрустальная сахарница в виде сердца.

Иван Александрович был оживлен, ласков и шутлив с детьми. Усадив нас и Мимишку вместе на диване, он стал вызывать всех по очереди и вручать подарки. Первая была вызвана Мимишка, получившая сахарницу, и тут же, стоя на задних лапках, съела из рук Ивана Александровича кусочек сахару.

Всех детей Иван Александрович оделил дорогими и интересными подарками: игрушками, книгами и прочим.

Иван Александрович иногда посещал моих родителей — в нашей скромной квартире, — приносил новые французские романы, много рассказывал. К сожалению, помню только то, что он часто переходил на французский язык. Впоследствии отец говорил мне, что к французскому языку он прибегал тогда, когда рассказ переходил на события из его сердечной жизни; он это делал, щадя наше детское неведение.

Раз он пришел к нам тотчас после нашего обеда и, торопясь куда-то, наскоро у нас закусывал. Мать неуверенно предложила ему к жаркому кислой капусты, прибавив, что после обедов в Hôtel de France он, вероятно, не захочет есть такое кушанье. «Отчего же? Капуста — это букет обеда», — ответил Иван Александрович и с аппетитом покушал капусты.

Не могу не рассказать о встрече Ивана Александровича с известной в то время в Петербурге авантюристкой Л. М. Гулак-Артемовской [2]. Встреча эта была, если можно так выразиться, мимическая, ибо с обеих сторон не было сказано ни слова. Иван Александрович сидел с матерью у стола друг против друга и беседовал. Вдруг в отворенной из передней двери показывается изящная фигура Гулак-Артемовской. Увидав и узнав Ивана Александровича, она сначала растерянно остановилась, затем быстро подошла к матери и, став почти спиною к Ивану Александровичу, что-то шепотом сказала ей на ухо и так же быстро скрылась за дверью.

Иван Александрович отодвинул свой стул, с недоумением посмотрел на странную гостью. Но ему, великому знатоку женщин, довольно было и этих нескольких секунд, чтобы уловить то, что было дурного во

внутреннем облике этой женщины. И он после говорил матери, не советуя продолжать с ней знакомство.

О «любвях» знаю очень мало со слов отца, с которым Иван Александрович бывал откровенен.

В начале своей жизни в Петербурге Иван Александрович испытывал недостаток в средствах и как пример рассказывал, что, идя весной, в мае, в Летний сад на свидание с одной дамой, должен был надеть ватное пальто, ибо летнего не было...

По нашим семейным воспоминаниям завязка романа Ивана Александровича и Варвары Лукиничны[3] относится ко времени приезда Ивана Александровича в Симбирск. Авдотья Матвеевна (мать Ивана Александровича) поместила его в комнате верхнего этажа близко от комнаты, занимаемой Варварой Лукиничной. В этой обстановке, очевидно, произошло сближение. При отъезде Ивана Александровича, когда он прощался с домашними, Варвара Лукинична, не выдержав горя разлуки с любимым человеком, с воплем: «Ваня, Ваня!..» бросилась в присутствии всех ему на шею.

Не знаю, продолжалась ли связь по приезде Варвары Лукиничны в Петербург. Она впоследствии вышла замуж, и муж ее терпеть не мог Ивана Александровича; часто со злобой спрашивал отца: «Ну, что ваш действительный статский советник, как поживает?..»

* * *

Было время, когда после ссоры с Тургеневым Иван Александрович ожидал от него вызова на дуэль. «Ну что ж, надо будет принять вызов»,— говорил он отцу.

О поэзии Некрасова он высказывался так: «Это рогожа, на которой вышиты шелковые узоры...»

* * *

В последние годы жизни Ивана Александровича его приглашал к себе на вечера великий князь Сергей Александрович и был с ним очень ласков. Но Иван Александрович уклонялся от посещений, говоря: «Вы ведь здесь молодые, полные жизни; ну что буду делать среди вас я, кривой старик?..»

* * *

Иван Александрович, по-видимому, не любил музыки. Такое впечатление осталось у отца после того, как они с Иваном Александровичем слушали «Русалку» Даргомыжского. Отец уговорил Ивана Александровича сходить послушать в «Русалке» певца-тенора Комиссаржевского, восхищавшего тогда, в начале семидесятых годов, весь Петербург. Особенно хорошо у него выходила каватина: «Невольно к этим грустным берегам...» Иван Александрович не сразу согласился пойти послушать оперу, равнодушно просидел третий акт и, нисколько не восхитившись каватиной, ушел до конца оперы домой...

* * *

В средине восьмидесятых годов Иван Александрович был занят заботами о детях своего покойного слуги. Приходилось хлопотать, ездить к начальству учебных заведений. Конечно, для Ивана Александровича делали все, о чем он просил; но в готовности разных лиц сделать ему угодное он чутким и подозрительным ухом улавливал уверенность в том, что он хлопочет за своих детей. «Вот, насбирали по лакейским и девичьим сплетен и считают этих детей моими», — возмущался он, идя с отцом и мною по Невскому.

«Вот принял на свои плечи чужую семью, увеличились расходы, приходится стеснять себя; теперь рубль представляет для меня эпоху». Это, конечно, обычное брюзжание старика, ибо детей он любил, и сильно. Саней он восхищался, находя, что у нее «грёзовская головка».

Иван Александрович нежно любил свою няню Аннушку. Я хорошо помню эту старушку, нянчившую и меня и жившую в то время на покое у бабушки моей Александры Александровны в Хухореве. В ее слабом, иссохшем теле жила кристально чистая душа ребенка, полная до краев любовью к детям и ко всем домашним...

* * *

В последний раз я видел Ивана Александровича в декабре 1887 года. Он встретил меня на улице и, узнав, что я еду в провинцию на службу, позвал к себе проститься.

На другой день я позвонил у его квартиры. Отворившая мне дверь Александра Ивановна окинула меня подозрительным взглядом и на мой вопрос, можно ли видеть Ивана Александровича, сухо ответила, что Иван Александрович не принимает. Впустила она меня в переднюю только после моего заявления, что Иван Александрович сам позвал меня в этот день к себе.

Ревниво, подумал я, охраняется Иван Александрович в последние годы жизни от сношений с родными.

Я нашел Ивана Александровича в маленькой темноватой гостиной (квартира прежняя была расширена), в кресле. Он казался очень постаревшим и ослабевшим. Оброс бородой, вместо правого глаза была впадина, прикрытая веками. Но во взгляде другого, здорового глаза, казалось, мерцал удвоенным светом глубокий ум и какая-то покойная просветленность.

Он говорил о своем здоровье, о болях в кишечнике; когда же я заикнулся о докторах, сказал спокойно: «Какой же доктор вылечит меня от семидесяти пяти лет». Дальше он советовал мне самому пробивать себе дорогу в жизни, но в трудных обстоятельствах обещал свою помощь. Расспрашивал о родных. Когда я стал прощаться, он остановил меня, сказав: «Я дам тебе на дорогу, но только немного». Несмотря на мое уверение, что у меня достаточно средств на дорогу, он пошел в кабинет, вынул из ящика письменного стола и вручил мне двадцать рублей. Расстались мы оба взволнованными.

А. В. Никитенко

ИЗ «ДНЕВНИКА»

1858

Июнь 7. Суббота. Обедал в ресторане Донона вместе с несколькими литераторами — Тургеневым, Гончаровым, Некрасовым, Панаевым, Чернышевским и пр.[1]. Тут был также недавно приехавший из-за границы художник Иванов. Много было говорено, но ничего особенно умного и ничего особенно глупого. Пили не много. Языков, по обыкновению, был полон юмора.

Июнь 9. Понедельник. Новый обед у Донона — прощальный князю Щербатову[2], который подал в отставку. Я приготовил было, по желанию некоторых из собеседников, небольшой спич, но князь просил для предупреждения всяких толков не читать его, а взял его на память себе. Обед был грустен...

Сентябрь 10. Среда. Вечером у Гончарова слушал новый роман его «Обломов». Много тонкого анализа сердца. Прекрасный язык. Превосходно понятый и обрисованный характер женщины с ее любовью. Но много такого еще, что может быть объяснено только в целом. Вообще в этом произведении, кроме неоспоримого таланта, поэтического одушевления, много ума и тщательной, умной обработки. Оно совершенно другого направления, чем все наши нынешние романы и повести. Со мною вместе были слушателями его: Краевский, который и купил его для «Отечественных записок», Дудышкин и Майков, издатель детского журнала («Подснежник»). Положено читать продолжение в субботу...

1859

Январь 1. Среда. Обедал вчера у Гончарова, где собралось несколько литераторов, а именно: Тургенев, Боткин, Анненков, Панаев, Некрасов, Полонский, Дружинин. Обед был роскошный и довольно оживленный[3]. Между прочим, был выпит тост: «в честь лучшего гражданина», которым хотели почтить меня.

После обеда Некрасов прочел свое замечательное стихотворение «Кладбище»[4], а затем я с Боткиным отправился в театр, где меня уже ожидала моя семья...

Январь 2. Четверг. ...Литературный обед у Некрасова[5]. Были почти все наши наличные известности: Панаев, Полонский, Чернышевский, Гончаров, Тургенев и т. д. Из московских был Павлов, к которому я питаю антипатию и которого старался здесь избегать, как в Дрездене его жены...[6] Горбунов читал свои драматические сцены из народной жизни с обыкновенным искусством...

Апрель 30. Четверг. ...Обедал у Дюссо вместе с Гончаровым, Некрасовым, Панаевым, Ребиндером и некоторыми другими. Провожали Тургенева за границу[7].

Май 19. Вторник. ...Приходил Гончаров проститься. Он едет за границу на четыре месяца. Счастливец. И свобода, и юг, и горы Шварцвальда, и Рейн!..[8]

1860

Март 29. Вторник. Лет пять или шесть тому назад Гончаров прочитал Тургеневу план своего романа («Художник»)[9]. Когда последний напечатал свое «Дворянское гнездо», то Гончаров заметил в некоторых местах сходство с тем, что было у него в программе его романа; в нем родилось подозрение, что Тургенев заимствовал у него эти места, о чем он и объявил автору «Дворянского гнезда». На это Тургенев отвечал ему письмом, что он, конечно, не думал заимствовать у него что-нибудь умышленно; но как некоторые подробности сделали на него глубокое впечатление, то не мудрено, что они могли повториться бессознательно в его повести. Это добродушное признание сделалось поводом большой истории. В подозрительном, жестком, себялюбивом и вместе лукавом характере Гончарова закрепилась мысль, что

Тургенев с намерением заимствовал у него чуть не все или по крайней мере главное, что он обокрал его. Об этом он с горечью говорил некоторым литераторам, также мне. Я старался ему доказать, что если Тургенев и заимствовал у него что-нибудь, то его это не должно столько огорчать, — таланты их так различны, что никому в голову не придет называть одного из них подражателем другого, и когда роман Гончарова выйдет в свет, то, конечно, его не упрекнут в этом. В нынешнем году вышла повесть Тургенева «Накануне». Взглянув на нее предубежденными уже очами, Гончаров нашел и в ней сходство со своей программой и решительно взбесился. Он написал Тургеневу ироническое, странное письмо, которое этот оставил без внимания. Встретясь на днях с Дудышкиным и узнав от него, что он идет обедать к Тургеневу, он грубо и злобно сказал ему: «Скажите Тургеневу, что он обеды задает на мои деньги» (Тургенев получил за свою повесть от «Русского вестника» четыре тысячи рублей). Дудышкин, видя человека, решительно потерявшего голову, должен был бы поступить осторожнее; но он буквально передал слова Гончарова Тургеневу. Разумеется, это должно было в последнем переполнить меру терпения. Тургенев написал Гончарову весьма серьезное письмо, назвал его слова клеветой и требовал объяснения в присутствии избранных обоими доверенных лиц; в противном случае угрожал ему дуэлью. Впрочем, это не была какая-нибудь фатская угроза, а последнее слово умного, мягкого, но жестоко оскорбленного человека. По соглашению обоюдному избраны были посредниками и свидетелями при предстоящем объяснении: Анненков, Дружинин, Дудышкин и я. Сегодня в час пополудни и происходило это знаменитое объяснение. Тургенев был видимо взволнован, однако весьма ясно, просто и без малейших порывов гнева, хотя не без прискорбия, изложил весь ход дела, на что Гончаров отвечал как-то смутно и неудовлетворительно. Приводимые им места сходства в повести «Накануне» и в своей программе мало убеждали в его пользу, так что победа явно склонилась на сторону Тургенева, и оказалось, что Гончаров был увлечен, как он сам выразился, своим мнительным характером и преувеличил вещи. Затем Тургенев объявил, что всякие дружественные отношения между ним и

господином Гончаровым отныне прекращены, и удалился. Самое важное, чего мы боялись, это были слова Гончарова, переданные Дудышкиным; но как Гончаров признал их сам за нелепые и сказанные без намерения и не в том смысле, какой можно в них видеть, ради одной шутки, впрочем, по его собственному признанию, неделикатной и грубой, а Дудышкин выразил, что он не был уполномочен сказавшим их передать Тургеневу, то мы торжественно провозгласили слова эти как бы не существовавшими, чем самый важный casus belli * был отстранен. Вообще надобно признаться, что мой друг Иван Александрович в этой истории играл роль не очень завидную; он показал себя каким-то раздражительным, крайне необстоятельным и грубым человеком, тогда как Тургенев вообще, особенно во время этого объяснения, без сомнения для него тягостного, вел себя с большим достоинством, тактом, изяществом и какой-то особенной грацией, свойственной людям порядочным высокообразованного общества...

Май 7. Суббота. В час на Английской набережной простились с провожавшими нас знакомыми и отправились в Кронштадт, где на рейде пересели на пароход «Прусский орел», на котором и должны плыть в Штеттин. В шесть часов вечера пароход снялся с якоря, и мы понеслись по волнам Финского залива. Погода была прекрасная и сопровождала нас до самого Штеттина. На другой день, то есть в воскресенье, я уже мог любоваться величественным зрелищем открытого беспредельного моря. Зрелище действительно величественное — без всякого излишества, восторгов и сентиментальностей. Море слегка рябило волнами, и только под колесами парохода оно сердито шумело, слегка вздувалось и рассыпалось серебристой пеной. Ветер был противный, и поэтому мы шли на парах. Иногда он, по-видимому, переменял направление, и тогда тотчас ставили паруса. Я с семейством большею частью сидел за кормою, где мы были защищены от ветра. С нами ехал Гончаров. Вообще общество на пароходе было порядочное. Мы не замедлили сблизиться с генералом Шульманом и его женой и с премилою дамою А. В. Вилламовою...

---

* Повод к раздорам *(лат.)*.

Май 16. Понедельник. В семь часов утра оставили Берлин и в двенадцать прибыли в Дрезден. Остановились в отеле «Франкфурт», рекомендованном нам Гончаровым, который уже тут нас дожидался. Отель не роскошный, но хозяин очень усердный и услужливый. Придется остаться тут, пока приищем квартиру для детей...

Май 22. Воскресенье. Дни проводим в приискании квартиры и прогулках по городу с Гончаровым, который одержим неистовою страстью бродить по городу и покупать в магазинах разные ненужные вещи. Мы перепробовали с ним сигары почти во всех здешних лучших сигарных магазинах.

Чаще всего бываем мы на Брюлевской террасе.

На днях ходили в галерею, где я снова наслаждался созерцанием Сикстинской мадонны.

Сегодня ездили за город, в Вальдшлесхен. Чудесные виды. Везде по случаю праздничного дня толпы гуляющего и отдыхающего народа, но все чинно, прилично.

Май 23. Понедельник. Прогулка в Тарант со всей семьей и с Гончаровым в коляске. От самого Дрездена начинается ряд деревень и непрерывно тянется до самого Таранта. Местность, сперва лишь слегка холмистая, вдруг принимает вид горного ущелья, напоминающего виды Саксонской Швейцарии. Самый Тарант прижат в углу к горам. Тут же утес, на котором с одной стороны расположена церковь, а с другой возвышаются развалины какого-то старинного здания, — все это чудо прекрасно! Резвый поток огибает с одной стороны уголок, где приютилась гостиница, и образует из него маленький полуостров. Уголок этот так свеж, уютен и мил, что невольно призывает в нем отдохнуть. Так мы и сделали; спросили земляники, молока. К обеду вернулись в Дрезден.

Недаром все путешественники твердят о Таранте и ездят им любоваться. Это одна из приятнейших прогулок в окрестностях Дрездена. Я, к сожалению, мало мог наслаждаться, так как весь день очень дурно себя чувствовал...

Май 31. Вторник. Выехал в Киссинген вместе с женою. Гончаров ехал с нами до Плауена, откуда направился в Мариенбад.

Август 13 (25). Суббота. Вчера мы только промелькнули в Париже и сегодня уже прибыли в Булонь, то есть к цели моих настоящих стремлений.

В Булонь мы прибыли в пять часов. На станции железной дороги нас очень радушно встретили И. А. Гончаров и Я. К. Грот. Они вместе с нами отправились в отель, где квартируют. Мы тоже там поместились в двух небольших комнатках.

14 (26). Воскресенье. Дождь. Тем не менее мы вместе с Гончаровым и Гротом отправились к океану. Это достойное дополнение к Альпам. Я, таким образом, видел два могущественнейшие создания природы. Прекрасно, величественно, грозно-прекрасно! Там, направо, чуть-чуть белеют меловые берега Англии, а левее — путь в другую часть света. Право, хорошо побывать здесь!

Гончаров взял на себя в Булони, которая ему уже издавна знакома, роль церемониймейстера по отношению ко мне. Он свел меня к океану и, как сам выражается, «представил ему». Он же руководил мною в устройстве дел моего купанья и рекомендовал мне своего собственного купальщика: это бравый, сильный молодец по имени Паранти.

После мы все с тем же Гончаровым бродили по городу — старинному, с узкими улицами и высокими домами. Были в крепости и на крепостных бульварах, откуда широкий вид на заречную часть города и на океан.

Сентябрь 10 (22). Суббота. Ночью проехали и Дюссельдорф и Ганновер, не видав их. В пять часов утра в Магдебурге меняли вагоны. Отсюда до Лейпцига гладкая, беспредельная равнина. От Лейпцига до Дрездена уже рукой подать. И действительно, вот он, Дрезден! На станции нас ожидали мои милые дети и И. А. Гончаров также. Радость и восторги неописанные. Мы были в разлуке три месяца и десять дней. Такой продолжительной разлуки ни я, ни дети мои еще никогда не испытывали. Благодаря бога я нашел их здоровыми и веселыми. Мы уже все вместе примчались в Прагерштрассе.

Сентябрь 14 (26). Среда. В Дрездене я стараюсь жить по возможности беззаботно и еще хоть в течение нескольких дней не думать об ожидающих меня в Пе-

тербурге всяческих заботах и трудах. Да и погода сильно к тому располагает. Дни светлые, теплые, каких вообще не много в нынешний год выпало на нашу долю за границей. Усердно гуляем то в Гроссгартене, то на Брюлевской террасе; то я бесцельно брожу по городу. с И. А. Гончаровым, который продолжает неистово заниматься покупками — в настоящее время особенно сигар и стереоскопных картинок с видами. Сегодня были, между прочим, в зверинце, который, впрочем, очень мал. Оттуда по мосту перешли через Эльбу, обогнули Японский сад и вернулись по другому мосту. Уже смеркалось. Луна сияла во всем своем блеске, и вид с мостов на Дрезден был прекрасен.

Сентябрь 16 (28). Пятница. ...Вечером Гончаров читал мне новую, написанную им в Дрездене главу своего романа. Он перед тем уже читал мне кое-что из него. Места, мне прочитанные до сих пор, очень хороши. Главная черта его таланта — это искусная тушевка, уменье оттенять верно каждую подробность, давать ей значение, соответственное характеру всей картины. Притом у него особенная мягкость кисти и язык легкий, гибкий. В новой, сегодня читанной главе начинает развертываться характер Веры[10]. На этот раз я остался не безусловно доволен. Мне показалось, что характер этот создан на воздухе, где-то в другой атмосфере, и принесен на свет сюда к нам, а не выдвинут здесь же из нашей почвы, на которой мы живем и движемся. Между тем на него потрачено много изящного. Он блестящ и ярок. Я тут же поделился с автором моим мнением и сомнением.

1861

Май 19. Пятница. Вечером были Гончаров, Щебальский, Струговщиков, Тимковский и прочие. Толки о новом министре (впрочем, еще не утвержденном), графе Путятине. Никакой возможности по этим толкам составить себе какое-нибудь определенное понятие об этом человеке: так разноречивы суждения о нем.

Октябрь 4. Среда. Встретил своего приятеля [И. А. Гончарова], который советовал быть осторожным. Вчера он обедал в клубе и слышал, как некоторые порицали меня за то, что я не одобряю подвигов

студентов. «А вы их одобряете?» — спросил я его. «Нет», — отвечал он. «Значит, и вас порицали?» Он замялся...

Декабрь 4. Понедельник. Отдал министру записку об университетах. Я рад, что спустил с рук эту бесплодную работу. Между тем мне хотелось сделать дело, полезное для Гончарова. Я предложил министру назначить его членом Главного управления цензуры на место Тройницкого, который сделан товарищем министра внутренних дел и потому выбыл из управления. Конечно, лучшего выбора сделать невозможно. Но что же отвечал мне министр, который сам хорошо знает Гончарова?

— Я уже назначил, — сказал он.

— Кого же? — спросил я.

— Кисловского!!

Кисловский способен судить о литературных делах — этот невежда, никогда не выходивший из канцелярской рутины! Министр вытесняет Делянова и Воронова и дает ход Кисловскому!

1862

Июль 7. Суббота. Поздно вечером приехал ко мне Арсеньев, и мы вместе составили телеграфическую депешу к Гончарову в Москву, приглашая его скорее вернуться в Петербург. У Валуева есть намерение поручить ему главную редакцию «Северной почты».

Октябрь 22. Понедельник ... [Гончаров] давал обед у Дюссо некоторым из своих приятелей [11]. Обед хорош, но приправленный плохими разговорами и остротами без соли. Удивительно, как люди, слывущие умными, да и действительно умные, могут находить удовольствие в таких пустяках и — гнусностях.

1863

Июнь 6. Четверг. ...Вечером заехал Гончаров. Он слагает с себя редакторство «Северной почты» и делается членом Совета по делам печати. Редактором на место его назначают какого-то Каменского. Итак, в течение года переменилось уже три редактора.

Июнь 16. Воскресенье. ...Встретился с Тройницким, который заходил ко мне. Мы возвратились ко мне и просидели довольно долго. Он объявил мне, что Совет по делам печати будет на этой неделе собран. Члены его: я, Гончаров, Варадинов, Пржецлавский, Турунов. Председателем — он, Тройницкий. Гончаров произведен в действительные статские советники. Ну, я думаю, он очень рад. Ему уже давно хотелось быть превосходительством.

Июнь 18. Вторник. Был поутру в городе. Заходил к Гончарову поздравить его с действительным статским советником. Он очень доволен.

Июнь 21. Пятница. К чаю пришел Гончаров. О производстве его и о назначении членом Совета по делам книгопечатания уже получен указ.

Июнь 22. Суббота. ...Первое заседание Совета по делам книгопечатания. Присутствовали: председатель Тройницкий, Пржецлавский, Гончаров, Варадинов, Тихомандритский, я, директор полиции исполнительной Похвиснев и Турунов. Распределены были газеты и журналы для наблюдения [12]. Мне достались «Отечественные записки» и «Русский вестник» да газет несколько, — я не определил еще каких. Думаю взять «С-П[етербургские] ведомости», «Голос» и «Московские ведомости».

Замечания о лицах. *Пржецлавский* — старый плут, поляк и католик в душе, но весьма искусно скрывающий свои польские и католические тенденции. Трудно теперь решить, какого направления будет он держаться по цензуре. Он всегда применялся к обстоятельствам и к тому, куда тянут сильнейшие.

Варадинов едва ли имеет какое-нибудь убеждение, кроме того, что надобно исполнять волю начальства. В нем много чиновнического; весьма сговорчив со старшими, но с другими бывает упрям, считая упрямство за твердость и кое-какие мыслишки за систему. По цензуре не будет противоречить большинству, а тем более действительным или предполагаемым желаниям лиц авторитетных.

Мой друг *И. А. Гончаров* всячески будет стараться получать исправно свои четыре тысячи и действовать осторожно, так, чтобы начальство и литераторы были им довольны.

Тихомандритский — ничего.

Турунов. Мне кажется, он немного глуповат, как следует быть чиновнику, которого министр считает за слепое орудие. К нему, впрочем, надобно еще присмотреться.

Похвиснева видел лишь в первый раз и потому о нем не могу составить себе никакого понятия. Наружность его тощая, самодовольная, вертлявая — вот и все, что видно с первого раза...

1864

Январь 30. Четверг. ...Заседание в Совете по делам печати. Побито мнение Пржецлавского о недозволении печатать на русском языке известной книги Милля «О свободе». Он очень было распространялся в поддержке запретительной системы печати, как, впрочем, это обыкновенно делает, очевидно желая подслужиться. Более всех против него говорил я, Гончаров и сам председатель. Прочие скромно высказывали свое согласие на наше мнение. Речь была также по поводу статьи «О пище», назначенной для «Современника»[13]. Гончаров отозвался о ней и так и сяк. Положено, чтобы я прочитал эту статью и дал о ней свое мнение.

Февраль 2. Воскресенье. ...Некрасов просил меня очень покорно о поддержке в Совете по делам печати его просьбы по поводу одной статьи, которую ему хочется поместить в «Современнике». И. А. Гончаров, по обычаю своему, уклоняется от этого, сваливая на меня, хотя дело касается до него, потому что он распоряжается «Современником». Я не привык уклоняться и потому сказал, что сделаю что могу и что должно.

В пять часов мы сошлись на тризну по Дружинине в Hôtel de France[14]. Тут были, кроме меня: Тургенев, Анненков, Гончаров, Ковалевский Егор, Григорович, Гаевский, Боткин и брат Дружинина. Этот последний очень благодарил меня за мысль, поданную в обществе о дружининской пенсии. Обед был роскошный, но беседа за обедом была совершенно пустая. К концу обеда ударились в разговоры о женщинах и разных отвратительных, скандальных историях. Неужели наши передовые умы не умеют найти лучших предметов для дружеской беседы?

Февраль 7. Пятница. Обед у Григория Васильевича Дружинина, брата умершего недавно Александра Васильевича. Обед балтазаровский — вина были особенно изящны. Я пробыл часов до девяти вечера в беседе с некоторыми литераторами: Тургеневым, Гончаровым, Григоровичем, Анненковым и прочими. Интересен был особенно Тургенев. Он много рассказывал любопытных вещей о сношениях своих с заграничными писателями, особенно с Диккенсом.

Вот разница между Тургеневым и Гончаровым: один настоящий джентльмен. Он приятен без всяких усилий, прост и благороден. С ним приятно быть и говорить. Гончаров — толстенький, надутенький господин вроде провинциального дворянина. Он непременно хочет давать вам чувствовать, что вы имеете дело с знаменитостью в его особе. Весь же его характер может быть обозначен следующими чертами: *эгоист, трус и завистник...*

Март 5. Четверг. В Совете по делам печати мои два доклада: один о нелепейшей драме известного литературного чудака Великопольского «Янетерской», которая была в 1839 году напечатана с разрешения цензора Ольдекопа, ее не читавшего, и сейчас после того отобрана у автора и сожжена в присутствии моем и покойного Стефана Куторги. Теперь он решился ее снова пустить в свет и представил рукопись в цензуру...

Другой доклад мой был интереснее: я представил пространную записку. Дело состояло в том, что в «Современнике» назначена была статья «Пища и ее значение», кажется, работы Антоновича. Статья эта открыто проповедует материализм под тем видом, что человеку прежде всего нужно есть, а потом, говоря о труде и несоразмерности вознаграждения за труд, выводит коммунистические и социалистические тенденции. Будь это популяризирование или начала науки, я ни слова не сказал бы против этого, каких бы щекотливых вопросов статья ни касалась. Но это просто прокламирование к людям недалеким умом и знанием о том, что человек и живет, и мыслит, и все делает на свете одним брюхом и что по началам и стремлениям этого брюха надобно переделать и общественный порядок. Сначала рассматривал эту статью И. А. Гончаров, и, по свойственному ему обычаю сидеть на двух стульях — угождать литературной

известной партии из боязни быть ею обруганным в журналах и оставаться на службе, которая дает ему четыре тысячи рублей в год, — он отозвался о статье и так и сяк, но более так, чтобы им осталась довольна литературная партия. Он, однако, употребил уловку, впрочем не очень хитрую и замысловатую, хотя принятую, очевидно, с хитрым намерением отклонить от себя решительный приговор: он просил совет назначить еще кому-нибудь из членов прочесть эту статью. Совет возложил это на меня. Так как я решительно не признаю никаких литературных партий и не боюсь их, да и правительственным властям не намерен угождать, если бы они потребовали чего-нибудь нелепого и противного истинным пользам науки, мысли и просвещения, то и принял намерение в этом случае действовать так, как стараюсь действовать всегда, — по крайнему моему разумению и убеждению. Прочитав со вниманием статью, я убедился в том, что это негодная статьишка из многих в «Современнике» и «Русском слове», рассчитывающая на незрелость и невежество, особенно молодого поколения, и добивающаяся популярности в его глазах проповедованием эксцентрических и красных идей. Чего хочется этим господам? Денег и популярности. Трудиться им серьезно для добывания их нет ни желания, ни надобности. В иностранных литературах и книгах есть все, что угодно: оттуда легко добыть всевозможных прелестей радикально-прогрессивного цвета; они будут у нас новы, и, выдавая их за свои, легко добыть славу великого мыслителя, публициста. Перо же у нас бегает по бумаге довольно скоро. Само собою разумеется, что нельзя же потворствовать в печати этому умственному разврату и эгоизму, которому нет дела до последствий, лишь бы добыть денег и популярности. К сожалению, это печальная и неопровержимая истина. Все это я выразил в моей записке и показал, что правительство не вправе быть индифферентным к таким проявлениям печати, которые потрясают нравственное чувство, особенно у нас, где наука и общественное мнение еще так слабы, что не в состоянии противодействовать ложным и вредным учениям и нейтрализовать их своим влиянием. Совет не только согласился с моим заключением, но определил записку мою *для рyводства* послать в здешний и Московский цензурные комитеты.

Забавен был Иван Александрович: он спорил со мною, стараясь доказать, — и, правду сказать, очень нелепо, — что пора знакомить наше общество и с скверными идеями. Он забыл про то, что оно и так хорошо знакомо со многими скверными идеями, но из этого не следует увеличивать зла новым злом посредством печати, которой у нас верят, как Евангелию, что знакомить людей со всеми мерзостями, прежде чем дано им орудие бороться с ними, — значит решительно делать их безоружными и покровительствовать злу. Потом Иван Александрович согласился со мною и даже горячо поддерживал мысль принять мою записку в руководство. Итак, теперь он имеет полную возможность объявить в известном кругу литераторов, что он горою стоял за статью, но что Никитенко обрушился на нее так, что его защита не помогла, — это главное, а между тем он не восстал и против решения совета. И козы сыты, и сено цело...

Март 24. Вторник. ...В первый раз был в «Сельском обществе». Тут встретил много знакомых. Некоторые благодарили меня за речь мою. Обед с музыкой. Я сидел возле Гончарова и Струговщикова: оба угощали меня, один — хересом, другой — шампанским. После обеда открылось заседание. Я не мог дождаться конца: в большой зале, где происходило заседание, было довольно холодно, я боялся простудиться. Все, кажется, недурно.

Апрель 2. Четверг. Заседание в академии, в совете министерства внутренних дел и в совете попечительском. В совете министерства опять побит Пржецлавский — на сей раз Гончаровым — по вопросу об усиленном надзоре за нападением на личности, за карикатурами и прочим. Пржецлавский хотел, чтобы для этого дана была определенная инструкция цензорам...

1865

Октябрь 27. Среда. Был у Гончарова, с которым давно не видался. Он сильно жалуется на беспорядок и великие неудобства нынешнего Совета по делам печати [15]. Председательствующий Щербинин, человек ничтожный, силится всем заправлять, а действительный заправитель всего — Ф[укс], агент и соглядатай Валуева.

Декабрь 3. Пятница. Вечером происходило у меня чтение. Гончаров читал драму графа Толстого «Смерть

Иоанна Грозного», о которой много говорили в публике. Пьеса действительно замечательная по верности характеров Грозного и Бориса Годунова и вообще по искусной обработке. Слушать собралось довольно много гостей, особенно дам...

Декабрь 23. Четверг. Вечер просидел у меня Гончаров. Он с крайним огорчением говорил о своем невыносимом положении в Совете по делам печати. Министр смотрит на вопросы мысли и печати как полицейский чиновник; председатель совета Щербинин есть ничтожнейшее существо, готовое подчиниться всякому чужому влиянию, кроме честного и умного, а всему дают направление Ф[укс] и делопроизводитель. Они доносят Валуеву о словах и мнениях членов и предрасполагают его к известным решениям, настраивая его в то же время против лиц, которые им почему-нибудь неугодны. Выходит, что дела цензуры, пожалуй, никогда еще не были в таких дурных, то есть невежественных и враждебных мысли, руках [16].

1866

Январь 16. Воскресенье. ...У Тройницкого было много гостей. Отовсюду слышалось сильное неодобрение применению наказания к Краевскому каторжной работы [17]. Находят, что закон этот не имеет никакого отношения к факту. Предостережение «Вести» тоже никем не одобряется. Все говорят, что управление по делам печати находится в очень дурных руках. С нетерпением ожидают, что сделает суд по делу Краевского. Сам товарищ министра видит большой промах в этом деле со стороны министерства. Он с жаром выговаривал это ** [И. А. Гончарову], который был тут же и отвечал: что же ему было делать? У него ни горла, ни легких не хватило кричать против решения Совета, да и притом как тут поступать, когда делается внушение свыше, то есть со стороны министра. Тройницкий сильно напал на это последнее выражение. Мне даже жаль стало бедного ** [Гончарова].

1868

Март 1. Пятница. Вечер у Боткина Василия Петровича. Граф А. К. Толстой читал свою новую драму — «Царь Федор Иоаннович». Тут были: Гончаров, Косто-

маров, Майков, Стасюлевич, Тютчев Федор Иванович. Трудно судить о сочинении в беглом чтении, да еще не в своем, а чужом. Однако характеры Федора и Годунова показались мне обработанными очень искусно. Автор сумел создать из совершенного нравственного и политического ничтожества, каков Федор, замечательную психологическую фигуру...

1871

Май 7. Пятница. ...Есть поток нравов, который увлекает малодушных людей и делает из них вовсе не то, чем они могли бы быть, предоставленные природным своим наклонностям.

Да простит нам высокодаровитый писатель, но этот характер (бабушки в «Обрыве») в заключении является психологической фальшью и клеветою на русскую женщину [18].

1872

Февраль 11. Пятница. ...Вечером сегодня у меня собралось довольно много посетителей... Был также И. А. Гончаров, который начинает, кажется, выходить из своей замкнутости и непомерной тоскливости, несколько месяцев повергавшей его в совершенное одиночество [19].

1874

Февраль 8. Пятница. В пользу голодающих самарцев литераторы предприняли издать сборник и назвали его «Складчиной»[20]. По этому поводу было собрание, и избрали в издательский комитет меня, Гончарова, Краевского и Некрасова; князя Мещерского — казначеем и Ефремова — секретарем. По поводу этого возникла буря. «Московские ведомости», по обыкновению своему, приписали этому делу какое-то зловредное направление. Теперь сторонники их, или, лучше сказать, их сеиды, кричат, зачем в комитет назначены Некрасов и Краевский... красные. Один из таковых напал на Гончарова, а сегодня и на меня. Гончаров, который тоже был у меня, учинил сильный отпор, а я объявил, что мне нет дела

ни до Краевского, ни до Некрасова, а дело в том, что надобно помочь страдающим от голода, и, например, Краевский необходим, как мастер издательской механики. Выходит, что у нас ни одно благое начинание не может обойтись без того, чтобы его не осквернили те же самые люди, которые должны были бы ему содействовать...

Март 3. Воскресенье. У Гончарова, который сам приезжал просить меня на вечер. У него происходило чтение «Кассандры», переведенной Майковым из Эсхила. Нечего и говорить, что перевод прекрасный и чтение вышло очень занимательное, тем более что не было и длинно. Здесь познакомили меня с Лесковым, автором известного и, как говорят, очень хорошего романа «Соборяне»...

1875

Ноябрь 6. Четверг. Заупокойная обедня и панихида по графе А. К. Толстом. Я пришел рано, когда обедня еще не начиналась. Тут было несколько литераторов: Гончаров, Краевский, Стасюлевич, Миллер (Орест), Костомаров. А. К. Толстой был одним из даровитейших наших поэтов и моим хорошим знакомым.

А. П. Плетнев

ТРИ ВСТРЕЧИ С ГОНЧАРОВЫМ

По поводу столетия рождения И. А. Гончарова хочу поделиться воспоминаниями о нем, хотя и поверхностными, ввиду того, что я был очень молод, когда я его видел, но имеющими значение, как свидетельство человека, лично знакомого с знаменитым романистом. Я того мнения, что в таких случаях непосредственное знакомство с великим человеком может дать более верное освещение хотя бы наружности, а иногда и психологии описываемого лица, нежели суждение о нем понаслышке или из вторых рук.

И. А. Гончаров был знаком с моим отцом и семейством, как и И. С. Тургенев. Но мое первое знакомство с Гончаровым произошло уже после кончины отца, за границей, в Берлине. Мы возвращались в Россию из Парижа и остановились в Берлине в British Hotel, на улице Unter den Linden, как раз в том отеле, где проездом также остановился Гончаров. Это было в конце шестидесятых годов. Гончаров незадолго перед тем написал свой роман «Обрыв», весьма одобрительно встреченный читающей публикой.

Помню как сейчас, как мы встретились с Иваном Александровичем у входа в отель. Моя покойная матушка вступила с ним в оживленную беседу, поздравив его с новым произведением.

Мне было лет тринадцать [1], но я живо заинтересовался личностью писателя, о котором уже много слышал. Сильно запечатлелась в моем уме его наружность, его внешний облик, так что я только таким могу себе его представить до сих пор. В портретах Гончарова,

наиболее распространенных, он представлен обрюзглым, вялым, лысым стариком, ничуть не дающим о нем верного понятия. В пору своего расцвета Гончаров был полный, круглолицый, с коротко остриженными русыми баками на щеках, изящно одетый мужчина, живого характера, с добрыми, ласковыми светло-голубыми глазами.

Это был тип наших старых бар, горячо любивших Россию и весь ее патриархальный уклад, но при этом признававших западную культуру и ее «святые чудеса», как говорил Герцен.

Гончаров же по внешности, по манерам носил отпечаток тех русских свойств, которые так ярко выступили в его произведениях. Тут смешались и доброта и упрямство, скромность и вместе с тем гордость и некоторое славянское эпикурейство.

Вторая моя встреча с Гончаровым произошла несколько лет спустя в Петербурге, в нашем доме. За вечерним чаем, среди довольно большого общества, он много говорил и казался в особенно хорошем расположении духа. Гончаров мог очаровать своей беседой, так мягко и приятно лилась его речь. Помню один момент из его беседы. По какому-то поводу он указал на различное действие на людей одной и той же причины. В подтверждение своей мысли он сделал остроумное сравнение. «Предположим, — заметил он, — что две мухи в одно время сядут на поверхность тромбона, например, одна на наружную стенку, а другая на внутреннюю. Если музыкант в это время дунет в инструмент, то одной мухе будет казаться, что произошло землетрясение, а другой покажется, что разразилась буря или циклон. То же бывает и с нами, когда часто один и тот же факт понимается нами различно в зависимости от нашего общественного положения».

Третья моя встреча с Гончаровым была случайная, в ресторане гостиницы «Франция» в Петербурге, куда Гончаров ходил обедать в течение нескольких лет подряд. Он сидел на диване перед накрытым столом, углубившись в чтение газеты. Это было много лет спустя, и автор «Обломова» значительно постарел и осунулся. Что-то грустное отпечаталось на его чертах — быть может, то бессилие творчества, о котором он сам поведал в письме на просьбу какого-то издателя написать новый роман.

П. Д. Боборыкин

ТВОРЕЦ «ОБЛОМОВА»
(ИЗ ЛИЧНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ)

I

Время летит. Не успеете вы оглянуться, и живые люди уже перешли в царство теней. Летит оно в последние годы с такой же предательской быстротой, как для тех, кто должен высиживать месяцы и годы в одной комнате; а с ним стушевывается в памяти множество фактов, штрихов, красок, из которых можно создать нечто или — по меньшей мере — восстановить.

Давно ли умер И. А. Гончаров? Настолько давно, что в нашей печати могло бы появиться немало воспоминаний о нем. Их что-то не видно. Не потому ли, что покойный незадолго до смерти так тревожно отнесся к возможности злоупотребить его памятью — печатанием его писем? [1] Этот запрет тяготеет над всеми, у кого в руках есть такие письменные документы. Недавно сделано было даже заявление одним писателем: как разрешить этот вопрос совести, и следует ли буквально исполнять запрет покойного романиста? [2]

Здесь мы не станем поднимать вопроса принципиально, разбирать: составляют ли письма собственность того, кто их писал, или того, кому они адресованы? На Западе, в особенности во Франции, частные люди, даже совсем неизвестные, гораздо щекотливее по этой части. Но с развитием репортерства и рекламы наступило царство всякого рода нескромностей. Не помню, однако же, чтобы кто-нибудь из известных писателей, ученых или политических деятелей на Западе, сходя в могилу,

наложил такой точно запрет, и у нас это, сколько мне кажется, первый случай.

Как ни почтенно желание каждого, у кого имеются письма первоклассного писателя, исполнить его предсмертную волю, но не пожалеть об этом трудно. Правда, опыт последних годов показал, что печатать без выбора все, что сохранилось из переписки хотя бы самого знаменитого человека, значит оказывать медвежью услугу его памяти[3]. Однако сколько же писем нельзя не считать драгоценными не только для знакомства с натурой и судьбой писателя, но и для фактического изучения его эпохи? В самое последнее время стали появляться целые серии писем передовых русских людей тридцатых и сороковых годов. Есть, например, заграничный сборник (который мог бы появиться и в России) писем двух крупных личностей: одного романиста, другого ученого и общественного деятеля, к их другу, умершему за границей, с которым оба они должны были разойтись по некоторым, тогда жгучим, вопросам и принципам[4]. И если б тот и другой воззвали к своим современникам с таким же запретом, как Гончаров, — драгоценнейший эпизод из истории нашего общества был бы потерян для потомства.

Но воспоминания — дело личное. Это собственность каждого из нас, самая коренная и неоспоримая. И было бы чрезвычайно приятно видеть поскорее в печати все то, что об авторе «Обломова» знали и слышали его современники фактического, свободного от всякой ненужной примеси.

II

До 1870 года я не был знаком с Иваном Александровичем; кажется, даже не видал его нигде — в обществе, в театре, на заседании или на каком-нибудь публичном чтении.

Первые пять лет шестидесятых годов я провел большею частью в Петербурге, принадлежал уже литературе, даже профессионально издавал большой журнал в течение двух с лишком лет[5], посещал всякие сферы и слои общества и все-таки не встречался с Гончаровым. Не помню, обращался ли я к нему письменно с просьбою о сотрудничестве. Скорей не обращался; вероятно,

потому, что тогда сложилось уже мнение о том, как он медленно и редко пишет, так что бесполезно к нему и обращаться. А последние пять лет того же десятилетия я провел за границей с одним только приездом в Москву, где прожил с лета до зимы 1866 года.

К маю 1870 года перебрался я из Вены в Берлин перед войной, о которой тогда никто еще не думал ни во Франции, ни в Германии. Между прочим, я состоял корреспондентом тогдашних «Петербургских ведомостей», и их редактор, покойный В. Ф. Корш, проезжал в то время Берлином. Там же нашел я моего товарища по Дерптскому университету, тоже уже покойного, Владимира Бакста — личность очень распространенную тогда в русских кружках за границей; с ним я еще студентом, в Дерпте, переводил учебник физиологии Дондерса[6].

В Hôtel de Rome, где я обедал за табльдотом, нашел я целое русское общество: племянника В. Ф. Корша и его двух приятелей, слушателей Берлинского университета — сына одного знаменитого хирурга и брата второй жены этого хирурга[7]. Душой кружка был Бакст, прекрасно знакомый с Берлином и отличавшийся необыкновенной способностью пленять русских высокопоставленных лиц. Его приятели называли это «укрощением генералов».

Это молодое общество прозвало само себя *бандой* и проводило время всегда вместе, устраивало у себя русские чаепития; по вечерам и даже по ночам посещали всякие характерные места Берлина.

Вот эту-то *банду* и полюбил И. А. Гончаров, проживавший также в Берлине как раз в то время. Он, вероятно, отправлялся на какие-нибудь воды или на морские купания, но не торопился туда ехать. Берлин ему нравился, и он проводил время, с обеда, почти исключительно в обществе *банды*, к которой и я должен был пристать. Но наша встреча произошла не в Hôtel de Rome за табльдотом, а на улице Под липами, когда члены *банды* отправлялись с ним на прогулку в Тиргартен.

Обед в Hôtel de Rome считался самым лучшим, и наши веселые ребята постоянно звали Гончарова обедать с ними. Он жил Под липами в существующем до сих пор British Hotel.

— Иван Александрович, — повторяли ему, — ведь вы сами говорите, что еда у вас не первый сорт; так зачем же вы там обедаете? Да лучше бы вам и совсем переехать в «Рим», где цены такие же, а комнаты и стол и сравнить нельзя.

— Вы правы, друзья мои, — кротко отвечал им каждый раз Гончаров, — но, видите ли, как же я тогда буду проходить мимо British Hotel'я? Хозяин может стоять на крыльце, увидать меня. Я не могу этого сделать. Как хотите!

Этот штрих был и тогда уже чрезвычайно характерен для автора «Обломова». Для него стоило великих усилий решиться на что-нибудь такое, что может поставить его в неловкое положение. Про эту преобладающую черту его натуры и воспитания мне много рассказывал автор «Тарантаса», граф В. А. Соллогуб, еще в последние годы моего учения в Дерпте. Он хорошо знал Гончарова с самых первых его шагов как писателя, и у него было несколько забавных рассказов, как Иван Александрович тревожно охранял свою неприкосновенность, боясь пуще огня как-нибудь себя скомпрометировать. Но и мы тогда, студентами, не очень доверяли автору «Тарантаса», его рассказам и анекдотам, обличавшим почти всегда слабость к красному словцу.

На тротуаре, вблизи British Hotel'я, и познакомили меня с Гончаровым. До сих пор помню, с какой интонацией он повторил мою фамилию и своим мягким, приятным тоном прибавил вопросительно:

— Писатель?

И пошли мы всей *бандой* к Бранденбургским воротам, а оттуда в парк. Разговор сейчас же зашел именно о Тиргартене. Гончаров восхищался этим удобством: иметь под боком, в центре города, такую обширную и прекрасную прогулку. Дорогой было удобно оглядеть его.

Он показался мне очень похожим на тогдашние его портреты и смотрел моложе своих лет. Ему было уже под шестьдесят, так как он родился в 1812 году. Ходил он бодро, крупной походкой, сохранившейся до глубокой старости; седины очень мало, умеренная полнота, чистоплотно и старательно одетый, по тону и манерам не похожий ни на чиновника, чем он долго был, ни на артиста, ни на помещика; а скорее на типичного петер-

бургского жителя, вроде образованного и воспитанного представителя какой-нибудь фирмы или человека, имеющего почетное звание в каком-нибудь благотворительном обществе.

Профессиональным писателем он совсем не смотрел, и только его разговор, даже касаясь предметов обыденных, мелких подробностей заграничной жизни, облекался в очень литературную форму, полон был замечаний, тонко продуманных и хорошо выраженных; но и тогда уже для того, кто ищет в крупных литературных деятелях подъема высших интересов, отзывчивости на жгучие вопросы времени, Гончаров не мог быть человеком, способным увлекать строем своей беседы.

Через несколько дней, на вечернем чае все той же *банды*, он очень долго рассказывал нам о своей собачке, оставленной им в Петербурге, и в этой исключительной заботе о ней видна была уже складка старого холостяка, привыкшего уходить в свою домашнюю обстановку.

Нежелание *первому* задевать вопросы литературы и общественной жизни, осторожность и чувство такта препятствовали Гончарову сразу придавать разговору чисто писательский оттенок. Но если вы наводили его на такие темы, он высказывался всегда своеобразно, говорил много и без всякого неприятного *личного* оттенка, за исключением щекотливых пунктов, которые рискованно было задевать с ним.

III

В Петербурге в половине семидесятых годов мне привелось провести вечер с Гончаровым в одном редакторском доме[8]. Хозяин и хозяйка хотели воспользоваться посещением такого видного гостя, и в обширной гостиной, где собрано было много дам, произошло повальное представление литературной знаменитости всех присутствующих. Тут еще яснее можно было распознать одну из основных черт натуры и душевного склада Гончарова. Его должно было очень коробить оттого, что хозяева заставили его играть роль крупнейшего литературного сановника. Довольно сильное сознание своего писательского «я» было у него соединено

не только с боязнью всякой неловкости, всякого щекотливого положения, но и с застенчивостью, какую до смерти в большом обществе имел и Тургенев.

Помню очень хорошо, что Гончаров на этом же вечере воспользовался первой же возможностью, чтобы уйти в залу, где начались танцы, и стать там в сторонке.

Прошло целых пять лет с нашей встречи в Берлине, и мы разговорились. Он немного постарел за это время, но был еще очень бодр и представителен, с той же свободной, красивой речью. Свою писательскую карьеру он начинал уже считать поконченной, изредка появляясь в печати с вещами вроде его статьи «Мильон терзаний», где его ум, художнический вкус и благородство помыслов вылились в такой привлекательной форме.

У меня никогда не было привычки, встречаясь с писателем, от которого ждут всегда нового и крупного, спрашивать: чем он «подарит» публику? И я знал уже, что Гончаров не любил таких вопросов. После «Обрыва», напечатанного в конце шестидесятых годов, он вправе был огорчаться тем, что в тогдашней критике произведения его не оценили как надо[9]. Непонимание и выходки рецензентов очень часто заслоняют от самого писателя тот прием, какой оказывает ему масса публики. Так было в значительной степени и с «Обрывом». На роман накинулась вся тогдашняя грамотная Россия. Известно было, что печатание его в «Вестнике Европы» привлекло особенный интерес и к самому журналу[10].

Этот роман, и в особенности лицо Марка Волохова, для будущего биографа-психолога — поворотный пункт в душевном настроении Гончарова. В литературных и светских кружках Петербурга давно ходили толки о том, что автор «Обрыва» заподозрил своего ближайшего сверстника Тургенева в похищении у него замысла лица Базарова, так как его собственный нигилист был им задуман давно, раньше появления «Отцов и детей»[11]. И в начале семидесятых годов эта идея особенно сильно бродила в его душе. Ближайшие его знакомые в разное время передавали мне подробности о взрывах этого живучего подозрения, которое питалось, вероятно, всем складом жизни Гончарова, жизни старого холо-

стяка, привыкшего перебирать в себе на всевозможные лады малейшую подробность в своих человеческих и писательских испытаниях и впечатлениях. Поэтому собеседник, знавший про такой болезненный пункт его души, должен был всегда держаться настороже и лучше совсем не упоминать о некоторых именах и книгах. Я слышал от тех же лиц, что в половине семидесятых годов писательская подозрительность все в том же направлении дошла до того, что Гончаров видел во многом, выходившем тогда из-под пера парижских натуралистов, приятелей Тургенева, подкопы под него; находил у них даже свои сюжеты и замыслы лиц [12].

Я вполне уверен, что те, от кого мне приводилось не раз узнавать про это, передавали фактически верно все слышанное ими в разговорах с автором «Обрыва»; но мне лично не привелось ни в Берлине в 1870 году, ни в Петербурге пять лет спустя ясно и отчетливо схватить проявления такого характерного писательского аффекта.

Вот хоть бы на том вечере, который остался у меня довольно отчетливо в памяти, мы разговаривали долго, задевали, сколько помню, и литературные темы; но мой собеседник говорил обо всем сдержанно, изящно, без всякого неприятного, болезненно-нервного оттенка, какой, например, сейчас же сказался бы у Достоевского.

Хотя Гончаров не любил ничем щеголять в разговоре: ни остроумием, ни глубокомыслием, ни блестящей образованностью, но когда он был в духе, его беседа стояла совершенно на уровне такого писателя, каким он считался. Несмотря на щепетильность и осторожность его натуры, он цельно, искренно и своеобразно высказывался обо всем, что составляло его человеческое и писательское profession de foi *. Ни малейшей уступки красному словцу, превосходный, как художник сказал бы, *сочный* тон в рассказе, в описании, в диалектике, с тем оттенком приятного резонерства, какой проник и в лучшие его произведения.

Лично я не могу сказать, чтобы и в эти встречи и впоследствии, когда мы видались очень часто, он вызывал на более задушевный разговор, интересовался бы: над чем вы работаете в данную минуту? Вероятно, это происходило прежде всего от сильно развитого чувства

---

* Исповедание веры *(франц.)*.

такта и осторожности, мешающей, в какой бы то ни было форме, касаться личных дел, мыслей, интересов своего собеседника. Зато с этим литературным сановником всякому, и самому молодому литератору — повторяю опять: когда он был в духе, — говорилось легко. Вы не слышали ни покровительственного тона, ни генеральских советов; вы не чувствовали и большого расстояния между собой и этим знаменитым представителем старого поколения. Вы стояли с ним на одной и той же почве — на почве общечеловеческой и культурной любви к образованию, науке и нравственным идеалам. Вы вперед видели, что если бы к этой знаменитости, знающей себе цену, обратились вы в разговоре или письме *как писатель*, он ответил бы вам как равный равному, говорил бы или написал бы письмо содержательно и приятно, без сладости и рисовки.

Гончаров, и часто встречаясь с вами — писателем моложе его и скромнее по своему положению, — не имел привычки привлекать вас тем, что интересуется вашей последней «вещью»; но в его тоне вы распознавали достаточное литературное знакомство с вами, как бы не требующее никаких особенных заигрываний.

Меня всегда интересовал вопрос: как крупный писатель-художник *работает*, как ему дается то, что называется *письмом*, *пошибом*. Автор «Обломова» давно уже, с самого появления этого романа, считался *сам* Обломовым. Про него все *уверенно* говорили как про человека, чрезвычайно ленивого и, главное, кропотливого. Это поддерживалось тем, что он выпускал свои произведения в такие пространные промежутки, не сделал себе привычки писать постоянно и сейчас же печатать написанное. *Ленивой* никак нельзя было назвать его натуру. Осторожной, склонной к медлительности и постоянному передумыванию известной темы — да; но ни в каком случае не пассивной, как у его героя. Голова постоянно работала, и две трети жизни прошли у Гончарова на службе, то есть в привычках так или иначе занятого человека. Да и в смысле чисто физическом, мышечном, он до глубокой старости сохранил очень бодрые привычки, был испытанный ходок и уже за семьдесят лет, с постоянным катаром и одышкой, если только был на ногах, ходил пешком обедать с одного конца Петербурга на другой — с Моховой на Мойку. И психически он скло-

нен был к душевному возбуждению, что беспрестанно сказывалось в его разговоре. Человеку, даже мало знавшему его, легко было предположить, что в писательской работе он вряд ли вел себя как апатичный фламандец, как истый сын Обломовки.

В преклонных летах обратился он к русскому читателю с своей исповедью «Лучше поздно, чем никогда», где и рассказал историю развития своего творчества. Такие документы чрезвычайно драгоценны, и ими недостаточно пользуется критика. Но в этой вещи Гончаров не входил в подробности, которые ему казались бы в печати недостаточно скромными и интересными для читателя. И задолго до появления его статьи, написанной уже за немного лет до кончины, мне привелось услыхать от него одну весьма ценную подробность о том, *как* писался «Обрыв». Это было, кажется, еще во время прогулок наших по Берлину.

Последнюю часть «Обрыва», задуманного им так давно, он писал за границей, на водах и, если хорошо помню, в Париже.

— Целыми днями писал я, — рассказывал он, — с утра до вечера, без всяких, даже маленьких, остановок, точно меня что несло. Случалось написать целый лист в день, *и больше,* и так быстро, что у меня делалась боль в пальцах правой руки, и я из-за нее только останавливал работу.

Припомните, что это было во вторую половину шестидесятых годов. Так мог работать человек за пятьдесят лет, в душной комнате отеля. Подобная порывистая и энергическая работа немыслима для *пассивной* натуры, и она же показывает, что в деле стиля, пошиба можно достичь мастерства, яркости и красоты формы совсем не одним только корпеньем над выбором существительных и прилагательных, каким страдал Флобер. В «Обрыве» общий замысел и отдельные лица подвергались критике; но язык почти везде так же хорош и колоритен, как и на лучших страницах «Обломова».

IV

Время подползало к восьмидесятому году. После лечения на немецких водах приехал я в первый раз на наше Балтийское взморье, в Дуббельн, около Риги.

Тогда это купальное местечко только что завело у себя благоустроенный акционерный кургауз, и купальщики Петербурга, Москвы и провинций потянулись туда.

Поселившись в акционерном доме, я сразу очутился среди знакомых русских. Там проводил лето на маленькой дачке около самого кургауза и Гончаров. Это был, кажется, не первый его приезд на Балтийское прибрежье[13], которое он очень полюбил, и с тех пор часто езжал, настолько часто, что теперь улица, ведущая от акционерного дома по направлению к следующему местечку Майоренгоф, названа Гончаровской. Вместе с одним общим добрым знакомым[14] мы составили маленький кружок и обедали на террасе кургауза, по вечерам ходили по штранду (как там называют прибрежье) и вели продолжительные разговоры.

Тогда Гончарову было уже шестьдесят восемь лет; но он совсем не смотрел дряхлым старцем: волосы далеко еще не поседели, хотя лоб и обнажился, в лице сохранилась еще некоторая свежесть, в фигуре не было еще старческой полноты; ходил он очень бойко — все тем же крупным, энергическим шагом, — держался прямо. Только голос стал слабее, и тогда уже начал он жаловаться на катаральное состояние дыхательных путей; жаловался и на болезнь глаза, которая в скором времени обострилась, причиняла ему впоследствии сильнейшие боли и кончилась потерею зрения в этом больном глазе. Болезнь эта была внутренняя, болезнь зрительного нерва и сетчатки.

Все это пришло позднее, а тогда он был еще довольно смелым купальщиком, и беседа его отличалась и живостью и разнообразием. Большой возраст сказывался иногда во внезапных вспышках раздражения, хотя каждый из его собеседников старался о том, чтобы не произносить при нем некоторых имен и не заводить речи на известные темы, которые могли сделаться щекотливыми.

Вообще Гончаров держался и тогда широкого и благожелательного отношения к нашей беллетристике и к молодым писателям. Личных нападок он избегал, не позволял себе и в то время того, что мы называем литературным генеральством. В нем каждый молодой его собрат мог видеть необычайно цельное мировоззрение художника, который никогда, однако же, не оставался

равнодушным к высшим запросам морали и человечности. Этот писатель с полным правом мог с своей авторской исповедью «Лучше поздно, чем никогда» позволить себе возглас о бесплодии словопрений, вращающихся около формулы *искусство для искусства*[15]. Бездушным эстетиком, конечно, он никогда не бывал, но в нем жил *пушкинист* чистой воды, испытавший в ранней молодости обаяние нашего великого поэта, доходившее в людях его поколения до настоящего культа. Если сравнить его беседу с тем, что давал в разговоре прямой его соперник Тургенев, то получится значительная разница.

Тургенев любил искусство не менее, чем Гончаров, и его коробила тенденциозность нашей критики, тот загон, в котором вообще находились тогда художественные запросы; но разговор Тургенева носил часто слишком анекдотический характер; нем было больше ума, остроумия и очистительной критики, направленной на людей, чем цельности чувства, проникающего крупного художника, высокой преданности своему делу. За последние десять—двенадцать лет своей жизни Тургенев говорил о собственной писательской работе изредка, как бы нехотя, постоянно оговариваясь, что он пишет мало и редко и смотрит на то, что пишет, как на вещи, к которым совсем не следует относиться с такими требованиями, какие раздавались тогда. Почти всегда, даже в более задушевной беседе, у него был тон усталого и скептического знатока литературы, желающего оградить свои ощущения от ненужной тревоги. Конечно, в нем могла сказываться и горечь непонимания, оставшаяся от травли, какую критика устроила когда-то роману «Отцы и дети», но ведь и Гончаров тоже был вправе считать себя обиженным всем тем, что было в отзывах об «Обрыве» резкого, а иногда и прямо враждебного[16].

И, несмотря на это, в Гончарове, до последних лет его жизни, сидело очень цельное чувство писателя-художника. Он смотрел на себя уже как на ветерана, не решался задумывать и выполнять большие произведения; но как только заходила речь на какую-нибудь общую художественно-литературную тему, он высказывался всегда в тоне искренней преданности задачам творческой литературы. Тогда в нем слышался не петербуржец-холостяк с душевными странностями, не отставной крупный чиновник, не литературная знаменитость,

знающая только свое генеральское «я», а писатель, долгие годы воспитывавший в себе любовное и почтительное отношение к изящной литературе, ее задачам и идеалам.

Такой Гончаров мог быть очень приятен в беседе и семидесятилетним стариком. Слушая его в то первое лето, которое мы проводили вместе в Дуббельне, я частенько забывал совсем о главном щекотливом пункте, которого рискованно было касаться, то есть о Тургеневе. Не помню, случилось ли мне проговориться, — помню только чрезвычайно отчетливо часть нашего разговора, бывшего тотчас после обеда в парке акционерного дома, где Гончаров сам, говоря о способности писателя к захватыванию в свои произведения больших полос жизни, выразился такой характерной фразой и притом без малейшего раздражения:

— Возьмите вы, например, Тургенева. Он вам представит ряд прелестных картинок. Перед вами будет сад, полный цветов и красивых растений. *Но большого английского парка он вам не разобьет!* [17]

Это было сказано четыре года спустя после напечатания самого обширного романа Тургенева «Новь». Не знаю, согласятся ли многие с таким определением. В нем, однако ж, не сквозило никакой неприятной ноты.

И в течение всего лета мне не привелось выслушать от Гончарова какую-нибудь диатрибу, направленную на своего соперника.

Зато несколько раз бывали за обедом и во время прогулок по берегу моря вспышки раздражения уже с некоторым оттенком старчества — и всегда почти против французского натурализма, романов Золя и его школы. Гончаров не отрицал в них таланта, но и не мог беспристрастно оценить то, что они внесли с собою в дело художественного изображения современной жизни. Тут чувствовалась, быть может, и особенная подкладка, но протест против крайностей натурализма вскипал в нем, вероятно, и помимо всякого личного чувства, как в писателе старых традиций, проникнутом большой целомудренностью художнического чувства. Его возмущало тогда и промышленное направление западной беллетристики, в особенности французской. Попадая в эту зарубку, он легко раздражался.

— Ведь что горько, — говорил он раз, тоже на берегу моря,— кабы они были бездарности... А то возьмите

вы хоть какого-нибудь Габорио. Ведь у него талант есть, но он животное! Раз попал в жилку, привлек публику и пошел валять без стыда, без совести!

Все лето 1880 года Гончаров чувствовал себя прекрасно, был чрезвычайно общительным, приглашал нас и к себе завтракать в мезонин той дачки, где он жил. Вернувшись в Петербург, он продолжал свои беседы в нескольких письмах, которые я получил от него в Москве. Хотя в них не было ничего сколько-нибудь щекотливого для его памяти, а напротив, много доказательств того, как он симпатично и даровито писал письма более интимного характера, я воздержусь от напечатания их в этом очерке [18].

Еще два раза встречались мы на том же Балтийском прибрежье, но жили в разных местах и видались гораздо реже. Тогда уже Гончаров стал страдать глазом и припадками болезни легких. Он как-то сразу превратился видом в старца, отпустил седую бороду, стал менее разговорчив, чаще жаловался на свои болезни, жил на штранде больше для воздуха, чем для купанья. Его холостая доля скрашивалась нежной заботой о чужих детях, которых он воспитал и обеспечил [19].

За последнее десятилетие мне привелось навещать его и в Петербурге, в его квартире на Моховой, куда доступ делался все труднее и труднее. Коренные душевные особенности всплывали тогда гораздо яснее в разговоре, и надо было всегда заботиться о том, чтобы не навести его на какую-нибудь щекотливую тему. Старчество людей с громким именем сказывается всего чаще в беспокойном тщеславии, которое заставляет человека беспрестанно говорить о том, чем он прославился. У Гончарова преклонный возраст проявлялся скорее в болезненном ограждении себя как человека и писателя решительно от всего, что могло бы поставить его в какое-нибудь ответственное положение перед публикой и критикой. Но творческий инстинкт не замирал в нем почти до самых последних дней, и уже семидесяти пяти лет он мог еще художественно изображать типы прислуги крепостного времени [20].

Последняя наша встреча была все-таки же на берегу моря, по дороге из Дуббельна в Майоренгоф, тихим летним вечером.

Н. И. Барсов

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ И. А. ГОНЧАРОВЕ

Я встретился в первый раз с Иваном Александровичем Гончаровым в 1867 или 1868 году у покойного Гавриила Васильевича Крылова, протоиерея Пантелеймоновской церкви, его духовника и хорошего знакомого, которого Иван Александрович очень любил и уважал, как человека простого и доброго и прекрасного священника. Однажды, в день именин Гавриила Васильевича, у него собрались вечером его родственники и знакомые, в числе их — член синода, придворный протоиерей И. В. Рождественский, протопресвитер М. И. Богословский с семейством, несколько протоиереев и священников и несколько лиц светских, в том числе И. Т. Осинин и я. К Крыловым обыкновенно собирались рано, часов в семь, и долго не засиживались, так как покойный Гавриил Васильевич был человек хворый, чахоточный, и должен был ложиться спать вовремя, не позже часов двенадцати. В этот день все обычные гости уже были налицо, как часов в восемь раздался в прихожей звонок и в гостиную вошел Гончаров. Я его сейчас же узнал, хотя до того никогда его не видал и о его предстоящем прибытии не был предупрежден. Портрет его (фотография), бывший у меня вместе с фотографиями других знаменитостей литературы, удивительно был сходен с оригиналом. Одет был Иван Александрович нарядно, изящно: в новенькой бархатной визитке, в пестром красивом галстуке. Знаменитого гостя усадили на главном месте на диване; общий говор смолк, большая часть собравшихся гостей, бывших с ним знакомыми, уселись около. После кой-

каких спросов и ответов Гончаров один овладел речью и рассказывал, рассказывал, главным образом о своих путешествиях, о виденном и слышанном, о японских и сибирских нравах. Я никогда не слыхал такого прекрасного рассказчика, он рисовал ряд живых картин, то смешных и забавных, то серьезных и важных, пересыпая их то шутками и каламбурами, то совместными с собеседниками рассуждениями... Так незаметно прошло часа два; подавали чай, потом и десерт; беседа продолжалась с непрекращающимся оживлением. В десять часов один из более видных гостей, И. В. Рождественский, встал, чтобы идти домой, — он никогда нигде не оставался дольше этого часа. При его уходе все встали, и затем гости разделились на несколько групп и пар. В это время хозяин дома представил Гончарову меня, отрекомендовав учителем словесности (тогда я проходил эту профессию в женских гимназиях). Он взял меня под руку, и мы стали прохаживаться по комнате. Я, в то время еще почти юноша, признаюсь, был необычайно польщен его вниманием. Разговор, который вели мы с час времени, причем к нам подходили и другие, запечатлелся живо в моей памяти. После некоторого молчания Иван Александрович обратился ко мне с замечанием:

— Ну, обо мне-то, я думаю, вам не приходится говорить на ваших уроках словесности?

— Почему же, — отвечал я, — напротив, не только на уроках истории литературы (в первом, то есть самом старшем, классе гимназии) приходится излагать содержание ваших сочинений и делать их общую характеристику, наравне с Тургеневым, Островским и другими современными лучшими писателями, но и на уроках теории словесности и при других практических работах учениц приходится штудировать эпизоды из ваших романов. «Сон Обломова» помещен даже в хрестоматии Галахова. А один отрывок из «Обыкновенной истории» — рассуждение о материнской любви, которое ведет автор по поводу сцены, происшедшей при отправлении Адуевой своего сына на службу, — я имею обыкновение заставлять учениц заучивать наизусть или писать под диктовку, когда оказывается нужной проверка их познаний в орфографии.

Гончаров был как будто изумлен этим. В самом деле, в то время как Майкова, Тургенева, Островского

и даже Некрасова и других писателей тогда (1863—1869 годы), с легкой руки покойных В. Я. Стоюнина и В. И. Водовозова, штудировали на классах словесности при практических занятиях довольно усердно, Гончаров и граф Л. Н. Толстой (которого «Детство и отрочество», а также «Севастопольские рассказы» были уже общеизвестны в то время) были как бы в пренебрежении и в программах и в хрестоматиях (Галахова и Филонова); хотя из этих писателей можно было бы выбрать немало прекрасного, вполне педагогического материала. Закончилась наша беседа с Иваном Александровичем на этот раз приглашением с его стороны «быть знакомыми». Но почему-то мне не довелось вскоре после того сделать ему визит, и мы в другой раз встретились с ним — не помню когда — у того же Г. В. Крылова. И в этом собрании Гончаров был оратором собравшегося кружка, столь же охотно и непринужденно рассказывая и остроумно рассуждая о важном и неважном. Помню один любопытный эпизод из этого вечера. Елизавета Тихоновна Осинина (жена Ивана Терентьевича Осинина, начальника женских гимназий) в одну из пауз вдруг спрашивает Гончарова:

— А скажите, Иван Александрович, отчего это все ваши сочинения начинаются непременно слогом «об»? «Обрыв», «Обломов», «Обыкновенная история».

Гончаров расхохотался.

— А в самом деле! Ну, я об этом, признаюсь, не думал!

После этой, второй, встречи я стал видеться с Гончаровым чаще; в доме у него был, впрочем, не больше пяти-шести раз за все время. На первый раз я явился к нему с экземпляром изданных к тому времени моих сочинений. На мой презент Иван Александрович, к моему удивлению, не отвечал взаимностью. Гораздо позже, уже в 1886 году, он, посетив меня (до того времени он лишь отдал мне визит), вручил мне превосходный экземпляр своего портрета с весьма лестною для меня надписью. Но, видясь редко на дому у него и у меня, мы зато весьма часто встречались на прогулках, в Летнем саду, и по вечерам, на улицах. Ему, как и мне, предписано было врачами более или менее продолжительное пребывание на свежем воздухе. Гулять любил он преимущественно в местах малолюдных, — чаще всего его

можно было встречать вечером на Дворцовой и Гагаринской набережной или по Фонтанке. Вот эти-то совместные прогулки дали мне возможность ознакомиться до некоторой степени с внутренним миром знаменитого писателя и с его взглядами на некоторые предметы. Вообще говоря, заниматься публицистикой и рассуждать о политике, внешней ли или внутренней, Гончаров не любил, и в этом смысле совершенно верно мнение тех (А. И. Незеленов), которые думают, что в Обломове он отчасти изобразил себя самого. Но при рассуждении о некоторых вопросах он обнаруживал иногда горячность и даже партийность.

Иван Александрович имел в числе своих знакомых двух министров народного просвещения — графа Е. В. Путятина и А. В. Головнина. О чем же приличнее было рассуждать с таким человеком учителю словесности, как не об образовании, его методах и постановке? Таким образом, произошло, что в одну из первых по времени наших совместных прогулок по набережной Невы и Летнему саду я стал развивать перед ним свои идеи о способе примирения и соглашения классицизма с христианством чрез правильную постановку среднего и высшего преподавания древних языков, с одной стороны, и обучения религии, с другой. В самом деле, не есть ли это аномалия, говорил я, что, с одной стороны, чрез изучение древних авторов освоивают молодых людей с древним античным мировоззрением, с доктринами и принципами язычества, и в то же время думают сделать молодых людей хорошими христианами чрез два недельных урока катехизиса, преподаваемых совместно с десятком уроков древних языков? Кто же не знает, что эти две доктрины — языческая и христианская — до противоположности несходны между собой? Как укладываются обе они в голове юноши, особенно если он к изучению той и другой доктрины относится с одинаковым рвением и обе их сумеет выразуметь и понять? Если конечная цель всякого образования — дать людям цельное и законченное мировоззрение, то как достигается эта цель при совместном изучении классиков и Евангелия?.. Об этом предмете мне приходилось довольно побеседовать и с графом Путятиным, с которым я был некоторое время знаком; покойный министр отвечал мне на вышеизложенное мое недоумение объяснением, что

в учебных книжках гимназических собраны лишь отрывки из классиков, отнюдь не содержащие миросозерцания, особенно тех сторон античного миросозерцания, которые стоят во враждебном отношении к христианству, что имеется в виду изучение лишь языков древних, а особенно — та гимнастика мысли, которая происходит при изучении языков, гимнастика, столь плодотворная для формального логического развития учащихся. Гончаров — когда я, передав ему свой разговор с Путятиным, с которым он был знаком близко, присоединил соображения и о том, что в виде ресурса для изучения религии христианской было бы полезно хоть часть авторов латинских и греческих языческих заменить изучением некоторого числа авторов латинских и греческих христианских (причем христианство изучалось бы в первоисточнике), — отвечал приблизительно так:

«Никакого миросозерцания ни в том, ни в другом случае, то есть ни в гимназиях, ни в университетах, не изучают и не приобретают: посещают классы, учатся хорошо или худо, много или мало, — а все почти и по окончании университета остаются без «миросозерцания». Нечто вроде миросозерцания, кой-какие правила, кой-какие понятия о предметах, не содержащихся непосредственно в лекциях и учебниках, приобретаются более или менее вне учебных занятий в школе, из домашнего быта и из домашних традиций, из среды, в которой вращается юноша, наконец — из элементов самообразования, которое в лучших случаях идет об руку с школьными занятиями. Образовательное и воспитательное влияние школы на учащихся у нас малозначительно; школа, средняя и высшая, сообщает у нас лишь агрегат знаний, представляющих нередко полный хаос. У нас учащийся школе принадлежит всего меньше. Не то, что в Англии, где воспитанник, например, Итонской школы все время своего воспитания и образования — с детства до самой поздней юности — принадлежит ей одной всецело и безраздельно и никому больше; ею одною, образованием, воспитанием и обучением, в ней организованными, вырабатывается весь строй понятий юноши и правил жизни, весь его характер, все то, что угодно вам называть миросозерцанием. У нас не то. У нас учатся в гимназиях и в университетах лишь для прав, для аттестатов и приобретают таковые без боль-

шого труда, нередко не пользуясь ничьими другими услугами, как одного Савельича (давнишний знаменитый швейцар Петербургского университета, занимавшийся между прочим продажей профессорских литографированных или писанных лекций, дарившихся ему за ненадобностью оканчивавшими курс). Считаю нужным еще раз заметить, что эти суждения относятся к прошлому, и, можно сказать, к далекому прошлому. Что касается введения в курс гимназического и университетского преподавания греческих и латинских писателей христианских, — продолжал Иван Александрович, — то этой мысли не чужд и граф Путятин — недаром его огласили «ханжой». В печатных документальных и недокументальных данных о министерстве графа Путятина мне, впрочем, не случалось встречать подобного указания на его понятия о значении христианских писателей — латинских и греческих — для христианского воспитания учащегося юношества; в беседах своих с графом мне также не случалось слышать от него что-либо по этому предмету».

С Путятиным Гончаров, сколько мне известно, был очень близок и дружен [1]. Этим, может быть, объясняется его всегдашняя любовь ко всему английскому. Графиня, женщина высокообразованная, была природная англичанка, и сам граф долго жил в Англии. В этом прекрасном семействе Гончаров и приобрел, вероятно, свое некоторое англофильство. Путятин в пристрастии к английскому складу общественной и частной жизни уступал разве одному графу Владимиру Петровичу Орлову-Давыдову, воспитаннику Оксфордского (или Кембриджского) университета, учредителю громадной премии за сочинение об устройстве русского крупного землевладения на английский манер, которая, впрочем, доселе еще никому не присуждена за непоявлением сочинения.

Гончаров имел — в цветущую пору своей литературной деятельности, и особенно по возвращении из кругосветного плавания, — очень много знакомств в высшем светском обществе и в 1870—1875 годах по вечерам редко сиживал дома. Но близкого кружка друзей, которые собирались бы у него и в обществе которых он мог бы, как говорится, отводить душу, у него, можно сказать, почти не было, насколько мне известно. Меня всегда удивляло, что среди литературного мира эта крупная

литературная сила стояла как-то обособленно, как будто в не совсем добровольном отдалении. Кроме М. М. Стасюлевича, который сблизился с ним, сколько помню, после того, как в его журнале был напечатан «Обрыв», я не знаю ни одного литератора или ученого, который был бы с ним даже просто в приятельских отношениях. На литературных вечерах в пользу кого-либо, бывших в такой моде в недавнее еще время, его совсем не было видно ни в роли чтеца своих произведений, ни даже в качестве простого посетителя [2]. За все время моего знакомства с ним мне удалось видеть его лишь на одном литературном вечере, где покойный граф А. К. Толстой читал которое-то из своих драматических произведений [3]. Аристократические знакомые Гончарова принимали его у себя, делали ему утренние визиты; но жил он одиноким, почти анахоретом, в довольно скучной обстановке, все время в одной и той же сумрачной квартире на Моховой, во дворе, в первом этаже, в которую не проникало солнце. Этим его положением — кто мешал ему изменить его к лучшему, если устранить предположение, что ему самому присуща была обломовская неподвижность, — мне кажется, следует исключительно объяснить и относительную скудость его литературной производительности и то, большею частью, сумрачное настроение духа, какое в нем мною замечалось... Были, впрочем, газетные антрепренеры, которые даже спекулировали его именем в объявлениях о своих литературных предприятиях. Помню, как еще в 1855 году, когда появлялась такая масса юмористических листков, иногда очень глупых, в объявлении об одном из них, называвшемся «Весельчак», издатель, хвастая своими литературными силами, рассказывал, как он посещал разных литературных знаменитостей, приглашая их к сотрудничеству, и как он явился наконец к «самому» Гончарову с тем же предложением, и как тот дал ему свое согласие с особенным удовольствием. Когда, позже, спросил я об этом Ивана Александровича, он отвечал, что ни о редакторе, ни о журнале его он даже не слыхивал. Такова была бесцеремонность газетных антрепренеров в недавнее время!

По своим убеждениям, в некоторых отношениях, Иван Александрович был скорее космополит, чем патриот,

«Народ наш приходится больше жалеть, чем любить, — были его слова. — В целом мире на всем пространстве истории трудно указать другой пример, где бы было большее расстояние между простым народом и культурными классами».

Когда я ему говорил, что образованные классы поймут же наконец и свои собственные интересы и свои общественные и государственные обязанности настолько, чтобы позаботиться стать поближе к своему кормильцу народу, для которого они, с своей стороны, должны быть пестунами, прийти на помощь к этим «свободным» младенцам, не умеющим еще стать на ноги, позаботиться о свободном, добровольном личном содействии всех и каждого из образованных людей его духовному просветлению и материальной культуре, по примеру образованных культурных классов Западной Европы, — Гончаров отвечал:

«Бог весть! В Западной Европе культурные классы не владели нашим крепостным правом».

Я сослался на пример Англии, где наиболее господствует аристократизм и где, однако же, самые высокопоставленные леди и джентльмены не спесивятся, хотя иногда в виде развлечения, посещать коттеджи крестьян для того, чтобы оказать поселянам помощь в устройстве быта не только словом и советом, но и делом, материальной помощью, заботами о крестьянских детях и их воспитании, лечением больных и т. д.; он опять отвечал:

«Английские леди и джентльмены не были нашими помещиками и не теряли крепостных».

Быв, если не ошибаюсь, одним из близких знакомых покойного А. В. Головнина, Гончаров высказывал горячее сочувствие стремлению этого министра несколько форсировать способы народного образования. Он сочувствовал вороновскому проекту обязательного обучения [4] и горячо высказывался за сообщение народу возможно большего количества реальных и технических знаний, столь необходимых для сколько-нибудь сносного внешнего его существования. Затем западничество свое Гончаров выражал и в том, что, желая «отдохнуть от зимнего безделья», как он выражался, в дачном времяпровождении, он любил посещать Балтийское побережье — Ревель, Меррикюль, Дуббельн и другие тамошние дачные места; несколько раз, если не ошибаюсь, уже после

своего кругосветного путешествия, он ездил и за границу.

«Там порядки лучше, спокойнее и свободнее живется, — не то что у нас, где всякий норовит запустить свою грязную лапу не только в твою домашнюю обстановку, но и в твою душу, в твой внутренний мир».

Это были его подлинные слова.

О литературе и о писателях Гончаров рассуждал со мной мало и как-то неохотно, как ни старался я каждый раз сводить беседу на этот предмет, — словно это для него было дело стороннее, словно сам он не был одним из наиболее видных представителей этой литературы, словно он писал свои произведения, так сказать, лишь pro domo sua *, для удовлетворения лишь своей личной потребности, вовсе не имея в виду удовлетворения умственных и эстетических интересов общества. После этих разговоров мне всегда казалось, что он по своей, конечно, доброй воле стоит особняком и изолированно от всего литературного мира. Некоторых наших писателей, например, Некрасова, казалось мне, он прямо недолюбливал, о Тургеневе высказываться отказывался, критику Белинского уважал, Л. Толстого любил, по-видимому, больше других писателей и рекомендовал мне для классных занятий в гимназии эпизоды из его «Детства и отрочества». О Достоевском говорил, что он мало обрабатывает свои сочинения с внешней стороны, почему в них мало внешней художественности, что он слишком спешно пишет, словно по заказу (из позднейших писем самого Достоевского видно, что действительно так и было на самом деле). Высокого достоинства идей и идеалов Достоевского Гончаров не отрицал, но, по его словам, это «совсем другого характера писатель», чем он, Гончаров. Об Островском Гончаров говорил, что каждое новое его произведение прочитывает немедленно, как только оно появится, и ждет его комедий с нетерпением. То, о чем говорил Гончаров с негодованием и почти отвращением, это автобиографические рассказы авторов, разные воспоминания их о своем детстве и прошлом. Я возражал, что автобиографии авторов помогают пониманию их творений, выясняя личный, субъективный элемент в них и вообще процесс их творчества.

---

* Для себя лично (*лат.*).

Гончаров с этим почти не соглашался и цитировал известные стихи Пушкина:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
. . . .
Молчит его святая лира,
Душа вкушает хладный сон.
И меж сынов ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.

«Частная, обыденная жизнь писателя, даже гения, — говорил он, — зависит от его материального достатка и часто бывает до того бедна и низменна по своей обстановке, что его в ней и узнать бывает трудно как автора известных идей, носителя тех или других идеалов. Творчество художника хотя количественно и находится в зависимости от благоприятных или неблагоприятных условий его внешнего быта, но возникает и развивается более или менее вне воздействия этих условий».

Стихи Пушкина, вышеприведенные, Гончаров с шутливым добродушием применял к себе, когда, после «Обрыва», настал долгий период полного бездействия его вдохновения. Он ужасно тяготился этим бездействием, приписывал его упадку своих духовных сил. «Не могу писать, потому что ничего нет в голове», — говорил он смиренно не мне одному, когда его спрашивали, скоро ли появится какой-либо его новый роман. Не столько по своей доброй воле, сколько, по-видимому, по настоянию других, смущавшихся и недоумевавших при виде его полного бездействия в то время, когда он далеко еще не был стар, он взялся за перо и написал «Мильон терзаний». Получив от него экземпляр этой статьи почти одновременно с книжкой «Вестника Европы», в которой статья эта была напечатана, я вскоре встретился с ним на улице. Пойдя вместе совершать свой обычный тур — по набережной Невы до Главного штаба и обратно, я нашел его в веселом и бодром настроении духа. Начав снова писать, он видимо ободрился и был доволен собой, говорил, что, может быть, напишет еще несколько подобных этюдов — не о новейших писателях, из которых многих он, как признавался, даже вовсе не читал, а о тех, которых читал и изучал еще в молодости, которых переживал в период полной энергии своих художественных сил, каких именно — не сказал. Позже,

когда я стал встречаться с ним реже и наши беседы были менее продолжительны, а особенно когда, по причине болезни глаз, он должен был надеть особого рода окуляры, быстро исхудал до неузнаваемости и до того, что мог ходить лишь в сопровождении «няньки», как он называл водившую его под руку даму, когда прогулки его не простирались далее Моховой и части Литейной, я, встречаясь с ним, имел нескромность иногда спросить о предположенных им этюдах... Появились его воспоминания о лакеях и об Иркутске[5], архиерея которого, впоследствии митрополита московского, Иннокентия, под конец жизни, подобно ему, потерявшего глаза, он особенно хвалил за его пастырские и общечеловеческие добродетели...

В. Русаков (С. Ф. Либрович)

СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ С И. А. ГОНЧАРОВЫМ

Кто бывал в конце семидесятых годов по вечерам в петербургском Летнем саду, тому нетрудно было заметить двух пожилых уже мужчин, которые с замечательною аккуратностью являлись ежедневно под вечер, почти одновременно, в сад и в оживленной беседе проводили время до десяти — одиннадцати часов.

В саду в то время существовал, закрытый впоследствии, «знаменитый» в своем роде ресторан Балашева, и вся публика толпилась обыкновенно перед беседкою, в которой играл оркестр музыки, и поблизости. Все же другие, особенно более отдаленные, аллеи сада почти совершенно пустовали.

В одной из таких пустующих аллей имели обыкновение гулять два названные выше господина: один — роста ниже среднего, старичок, другой — мужчина еще не особенно старый, высокий и весьма представительный.

Между этими двумя «отшельниками» Летнего сада, как их называли тогда некоторые из завсегдатаев его, был резкий контраст во внешности. Высокий господин, с гордо поднятою головою, тщательно причесанными большими баками, одетый изящно, даже щегольски, имел вид важного сановника; низенький же старичок, с небрежно расчесанными маленькими седыми баками, опущенною книзу головою, руками, заложенными за спину, в расстегнутом старом, поношенном пальто серого цвета, скорее походил на какого-нибудь мелкого чиновника.

Высокий господин относился, однако, к своему собеседнику с явным уважением, не садился даже раньше на скамью — словом, видимо выказывал ему всяческое предпочтение.

Оба «отшельника», довольно бойко шагая взад и вперед по отдаленной аллее, очевидно, просто даже не замечали, что происходит около них, — так они всегда были увлечены беседой.

Вынужденный службою проводить лето в Петербурге, я почти каждый день посещал Летний сад, предпочитая эту именно отдаленную аллею, по которой обыкновенно гуляли «отшельники». Оба они очень заинтересовали меня. Невольно приходилось нередко слышать отдельные фразы их разговора, и по незначительным отрывкам его нетрудно было догадаться, что оба собеседника принадлежали к интеллигентному кругу, живо интересуются всеми вопросами литературы, искусства, общественной жизни. Случалось иногда сидеть совсем близко около них, и так как собеседники разговаривали обыкновенно довольно громко, то нетрудно было слышать происходящий между ними разговор.

Низенький старичок был необычайно скромен. Он почти во всем уступал своему сотоварищу, оговариваясь, что того-то он «не знает», о другом ему «уже трудно судить»...

— Мне трудно что-либо сказать вам на это, — запомнилась мне фраза. — Россию, к несчастью, я знаю очень мало, больше понаслышке, по книгам... Как вы знаете, я живу почти безвыездно в столице... Если же и бывал кое-где в провинции, то так лишь, случайно и мимоездом, и жизни народа мне наблюдать не приходилось....

Заинтересовываясь более и более собеседниками, я только к концу лета узнал, что высокий господин представительной наружности — Дмитрий Васильевич Григорович, а собеседник его — Иван Александрович Гончаров. Понятно, когда я узнал об этом, меня еще более заняли случайные встречи с этими светилами русской литературы и невольное присутствие при их беседах.

Как было уже замечено выше, оба писателя, как по наружности, так и по способу разговора, представляли полный контраст: речь И. А. Гончарова была скромная, простая, ничем резко не отличавшаяся; Д. В. Григоро-

вич же говорил, как профессор эстетики, изящно, закругленно.

Гончаров в подтверждение своих слов приводил обыкновенно анекдоты, случаи из своей жизни; Григорович же подкреплял свои слова ссылками то на классиков, то на новейших иностранных авторов.

Если бы стенографически записать беседы маститых писателей в Летнем саду, какой получился бы ряд интереснейших очерков, наблюдений, взглядов, сколько типичных черт прибавили бы эти беседы к биографии и характеристике И. А. Гончарова!

Мне, конечно, удавалось слышать лишь отрывки разговоров, да и то я не имею права воспроизводить их здесь. Замечу лишь, что эти отрывки чрезвычайно типично оттеняли личности обоих писателей...

Самый тон речи И. А. Гончарова, его манера говорить прежде всего вселяли несомненную уверенность в искренней скромности маститого беллетриста, необычайность размеров которой всегда, как известно, вызывала даже сомнение — «как, мол, такая звезда первой величины — и скромничает...»

Вскоре после встреч в Летнем саду мне пришлось несколько ближе узнать Ивана Александровича. Это было в книжном магазине М. О. Вольфа. И. А. Гончаров заходил туда часто и подолгу беседовал с Маврикием Осиповичем Вольфом, ныне покойным. У него даже был в магазине Вольфа свой любимый уголок, налево от входа, у двери. Войдет он, бывало, скромно, спросит приказчика: «Здесь Маврикий Осипович?» — и сядет в любимом уголке в ожидании «хозяина лавки». Иногда целые часы проводил там Иван Александрович в беседе с Вольфом.

— Что новенького у вас из книжек? — спрашивал обыкновенно Гончаров.

Вольф перечислял маститому беллетристу новейшие книги, преимущественно по беллетристике, добавляя, на какие из них больше спрос.

Гончаров слушал со вниманием и каждый раз искренно радовался, узнав, что какая-нибудь книжка молодого писателя пользуется успехом.

— Слава богу!.. Слава богу! — говаривал он. — Это хорошо, что узнают и признают молодые таланты... Мне

все как-то кажется, что теперь публика не та, читатели не те...

Случалось также не раз, что Гончаров, взяв какую-нибудь книгу для просмотра и находя ее дельною и полезною, считал своим долгом указать в печати на ее достоинства, обратить на нее внимание публики. В «Голосе» в семидесятых годах помещена, как мне хорошо известно, не одна библиографическая заметка автора «Обломова», конечно, без подписи, горячо рекомендующая ту или другую литературную новинку[1]. Автор иногда ломал себе голову, кто это мог написать такой сочувственный отзыв о его книге, и, понятно, не подозревал даже, кому он обязан неожиданным часто успехом книги.

Гончаров очень интересовался в то время также французскою беллетристикою, часто брал у Вольфа французские романы для чтения. Особенно же он увлекался Флобером, зачитывался произведениями этого писателя, предпочитая их всем другим.

— Вот это писатель!.. Вот это я понимаю! — иногда говорил он, возвращая прочитанный роман Флобера, и при этом лицо его сияло таким искренним удовольствием.

Издания И. А. Гончарова «Обрыв», «Обломов», «Фрегат „Паллада“» были в то время совершенно распроданы. Сидя в уголке за дверью, он часто сам слышал, как публика спрашивала его сочинения, но оставался совершенно равнодушным к этому.

— Что же вы, Иван Александрович, не приступите к новому изданию ваших сочинений? — неоднократно спрашивал его Вольф.

— Куда мне уже, старому! Забота, хлопоты, корректура... Нет, я этого не в состоянии!..

— Позвольте! Все это — дело издателя, — убеждал Вольф.

— Да, но, выпуская новым изданием, следовало бы кое-что исправить, переделать, сократить... Где же мне теперь приниматься за такую работу?..

Разговоры на эту тему повторялись довольно часто, но Гончаров все оставался при своем мнении. Только в 1879 году[2], убедившись, вероятно, в несомненном спросе на свои сочинения, он выпустил в свет полное собрание своих сочинений, после того как большинство отдельных его романов в течение многих лет были со-

вершенно распроданы, считались библиографической редкостью и ценились книгопродавцами на вес золота! В книжном мире решение И. А. Гончарова приступить к новому изданию своих сочинений (о котором в свое время оповестили газеты, указывая вместе с тем и сумму гонорара, полученного за право издания Гончаровым от Глазунова) составило, конечно, крупное событие.

Покойный Маврикий Осипович Вольф рассказывал по поводу этого «решения Гончарова», что он видел на своем веку много раз, как беспокоились и дрожали молодые, начинающие писатели в то время, когда печаталось их первое произведение, но все это ничто в сравнении с беспокойством, которое проявлял Гончаров, решившись на новое издание своих сочинений. В скромности своей маститый писатель просто боялся за успех этих сочинений, боялся, что они «отжили свою пору» и что его станут упрекать за то, что он вздумал вновь напечатать несколько жемчужин русской беллетристики...

Необычайная скромность Гончарова проявлялась и проявляется на каждом почти шагу. Так, например, когда в 1878 году затеяно было М. О. Вольфом издание «Живописной России», то, в числе других писателей, Вольф обратился и к Ивану Александровичу с просьбою принять участие в этом издании. Гончаров очень сочувственно отнесся к идее издания, но написал Вольфу письмо, в котором извинился, что, почти не выезжая во всю жизнь из Петербурга, не знает России и потому, «к сожалению своему», не мог бы написать ничего такого, что пригодилось бы для издания...

Письмо это — один из многочисленных образчиков замечательной скромности маститого писателя [3].

Для иллюстрации сказанного привожу несколько примеров. Мне пришлось случайно, в бумагах покойного А. Ф. Писемского, наткнуться на несколько писем Ивана Александровича к нему. Вот что, между прочим, пишет Гончаров. «Вы просите мудрого совета и помощи, — обращается он в письме от 4 декабря 1872 года по случаю запрещения одной из пьес Писемского [4]. — Мудрости у меня никакой не было и нет, всего менее — государственной мудрости, и потому я плохо разумею мотив

запрещения вашей комедии, а скорблю только о том, что литература лишается талантливого произведения, а сцена — живой, оригинальной и умной пьесы».

«Полноте смеяться, какой я критик, — пишет И. А. Гончаров 18 апреля 1873 года. — Если прежде случалось мне судить верно по впечатлениям, то с летами, когда впечатлительность притупилась, я перестаю чувствовать достоинства и делаюсь только строг к недостаткам. Поэтому полагаю, что вы шутя спрашиваете моего мнения...»

И это пишет автор одного из замечательнейших в русской литературе критических разборов, автор «Мильона терзаний», в котором так великолепно разобрано «Горе от ума»!

И. А. Гончаров не любит, чтобы о нем писали или говорили, упоминание же своего имени где-либо в романе или драме считает просто насмешкой. Это испытал на себе, между прочим, и автор драмы «Ваал». Одна из героинь этой драмы упоминает в первом действии имя Гончарова[5]. Читая драму, Иван Александрович сразу остановился на этом и в письме 18 апреля 1873 года пишет по этому поводу Писемскому, как автору «Ваала»: «Одна из ваших героинь, в первом явлении, упоминает мое имя; я знаю и привык уже, что женщины смеются надо мною (??!), и прощаю им, ибо они, как дети, не ведают сами, что делают, все пытаясь заглянуть в игрушку, чтоб посмотреть, что в ней и как она играет, — и кончают, конечно, тем, чем дети, то есть сломают ее и потом удивляются, что она не играет больше. Но то женщины; а вы за что же в заговоре с ними? Вы же еще — сами такой нервный, мнительный и раздражительный — туда же смеяться? Вы сами по опыту должны знать, что человек — это такая игрушка, у которой, кроме всего другого, есть кровь, нервы, воображение; что если... пошвырять хорошенько эту игрушку, то получишь мало-мало что ипохондрика, а то — пожалуй и хуже! Вы скажете, что и у вас обо мне говорит женщина в драме; да, но это такая женщина, как те мужики, которых Собакевич продавал Чичикову, то есть «мечта не от мира сего», плод вашего воображения. Поэтому, прошу вас убедительно, исключите это место, когда будете

опять издавать, и особенно не допускайте на сцену. Положим, если бы вы и не для смеха, а так — попросту — упомянули обо мне, то в таком случае посмеются над вами (это бы мне, пожалуй, ничего), но и надо мною тоже, — а мне, право, не до смеха: я давно на тот свет хочу!»

Иван Александрович — как это небезызвестно всем сколько-нибудь знающим его — всегда жалуется на нездоровье, хотя как в семидесятых годах, так и теперь никто не решился бы назвать его больным, судя по бодрой, живой внешности. Нездоровье и составляет главную причину, почему Гончаров живет, так сказать, «вдали от света». «Я стар стал и нездоров, — пишет он в письме от 4 декабря 1872 года. — Болезнь нагнала на меня невольную «мудрость» держаться в стороне от всего, даже от литературы, ибо я человек старого времени и по новейшему течению плыть не умею, в молодой толпе роли мне нет, а своих сверстников и единомышленников и пяти человек не соберешь. Я и сижу в углу, как зверь, в дурную погоду страдаю бессонницей, приливами крови к голове и во всякую другую вообще — хандрою и старостью».

А вот выдержка из другого письма к А. Ф. Писемскому, от 20 октября 1872 года.

«Не браните строго меня за бирючий образ жизни, — пишет Гончаров, — это от болезни или — вернее — от болезней. С первыми ладить не под лета и не под силу. Ложась спать, я никогда не знаю, когда засну: в два, три или пять часов, — чаще всего засыпаю под утро, поэтому день у меня пропадает. Старость и климат».

«Вы жалуетесь на ревматизмы, — пишет он между прочим в письме от 13 января 1873 года, — а у меня приливы, что ли, или другое, только чувствую то неловкость в руке, то шум в голове, точно самовар кипит. Кто говорит, что это от полнокровия, кто от малокровия или ожирения сердца, черт их знает, не разберешь! А только скучно это, да и вообще все вместе с погодой отвратительно».

«Здоровье мое, — говорится в письме от 18 апреля того же года, — значительно зависит от погоды, а как погода больше дурная, то и я дурен. На вопрос ваш, еду ли за границу, не знаю, что отвечать: не хочется, наску-

чило ездить и незачем; пробовал работать, принимался раза три — нейдет, стар, а здоровье поправляется там только на время, а потом опять!»

Не много наберется среди русских писателей таких, которые с такой готовностью, как И. А. Гончаров, шли бы на помощь всякому хорошему начинанию в области литературы, так искренно радовались бы каждому успеху собрата по перу. В этом отношении одним из «вещественных доказательств» может служить переписка И. А. Гончарова с А. Ф. Писемским. Гончаров, как видно из этой переписки, хлопочет для своего собрата, упрашивает для него же влиятельных лиц, ходатайствует. Когда Писемский сомневался, пропустит ли цензура его «Плотничью артель», «Взбаламученное море», И. А. Гончаров пишет ему 4 декабря 1872 года: «Я шел к министру А. С. Норову, Е. П. Ковалевскому и потом к П. А. Валуеву и упрашивал их прослушать вас самих. Они уважали искусство, были добры ко мне — и прослушивали. При этом происходило всегда то, что должно было происходить, то есть они усматривали сами, что для «отечества опасности никакой не было», «доверия ни к кому не колебалось», а только литература приобретала даровитое произведение, репертуар обогащался новой оригинальной пьесой, — и все были довольны».

В другом письме, от 13 января 1873 года, он пишет Писемскому: «Ваше письмо пришло как нельзя более в пору: именно в ту минуту, когда я надевал шубу, чтобы ехать за справками о вашей комедии [6], и рисковал отморозить нос, потому что было семнадцать градусов мороза с метелью».

«Я много говорил в совете о вашей драме, почтеннейший Алексей Феофилактович, — упоминает он 24 января того же года, — и о том, как бы хорошо поставить ее поскорее на сцену. Я предложил послушать ваше чтение» и т. д.

Гончаров искренно «рад успеху, как будто своему собственному», каждой новой пьесы Писемского, делает свои замечания, хвалит ее без обиняков и прочее, хлопочет о том, чтобы доставить Писемскому возможность прочесть новое произведение графу Алексею Толстому и прочее, — словом, является в полном смысле «всегдаш-

ним ходатаем» автора «Тысячи душ», как он называет себя в одном из писем.

Да и не один только Писемский пользовался таким сочувствием Ивана Александровича. Сколько раз, например, в конце семидесятых годов, в разговоре с М. О. Вольфом, высказывал он радость, что ему удалось одному «пристроить повесть», другому «выхлопотать постановку пьесы на сцену». Сколько раз он же обращал внимание Вольфа на какое-нибудь литературное дарование, способного автора по детской литературе и прочее.

У немцев есть поговорка, что по «рабочей комнате и рабочему столу можно судить о человеке». Если это применить к И. А. Гончарову, то по его рабочему кабинету и письменному столу нельзя не вывести заключения, что это человек в высшей степени скромный. Никто бы не подумал, что это кабинет одного из замечательнейших беллетристов. Небольшая, низкая комната, разделенная пополам драпированною перегородкою; у самой перегородки — небольшой шкафик с книгами и рукописями; дальше диван, над которым несколько гравюр, и тут же рядом простой письменный стол, на середине которого стоят часы с бронзовым бюстом молоденькой девушки наверху, две вазы, чернильница, две-три книги, несколько мелких безделушек; у стола плетеное кресло для работы и другое, вольтеровское кресло, для чтения, с мягкою спинкою и с такими же ручками, — вот вам и весь кабинет И. А. Гончарова!

Правда, в числе украшений и «безделушек» письменного стола Ивана Александровича есть целый ряд вещественных доказательств его популярности и глубокого уважения, которым пользуется маститый писатель. Одно из самых крупных между ними — это кабинетные часы, стоящие посреди стола. Эти часы — подарок кружка приятелей и редакторов тех журналов, в которых были помещены произведения Ивана Александровича, а бюст молоденькой девушки на них — это бюст Марфиньки, одной из героинь «Обрыва». Часы эти были поднесены Гончарову в конце 1882 года по случаю пятидесятилетия его литературной деятельности.

Две вазы, стоящие тут же на столе, это тоже подарок, и подарок очень симпатичный. Он поднесен

четырьмя депутатками от «русских женщин» 2 февраля 1883 года одновременно с адресом, на котором красовалось более полутораста подписей.

Самые ценные предметы в кабинете — конечно, это те «старые рукописи» и «записки» Ивана Александровича, которые он так тщательно хранит у себя и которые так неохотно и с такою скромностью передает в печать лишь весьма редко и то небольшими только клочками. А таких записок, заметок, воспоминаний, наблюдений у Ивана Александровича между рукописями немало. Но, как известно, автор «Обломова» необычайно строг ко всем этим своим, по его мнению, «ничтожным вещицам», приглашает к их оценке «сведущих людей», советуется и расспрашивает, «годны ли они для печатания», и каждое появление подобного произведения в печати составляет целое событие.

Строгость по отношению к своим литературным трудам доводит Ивана Александровича иногда до того, что он прямо уничтожает целые готовые рукописи! Так, например, известно, что он уничтожил все свои переводы из Шиллера, Гёте, Винкельмана и некоторых английских романистов. Корзина для бумаг под письменным столом Ивана Александровича — это одна из свидетельниц, к несчастию немых свидетельниц, строгой критики писателя к своим трудам и жестоких над ними приговоров...[7]

Кабинет свой Иван Александрович считает святынею и неохотно пускает в него любопытных посторонних. Когда Якоби обратился к маститому писателю с просьбою разрешить ему снять вид с этого кабинета, Иван Александрович сначала и слышать не хотел.

— К чему? На что? Кому это нужно?.. Нет, нет, оставьте в покое...

Только после долгих просьб фотографа Иван Александрович позволил наконец снять вид его кабинета.

И это не единичный случай. Кто из издателей обращался к Ивану Александровичу с просьбою о позволении напечатать его портрет, тот знает, как неохотно соглашается он на это. Когда в 1873 году литограф Середеев в Москве просил у Ивана Александровича карточку для помещения в альбоме русских литераторов, Гончаров ответил письменно (18 апреля 1873 года):

«Я поищу, нет ли у меня старой порядочной карточки. А новой делать не стану, как потому, что я скупой и денег на это тратить не хочу, так и по причине великой скуки, которую приходится претерпевать, сидя целое утро у фотографа. А идти к нему в качестве литературной известности и сниматься даром — это свинство, потому к фотографу меня надо тащить на веревке».

Слова эти объясняют, почему в продаже существует сравнительно так мало портретов И. А. Гончарова, в то время как писатели, гораздо менее его известные, сделались такими популярными... в отношении массы распространенных их портретов во всех видах и позах...

Недавно я снова как-то встретил Ивана Александровича на улице. Он заметно переменился, постарел. Прежние баки, с которыми я встречал его в Летнем саду, Гончаров заменил длинною седою бородою, которая придает маститому писателю типичный русский вид. Так он снят в 1884 году у Левицкого. Теперь Ивану Александровичу уже за семьдесят лет, но он все еще бодрый, живой.

С. Ф. Либрович

ИЗ КНИГИ «НА КНИЖНОМ ПОСТУ»

В ЛИТЕРАТУРНОМ «ПОЧТИ-КЛУБЕ»

(Отрывки)

Особенное оживление в жизнь кружка, собиравшегося в крошечной «Маврикиевой каморке», вносили приезды Писемского, который от времени до времени посещал Петербург, преимущественно по издательским своим делам. Превосходный чтец, любивший щегольнуть уменьем художественно читать, Писемский превращал вечера «почти-клуба» [1] в настоящие литературные собрания, на которых автором «Взбаламученного моря» читались отрывки из его собственных произведений и из произведений других писателей, стихотворения и пр. Умело, выразительно и глядя поочередно в глаза своим слушателям, точно желая убедиться, внимательно ли они слушают, Писемский читал иногда целый час, почти до утомления.

В то время как раз печатался в «Пчеле» роман Писемского «Мещане» [2], и Писемский с особенным наслаждением знакомил своих слушателей с новыми главами романа.

Слава Писемского, как первоклассного писателя, к этому времени уже начинала было меркнуть: появились новые птицы, новые песни. Но в кругу посетителей «почти-клуба» Писемского продолжали считать звездою первой величины. Это чувствовалось и в отношениях к нему и в разговоре. В особенности Лесков старался всеми силами показать Писемскому, что он считает его крупным, великим писателем. Он не находил слов, чтобы

достаточно выразить свое преклонение перед Писемским и подчеркнуть, что талант автора «Тысячи душ» не только не идет на убыль, но, напротив, крепнет. Но и Гончаров, Григорович, Майков, Зотов, Данилевский, специально приходившие в «почти-клуб» послушать Писемского и других, громко выражали свой восторг Писемскому.

Писемский принимал все расточавшиеся похвалы с притворным равнодушием, как должную дань своему таланту, но в то же время с горькой иронией замечал, что у него появились в литературе лютые враги, которые, завидуя его успеху, желали бы как-нибудь восстановить против него читателей, в особенности молодежь.

Молчаливый обыкновенно Гончаров редко пускался в суждения, но раз его удавалось «раскачать», как выражался Минаев, он высказывал себя таким тонким художественным критиком, таким глубоким знатоком, какие встречаются редко. Тут уж Гончаров, не стесняясь, заявлял, что лучшие времена творчества Писемского он относит к тому периоду, когда автор «Тюфяка» оставался чистым художником и не занимался обличениями.

— Право, по-моему, не дело художника пускаться в изображения разных мелких негодяев, вовсе не составляющих типов, как не дело из грязных случайных анекдотов создавать картину жизни. Вам, Алексей Феофилактович, как большому кораблю, не место плавать в маленькой луже: вы созданы для крупного моря.

В особенности резко отзывался Гончаров о драматических произведениях Писемского. Несмотря на успех, которым пользовались пьесы Писемского «Подкопы», «Финансовый гений» и другие, Гончаров находил, что все это — памфлеты, которые Писемский должен бы вычеркнуть из своего литературного формуляра, и выражал опасение, что, увлекшись мишурным сценическим успехом, Писемский превратится в мелкого русского Скриба — драматического ремесленника, которого быстро позабудут.

Писемский горячо отстаивал достоинства своих пьес. Мало того: он находил, что его пьесы — до некоторой степени гражданский подвиг, ибо-де обязанность писателя

изобличать всех эксплуататоров, концессионеров, биржевиков и прочих, и если бы его, Писемского, спросили, какое из своих произведений он ставит выше всех, то он назвал бы «Финансового гения», то есть то самое произведение, которое близорукая редакция «Русского вестника» не захотела поместить на своих страницах [3].

Такого рода литературные споры возгорались при каждом почти посещении Писемского. Виноват был частью сам Писемский, который как будто вызывал присутствовавших на то, чтобы они говорили о нем, о его произведениях. В этом отношении он являлся прямою противоположностью Гончарову, который терпеть не мог, когда кто-либо касался в разговоре его произведений.

Во время споров и разговоров все часто обращались к Маврикию Осиповичу Вольфу с предложением высказать свое мнение — мнение, так сказать, постороннего, беспристрастного лица.

— Мы, — острил Минаев, — актеры, наш же Маврикий — публика: вот послушаем, что она скажет.

Маврикий Осипович, высказывая какое-нибудь мнение, обыкновенно подчеркивал, что у него на литературу и на литературные произведения два взгляда, две точки зрения: точка зрения книгопродавца и точка зрения человека, любящего литературу, беспристрастного, в своем роде библиофила в широком смысле слова. Так, например, Вольф указывал, что известный роман Крестовского «Петербургские трущобы», на который в то время был особенно усиленный спрос, является, с точки зрения книгопродавца и большой публики, выдающимся произведением, но, с точки зрения просвещенного читателя, с хорошим литературным вкусом, произведение это не более как сенсационный роман вроде «Парижских тайн», «Тайн Мадрида» и т. п. Как книгопродавец и издатель он, Вольф, большой почитатель Крестовского, но как человек и любитель литературы он ставит его невысоко.

«Двойная» точка зрения дала повод Минаеву сочинить целый ряд экспромтов, а вместе с тем вызвала горячий спор, в котором, между прочим, принял участие редкий гость «почти-клуба», тогда еще сравнительно малоизвестный Владимир Соловьев. Немного мистик, Со-

ловьев выступил рьяным защитником того взгляда, что о каждом художественном произведении можно иметь, помимо личной воли и желания, два почти противоположных мнения. Напротив, Гончаров доказывал, что это невозможно. Любопытно, однако, что сам же он на следующий день прислал Вольфу довольно длинное письмо [4], в котором заявлял, что спор о «двойной точке зрения» не дал ему покоя всю ночь, и что он пришел к заключению, что Соловьев прав, и что он, Гончаров, поразмыслив, вполне признает право за «двойственным взглядом» и рад, что книгопродавческий взгляд не заглушил в Вольфе чувства и взгляда читателя.

Спор о «двойственном взгляде» быстро распространился среди тогдашних петербургских литераторов и публицистов. Об этом можно было судить по неожиданным посещениям в течение следующих дней «почти-клуба» такими писателями, которые обыкновенно там не бывали и которые приходили для того только, чтоб высказать свое мнение о данном вопросе. В числе последних были Бильбасов, Михайловский и другие.

Но разговоры и споры в «почти-клубе» далеко не ограничивались только литературными вопросами и переходили очень часто в область политики и внутренней жизни России.

— Хорошо, что эти стены не имеют ушей, — заметил как-то раз Зотов, — а то нас всех, как злейших нигилистов, упекли бы туда, откуда нет возврата...

Когда заходил разговор о печальных событиях современной русской действительности, о притеснениях, которые переживали и печать и общество, Гончаров всегда вмешивался в разговор и старался доказать, что жизнь вовсе не так плоха, как ее стараются изобразить, и что, во всяком случае, не сегодня-завтра все будет лучше. В его речах ясно сказывался гончаровский герой Райский, который «все чего-то ждал впереди — не знал чего, но вздрагивал страстно, как будто предчувствуя какие-то исполинские, роскошные наслаждения, видя картины, где плещет, играет, бьется другая, заманчивая жизнь, а не та, которая окружает его». В этом отношении мнения и взгляды Гончарова резко расходились с мнениями Лескова и других, которые всё видели

в мрачных красках и которым даже будущая Россия представлялась сплошным, беспросветным, мрачным туманом...

В личных своих разговорах с Вольфом, с глазу на глаз, Гончаров очень часто, высказывая какую-нибудь мысль, какой-нибудь взгляд, мнение, тут же вынимал из кармана записную книжку или клочок бумаги и быстро-быстро заносил туда несколько строк. В особенности он делал это тогда, когда по поводу того или другого факта, той или другой встречи вспоминал давно прошедшее минувшее, точно желая отметить что-то им забытое и сохранить его в своей памяти.

— Это уж у меня такая привычка с самых ранних лет моей жизни, — объяснял он.

Что сталось с этой записной книжкой, с теми клочками бумаги «для памяти», к сожалению, мне неизвестно.

ПЕРЕВОДЧИК-МАНЬЯК

(Отрывок)

Когда издание роскошного иллюстрированного русского «Фауста» стало в принципе окончательно решенным, явился сам собой другой вопрос: воспользоваться ли для этого издания одним из готовых уже... переводов, получив, конечно, предварительно согласие данного переводчика, или же заказать новый перевод? Лично Вольф склонялся к решению вопроса в смысле заказа нового перевода и предполагал поручить этот перевод тому же Д. Д. Минаеву, который перевел «Божественную комедию»[5] для иллюстрированного издания этой поэмы с рисунками Доре, перевел «Дон-Жуана»[6] и много других иностранных классических произведений и в свое время считался как бы «присяжным переводных дел мастером», как называли его в шутку в литературных кружках. Раньше, однако, нежели решить окончательно этот вопрос, Вольф счел своим долгом посоветоваться с кружком компетентных литераторов.

В означенном совещании в числе других принимал участие И. А. Гончаров, который вообще весьма сочувственно отнесся к предполагаемому изданию «Фауста». Но от Гончарова трудно было добиться какого-нибудь положительного мнения. С свойственной ему любез-

ностью по отношению ко всем и каждому и как будто боясь обидеть кого-либо, он не решался высказаться ни в пользу того, ни в пользу другого перевода. Раз только Гончаров немного возвысил голос, когда кто-то из присутствовавших, если не ошибаюсь, Д. В. Григорович, заметил, что перевод Губера[7] не годится, так как язык перевода устарел. Гончаров восстал против выражения «язык устарел». «Слишком уж злоупотребляют выражением «язык устарел», — вот что приблизительно говорил маститый автор «Обломова», — чуть какой-нибудь десяток лет пройдет с выхода книжки — сейчас о ней говорят: «Язык устарел». А по-моему, — прибавил Гончаров,— развитие языка идет так медленно, что об «отставке по старости» для литературных произведений не следовало бы даже и заикаться. Напротив, я думаю, что тот язык, которым иные пишут теперь, куда хуже языка, которым писали в тридцатых и сороковых годах». Сказав это, Гончаров, однако, тотчас счел нужным оговориться, что он признает, что литературный язык стал за последнее время более богатым, отделанным, изящным, более, наконец, отвечающим «духу века».

В конце концов большинством голосов решено было, что лучшим переводом является перевод А. Струговщикова: он и ближе к оригиналу, и изящнее, и поэтичнее других, что едва ли Д. Д. Минаев или какой-нибудь другой переводчик сумеет справиться с переводом «по заказу» гётевской трагедии так, как справился с ним Струговщиков, переводивший Гёте исподволь, в течение многих лет и не ради литературного гонорара, а просто из любви к поэту, которого он был ярым поклонником. Следует только — так решил совещательный кружок — просить Струговщикова исправить некоторые места, не совсем точные и верные, и пополнить два-три замеченных пробела согласно указаниям в экземплярах напечатанного Струговщиковым первого издания перевода[8].

В числе этих экземпляров сохранился один, особенно интересный ввиду того, что замечания в нем сделаны рукою И. А. Гончарова и принадлежат всецело самому автору «Обломова». Правда, и тут Гончаров остался верным своему мягкому, доброму характеру и воздержался от каких бы то ни было критических взглядов. Он только в некоторых местах, которые показались ему

не совсем удачными, отметил: «в оригинале это место так», или «у Гёте эти строки так», или, наконец, «Гёте выразил эту мысль более сжато» и т. д. Подобными замечаниями испещрена была вся книжка Струговщикова.

ПЛОХИЕ ПОКУПАТЕЛИ КНИГ

— Мы, книгопродавцы, подразделяем людей на две категории: «хороших покупателей книг» и «плохих покупателей книг». Хорошие — это те, которые много покупают, и плохие — которые скупятся на книги.

Так говорил живший во второй половине прошлого века в Петербурге книгопродавец Лисенков, один из забытых теперь оригинальнейших представителей «книжного царства».

У Лисенкова была в Гостином дворе, наверху, небольшая лавочка, куда заходили большей частью любители старых, редких книг. Лисенков тщательно вел список своим покупателям и... ставил им отметки. «Хорошим покупателям» он ставил пятерки; тем, которые только заходили в его лавку, смотрели, но не покупали или мало покупали, ставил двойки, единицы и нули.

В числе покупателей с дурными отметками видное место занимали... писатели. Лисенков считал их очень «плохими покупателями».

Но не один только Лисенков давал такую «аттестацию» писателям.

С удивительною откровенностью сознается, например, Гончаров, что для него «не было в жизни ничего гнуснее, как платить за книгу».

Эти слова буквально взяты из письма Гончарова к издателю «Голоса» Краевскому от 20 декабря 1868 года [9]. Они отнюдь не брошены случайно, не составляют того, что французы называют façon de parler *, нет, Гончаров был убежденным врагом покупки книг. В моих воспоминаниях о Гончарове, много лет назад, еще при жизни автора «Обломова», печатавшихся в «Нови», я рассказывал, как Гончаров заходил в книжный магазин М. О. Вольфа и брал французские романы для прочтения. Маврикий Вольф, зная слабость Гончарова и его

---

* Манера разговора (*франц.*).

скупость, охотно шел навстречу творцу «Обломова» и давал ему все французские беллетристические новинки.

Факт этот подтвержден по случаю столетия со дня рождения Гончарова в статье «И. А. Гончаров в анекдоте»[10]. «Как-то случилось, — говорится в этой статье, — что он (Гончаров) взял в книжном магазине Вольфа, где был частым посетителем, для чтения нужную книжку. Потом это освятилось и стало традицией. Отвечая любезностью за предоставление бесплатно для чтения любимых книг, он, принося книгу, подробно рассказывал ее содержание старику Вольфу. Это тоже стало традицией, небесполезной и для последнего, так как он, тоже бесплатно и не читая, становился в курс своего товара и мог его с чистой совестью и компетентностью рекомендовать своим посетителям».

Но Гончаров никогда не оставлял у себя взятых книг, не «зажиливал» их, как говорится, и возвращал в полной сохранности, разрезывал осторожно, обращался с ними необычайно бережно.

Русской беллетристики Гончаров не читал[11], находя, что все, что пишется (это было в восьмидесятых годах),—«пустая болтовня». Вольфу нередко стоило много труда уговорить Гончарова прочесть какую-нибудь русскую беллетристическую новинку.

Личная библиотека Гончарова состояла из очень немногих книг, преимущественно «подношений» авторов, и классиков, среди которых первое место занимал излюбленный автором «Обломова» Грибоедов; старый, зачитанный экземпляр сочинений творца «Горя от ума» лежал у Гончарова всегда на столе. Но даже сочинения Грибоедова не были куплены Гончаровым: ему поднес их Краевский в нарядном переплете, с соответственной надписью.

Гончаров среди писателей — далеко не единственный враг покупки книг. В этом отношении записи в торговых книгах книжного магазина М. О. Вольфа являются ценным архивным материалом: кроме Гончарова, брали из вольфовского магазина книги многие другие, одни — прямо заявляя, что берут только для прочтения, другие же — взяв ту или иную книгу будто бы с тем, чтобы заплатить за нее «при случае», никогда не покрывали своего долга...

Откровенность Гончарова относительно «гнусности платить за книгу» разделяли, между прочим, Сергей Атава и Минаев.

— С писателя брать деньги за книги — грешно, — говорил всегда, смеясь, Атава.

У самого Атавы не только не было ничего сколько-нибудь похожего на библиотеку, но не было совершенно книг.

«Как это можно устраивать у себя на квартире... кладбище!» — восклицал Сергей Атава, увидав у кого-либо из знакомых библиотеку.

По мнению Атавы, библиотека в доме частного человека — это не что иное, как книжное кладбище, а книги в шкафах — это покойники, «которым место в земле». Публичную библиотеку Атава называл то покойницкою, то кладбищем книг.

— Что же, у вас-то, значит, совсем нет книг? — спрашивали Атаву.

— Есть десяток живых друзей и десяток живых учителей в виде тех книг, которые я постоянно читаю или к которым постоянно обращаюсь за справками. Все же остальные я, по прочтении, немедленно отправляю в... покойницкую.

— Разве на частной квартире порядочного сапожника валяются сапоги или в квартире аптекаря разве стоят банки с лекарствами? — отвечал Минаев, когда его посетители удивлялись полному отсутствию у него книг.

И прибавлял:

— То, что я нахожу заслуживающим внимания из прочитанного, я сохраняю в памяти, а хлама у себя не держу. Я не Скабичевский, который, как старьевщик, все хранит на полках...

О Писемском известно, что от времени до времени он призывал к себе букинистов и продавал все книги, даже... с собственноручными надписями авторов.

В Петербурге упомянутый выше книгопродавец Лисенков славился как скупщик подобных книг с надписями-посвящениями, которые он продавал затем за высокую, сравнительно, цену любителям. И у Лисенкова всегда можно было найти десятки книг с автографами авторов — книг, купленных у тогдашних писателей, часто даже неразрезанных.

Конечно, не все писатели так равнодушно относились к книгам. Бывали и исключения. Так, например, прекрасная, тщательно подобранная, хотя и небольшая, библиотека была у Лескова. Вообще Лесков много тратил на книги, был постоянным посетителем лавок букинистов и очень гордился своими книгами, среди которых встречались многие редкие. Лесков берег свои книги, и никакими просьбами не удавалось «уломать» его дать кому-либо книгу из его библиотеки для прочтения.

— Книга что жена: ее нельзя давать на подержание даже лучшему другу, — отвечал всегда Лесков тем, кто хотел «одолжить» у него какое-нибудь «сокровище» из его библиотеки.

Е. А. Гончарова

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ И. А. ГОНЧАРОВЕ

[I]

Первое мое знакомство с И. А. Гончаровым было в 1874 году, когда я сделалась невестою его племянника и когда он, из родственных чувств, счел своим долгом сделать визит нашему семейству. Я была смущена, когда пришел этот знаменитый писатель; интересно было видеть его так близко, неофициально, говорить с ним и знать, что он пришел посмотреть именно тебя. Он был любезен, очень разговорчив; он желал убедиться собственными глазами, что за семья роднится с ним, каковы достоинства девушки, которая будет носить его фамилию.

Очевидно, наша семья произвела на него благоприятное впечатление. Выражение его лица из строгого сделалось мягким, он улыбался и старался обворожить нас своим обхождением, меткими словами. На другой день он прислал, по моей просьбе, свой портрет с надписью: «Елизавете Александровне Уманец от старого Гончарова усердное приношение».

Через несколько лет, когда я была уже женою его племянника, мы были у него с мужем, на Моховой, с визитом (1883 год). За это время он сильно подался, постарел, плохо видел на правый глаз и потому сидел спиной к свету в кабинете, около своего письменного стола, на котором красовалась большая роскошная, серебряная, вызолоченная чернильница, с эмалью и инкрустациями; весь письменный прибор к ней и подсвечники — подарок императора Александра III. Кажется, ему очень льстило внимание государя, и он охотно расска-

зывал подробности самого торжества этого подношения. Он был в ударе и говорил много интересного о своих знакомствах и об отношениях к Толстому и Тургеневу, между которыми он проводил параллель, ставя Толстого неизмеримо выше Тургенева по философским идеям и по его влиянию во всем мире. Он особенно подчеркивал именно всемирное значение Толстого; о Тургеневе же он говорил как о близком родном, хорошем знакомом.

Снова мы посетили его через два года. Тогда он начинал терять зрение; несмотря на операцию, глаз отказывался ему служить и он находился под гнетущим, тяжелым чувством утраты зрения. Ему было не по себе. Хотя он угощал нас чаем с какими-то сухарями, но это делалось как будто à contre coeur *, по провинциальной привычке угощать приезжих родственников. Муж уехал от него раньше, я же осталась посидеть и услышала бесконечную старческую жалобу на потерю зрения. Он говорил, что к нему очень любезна императорская фамилия, что его приглашают ко двору, «все-таки не забывают», ему кланяются, с ним говорят, а он не видит, не замечает никого. Незадолго перед тем он был приглашен на обед к принцу Лейхтенбергскому; против него сидела принцесса Ольденбургская, которая обратилась к нему со словами: «Иван Александрович, вы не хотите узнать меня, почему такая немилость?» Он извинился. «Слепну, ничего не вижу», — сказал он. Рядом сидел князь X., заговаривал с ним, но он его не узнал. В этом роде тянулся длинный ряд сетований о том, что ему трудно бывать в обществе, где раньше он был желанным гостем; приходится отказываться от посещений двора и большого света, к которому он так привык. Обидно было за него, слушая эти старческие жалобы из уст крупного писателя; чуялось разложение великой мысли. Его речь оставила во мне тяжелое впечатление осиротелости, одиночества среди массы поклонников [1].

Через месяц я опять зашла к нему. Он встретил меня совсем официально, холодно. Когда я села в его кабинете, он, стоя, облокотившись на стол, нагнулся ко мне, строго смотря из-под густых седых бровей. «Чаю, может быть, желаете?» — спросил он. Я отказалась,

---

* Нехотя *(франц.)*.

чувствуя что-то враждебное ко мне в этом вопросе. Он как бы с облегчением вздохнул — оттого ли, что я не засижусь, или от чего другого — и, точно успокоенный, сел в свое кресло. На этот раз речь его была без жалоб, спокойная, даже сердечная. Он заинтересовался служебным положением моего мужа, входил в наши дела и вдруг, как бы руководясь минутным влечением, сказал: «Я бы, может быть, мог вам помочь: меня все-таки знают, иногда слушают. Я знаю многих, могу сказать кому следует, располагайте мною...»[2] Прощаясь, он еще раз напомнил мне, чтобы я написала ему в случае надобности, что он охотно поможет мужу в его служебных делах, и подарил мне свой последний портрет.

[II]

Иван Александрович не любил жену своего брата и переносил это недружелюбное чувство на ее сына, которого она любила какой-то неразумной любовью. Неприятное, натянутое отношение началось давно, с того момента, когда Александр Николаевич заболел и решено было отправить его за границу. Мать просила денег у Ивана Александровича на эту поездку. Он отказал. Она это ему никогда не простила. Сын знал об отказе, и в нем это не вызвало хороших чувств к дяде. Дядя не доверял ни племяннику, ни матери. Чуткий, по мнению родных и близких, он с невольным душевным трепетом прислушивался к тому, что творил Александр в Дерпте, что он за человек, этот сын его брата. Дядю, умеренного, спокойного человека, все студенческие выходки племянника раздражали, сердили, он открещивался от него, и когда Александр Николаевич заболел и явились признаки болезни легких, кровохарканье, он не удивился и денег на дорогу не дал.

Надо признать, что и я много способствовала, хотя невольно, обострению отношений. Позволю себе привести кое-какие сведения из далекого прошлого. Александр Николаевич, получив в 1875 году мое согласие выйти за него замуж, сообщил об этом дяде. Иван Александрович не торопился познакомиться с невестою племянника и ее семьей. Была весна, затем настанет лето, думал он вместе с Елизаветой Александровной из

«Обыкновенной истории». Осенью вернутся с дач, с морских и других купаний, городской сезон начнется, тут и нанесу визит, как добрый родственник. Но Иван Александрович был не в курсе дела. Лето, родные, друзья разрушали понемногу здание Александра Николаевича, и когда наконец Иван Александрович надумал нанести нам визит и подарить нас своей персоной, в воздухе чувствовалась гроза. Мирное течение, «нормы любви жизни», колебалось. Он этого не знал; и откуда было ему знать это? Он не переписывался с племянником[3]. Он знал только, что Александр Николаевич — мой жених, что свадьба должна быть осенью. Возможно, что прежде чем нанести визит, он наводил справки о нашем семействе, наших родных и знакомых.

Он явился к нам часа в два-три дня, в темно-сером сюртучке, застегнутом на одну пуговицу наверху, как на портрете, который он мне прислал, — там он очень похож. Вначале он был как будто озадачен многолюдством нашей семьи. Иван Александрович спросил меня, подчеркивая этим, что визит его предназначался исключительно мне и означал его родственное отношение к моему жениху. Он часто и подолгу останавливал свой взгляд на мне, предлагал вопросы, заставлял отвечать, интересовался моим развитием, знаниями, мышлением. Видно было, что он желал выведать все, узнать человека. Думаю, что это ему вполне удалось.

Он мне говорил, что Александр — умный человек, увлекается, да, непрактичный, хотя теперь ведет крупные дела в больших размерах и его patron ему вполне доверяет. Дай-то бог! «Он хорошо учился, — продолжал он, — талантливый и был бы совсем дельным, если бы мать не избаловала его. Это была какая-то безрассудная любовь. Она сделала все, чтобы испортить жизнь моему бедному брату. Она своей практической натурой принижала его. А у него были все задатки, чтобы сделаться ученым. Он парит высоко или зарывается в свои мысли, идеи, создания, а она явится прерывать его занятия каким-нибудь мелочным, пустячным вопросом о хозяйстве, о деньгах. Она никак не могла разглядеть в нем таланта, „высоко даровитую натуру"».

Иван Александрович с горечью останавливался на этом давлении неумелой и недаровитой женщины. Ему

бесконечно было жаль брата, и он высоко ставил его филологические способности и богатство знаний.

«У Александра также мягкая, податливая натура, как у брата, — продолжал он, — надо его в руках держать», — и при этом он как-то пытливо и слегка улыбаясь взглядывал на меня своими серо-голубыми, глубоко сидящими глазами, как будто прикидывал в уме — сумеешь ли ты его удержать? Не слишком ли вы оба одинаковые люди?

Иван Александрович делал впечатление и петербургского чиновника и чистокровного аристократа по манере держать себя, говорить, не отдавая себя никогда, всегда начеку, выжидая, высматривая. Он не встретил во мне ни влюбленности, ни восторга к Александру Николаевичу. Наши отношения, как я сказала выше, расклеивались. Иван Александрович ничего этого не подозревал, а мое спокойное отношение к жениху поставил мне в заслугу.

Он сидел на кресле около меня, в гостиной, со шляпой в руках, и говорил о своем путешествии, о многих виденных странах, о фрегате «Паллада»; он оживился, и рассказы его были увлекательны. Сестры обступили его, и его, видимо, занимало или забавляло это внимание молодежи.

Вошел мой отец, разговор зашел общий. Отец мой, очень умный человек и на службе очень ценимый, был в то время уже в отставке. Он взял у Ивана Александровича шляпу и скоро увел к себе в кабинет, где предложил ему сигару. Отец не курил, но для друзей и знакомых держал хорошие сигары. Наверное, Иван Александрович не доверял чужому выбору и закурил свою собственную. На другой день Иван Александрович, по моей просьбе, прислал мне свой портрет с надписью: «Елизавете Александровне Уманец от старого Гончарова усердное приношение».

Отец был у него с визитом, и, кажется, они остались очень довольны друг другом. Сомнения же мои относительно соединения моей судьбы с судьбою Александра Николаевича привели к ряду вопросов, на которые он ответил лично, приехав разузнать, в чем дело.

Дела с Джонстоном [4] были хороши, в полном ходу, но эта частная служба не нравилась моему отцу, который

желал бы, чтобы зять его шел по старопроторенной дорожке казенной службы. Александр Николаевич зашел к дяде и услыхал от него похвалы его выбору, он мне передавал его отзывы обо мне и о нашем семействе.

Иван Александрович служил сплошь все тридцать пять — сорок лет в своей жизни, был страшно занят этой казенной службой и писал романы в минуты отдыха в Мариенбаде или у сестры на Волге. Служить необходимо, считал он. Также находил, что это только и дает основу всему существованию молодого человека. С ним вместе так думали все, и когда к нему осенью приехал Александр Николаевич, он наткнулся на требование служить не только от моего отца, но и от дяди также. Что такое служба у Джонстона? Как бы выгодна она ни была, но она временна, ни чинов, ни наград не дает, ни положения в обществе. Это тот же приказчик, который в больших гостиных приходит за приказаниями и сесть не смеет при господах. Приходит на память его (то есть Ивана Александровича) изречение: «Звание купца не лестно» [5]. Чины не позволяли заниматься практическим делом, и звание купца не было лестно.

Разрыв мой с Александром Николаевичем произошел вскоре. Мой дядя, П. А. Рихтер, управляющий уездной конторой в Самаре, знавший Александра Николаевича, находил, что мы совсем не подходим друг к другу, и письменно настаивал на моем отказе. Когда это было уже совершившийся факт, отец мой пошел к Ивану Александровичу объявить и пояснить, как и почему свадьба не может состояться. Возможно, что он показал письма дяди Рихтера. Думаю, что самолюбие Ивана Александровича было уязвлено и отказом и недобрым мнением о племяннике. Он, наверное, досадовал на себя, что поторопился нанести нам визит. Но, как человек светский, он затаил свою обиду и был очень любезен с отцом, даже принял приглашение на карточный вечер к нам, sans rancune *, как добрый знакомый. Меня не было в это время в Петербурге. Он очаровал всех, о нем мне писала Ек. Ал. Сысоева, бывшая на вечере. С ней он говорил à parte ** обо мне, восхваляя меня и топя

* Не помня зла *(франц.)*.
** Отдельно *(франц.)*.

Александра Николаевича. В пользу последнего не было произнесено ни единого слова. Но, верно, скребло все-таки на сердце у Ивана Александровича, вспоминая, что его племяннику отказали, и желчь против него поднималась в душе.

Весною 1876 года Александр Николаевич переехал на житье в Петербург и искал места. Иван Александрович отозвался, и у меня имеется его письмо к Владимиру Михайловичу [6], где он просит найти для Александра Николаевича подходящее дело. «Воззрите оком милосердия», — заключал он. В этом письме он перечислил все достоинства племянника: «Он умен, добросовестен, образован, исполнителен. Кроме того, как бывший дерптский студент, отлично знает по-немецки».

Писал он также о приискании дела Александру Николаевичу и к Константину Николаевичу [7], который обещал его иметь в виду. Но Александр Николаевич через других получил занятия.

Отношения стали портиться и стали настолько тяжелы, что они старались реже видеться. Иван Александрович изливал на племянника желчь свою, свое уязвленное самолюбие. Тут гадкие, обидные слова против матери Александра Николаевича, насмешки на то, что Александр Николаевич не мог ужиться у Джонстона, в Самарской губернии, что его сместил, как пешку, какой-то авантюрист, но усидчивый, смотрящий в очи начальства. Тут вылилась обида за брата и все мелкие и давние занозы; все вспомнилось ему, когда он колко и едко заметил племяннику, что Уманец — умный мужчина, что не позволил дочери выйти замуж за такого юнца без должности.

Выражение «не позволил выйти» доказывает, что ему были известны все разговоры и письма, подготовившие разрыв.

В одном письме ко мне, от 17 апреля 1882 года, Александр Николаевич пишет: «Я никогда не любил дядю Ивана Александровича, но в это время он мне сделался гадок, он смеялся, издевался надо мной, уверяя, что игра не стоит свеч, что это одна из глав «Обыкновенной истории». Он — холодный и жестокий эгоист». Недоверие к силам племянника, возможностям его постоянно копошилось в дяде, и он боялся за его неумение применяться к обстоятельствам.

Александр Николаевич вносил всегда беспорядок, сумятицу в размеренную, спокойную жизнь Ивана Александровича, и он был для него беспокойным, беспочвенным романтиком. Александр Николаевич, по своим собственным словам, был вечный студент, и в разговорах с дядей невольно у него проскальзывало вольнодумство, шокировавшее последнего. Бутадам дядюшки Александр Николаевич придавал, может быть, больше значения, чем следовало, отсюда обоюдное охлаждение и озлобление. В конце 80-х годов отношения Ивана Александровича к племяннику, хоть и очень далекие, совсем расклеились вследствие расстроенного здоровья первого и все большего влияния на Ивана Александровича его экономки, охранявшей его от родственников.

Д. Н. Цертелев

ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ И. А. ГОНЧАРОВЕ

Зимою 1871 года, захватив рекомендательное письмо к Ивану Александровичу Гончарову от графа Алексея Константиновича Толстого, с которым он был коротко знаком, я отправился в Петербург. Гончарова, автора «Обломова» и «Обрыва», я считал первым русским романистом, не исключая и Тургенева.

Я застал его на той же квартире, где он жил много лет (Моховая, 3), и дверь отворил мне тот же старый слуга, воспитанием дочери которого Гончаров продолжал еще заниматься после его смерти; неоднократно писал он для нее классные сочинения.

Когда после смерти графа Алексея Константиновича графиня Софья Андреевна переехала в Петербург, Гончаров стал часто бывать у нее, но избегал большого общества. Он не любил встречаться с Достоевским, про которого говорил, что он не столько разговаривает, сколько вещает; сочинений его он почти никогда не читал, так как утверждал, что после них он по ночам кричит.

Зимою мы с Гончаровым обыкновенно оба обедали в гостинице «Франция»; там собиралось довольно большое и очень разнообразное общество. Однажды мундир сидевшего против нас военного поразил Гончарова.

— Как не совестно начальству заставлять взрослых людей носить такие костюмы, — заметил он, — но в действительности, может быть, страннее, что взрослые люди наряжаются таким образом.

Гончаров любил иногда подтрунить над старым швейцаром гостиницы. Раз, входя в нее, он совершенно серьезно спросил его:

— Не у вас ли остановился Робинзон?

— Как? — переспросил швейцар.

— Робинзон Крузоэ, — пояснил Гончаров.

В другой раз, выходя из той же гостиницы, Гончаров встретил девицу легкого поведения, которая предложила ему следовать за собой. Он отказался, сославшись на свой возраст.

— С меня чего взять... я старик. А вот там идет купец богатый, богатый, — указал он девице на шедшего впереди Михаила Матвеевича Стасюлевича.

Ко дню годовщины появления «Обрыва» почитатели Гончарова устроили ему небольшое чествование[1]. Гончаров говорил потом, что он был уверен, что все его забудут.

Узнав от меня, что Иван Александрович прекрасно читает стихи, М. Г. Савина решила, что ей необходимо поучиться этому искусству, но, зная, что он избегает новых знакомств, особенно с дамами, просила меня позвонить к нему, а сама осталась у входа. Когда же я вошел, она явилась экспромтом.

Гончаров действительно прекрасно читал стихи, не подчеркивая их чрезмерно, но в то же время и не скрывая размера. Мне пришлось однажды в коломенской гимназии участвовать в публичном чтении, где Гончаров прочел «Дракона» графа А. К. Толстого, произведшего сильнейшее впечатление на юных слушательниц. Иван Александрович был сердечно тронут тем горячим приемом, который ему оказали[2].

Писательская подозрительность, несомненно, была в высшей степени развита у Гончарова. Известно, что по поводу «Обрыва» он обвинял И. С. Тургенева чуть ли не в плагиате. Был ли какой-нибудь повод или по крайней мере предлог к такому обвинению — оставляю этот вопрос открытым. В чисто литературных вопросах разбираться трудно, оставаясь на поле чистого искусства и не давая себя увлечь вопросами, переходящими на почву криминалистики.

Соперничество между великими писателями, к сожалению, дело весьма обыкновенное; почти всегда самолюбие развивается болезненно и, не довольствуясь действительными заслугами, начинает претендовать на такие деяния, на которые менее всего имеет право. Для того, кто знает, что в литературе не важно то, что именно

сказано, а важно то, *как* оно сказано, ясно, что споры о сюжетах не имеют значения, — и «Демон», например, если бы он был написан не Лермонтовым, а малоизвестным писателем, совершенно потерял бы значение не потому, что другой писатель не мог бы придумать тех оборотов фраз, которые сами собой являются у Лермонтова, а именно потому, что эти обороты у него приходят сами собой. Отсюда ясно, до какой степени не мотивированы и напрасны жалобы на кражу сюжетов.

Если вы не можете даже придумать сюжета для своего произведения, то как же вы можете изложить его?

Летом обыкновенно Гончаров живал на Рижском взморье, около Дуббельна. Один раз я решился навестить его там. Показывая мне свою квартиру, он сказал:

— Вот видите, как я здесь живу; хорошему попугаю было бы плохо, а соседи находят, что помещение мое еще слишком роскошно.

Обычной прогулкой его было посещение вокзала, где он обедал.

Однажды он встретил там двух молодых девушек, которые обратились к нему с вопросом: не он ли Иван Александрович Гончаров? Получив утвердительный ответ, они смешались, покраснели и замолчали.

— Вы, должно быть, воспитывались в институте? — после некоторого молчания спросил их Гончаров. — Ну так ничего, это пройдет.

Однажды моя хорошая знакомая, получив от своего приятеля в подарок фотографическую карточку с надписью «Fare thee well, and if for ever... »*, обратилась к Гончарову с вопросом: что надо думать в таком случае? В ответ на это Гончаров рассказал анекдот:

— Жил в одном приходе священник, хороший человек, но большой охотник выпить. Однажды его прихожанин, такой же охотник, обратился к нему с вопросом: «Скажите, пожалуйста, батюшка, много ли человек выпить может?» — «То есть это как выпить?» — спросил священник. «Да так, просто выпить». — «А то есть это чего выпить?» — «Водки». — «Водки? Сколько угодно».

Надо сказать, что сам Гончаров не только водки, но решительно никакого вина не пил и за обедом только изредка разрешал себе рюмочку ликера.

---

* Прощай, и если навсегда... *(англ.)*.

С. В. Павлова

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

(Отрывок)

При организации курсового литературного вечера мы стремились собрать всех наших литераторов. Хотелось, чтобы было чем вспомнить веселые годы учения, когда мы разъедемся в отдаленные углы обширного отечества.

Были мы у Щедрина. Он принял нас больной, в халате, полулежа в кресле. Сказал, что читать не может, а хочет просто нас посмотреть.

— Вы производите впечатление умных девочек. Но для меня вы — загадка. Дай бог, чтобы отгадка получилась хорошая и полезная для нашей родины.

От него мы поехали к Гончарову, который жил на Моховой, в первом этаже. Нас ввели в большой уютный кабинет. Вышел старичок, очень чистенько одетый, с ласковой улыбкой, и сказал:

— Здравствуйте, деточки! Прежде всего позвольте вас угостить конфетками.

Когда мы отрекомендовались как депутатки от курсов, он схватил себя за голову обеими руками.

— Пожалуйста, не пугайте меня! Мы лучше поговорим с вами попросту, по-семейному. Сядем, закусим конфетками,— сказал он, кладя себе одну конфетку в рот,— и поговорим. Вы хотите, чтобы я публично читал на вашем литературном вечере? Я совсем не умею читать и никогда не выступал публично [1]. Я могу испугаться так, что убегу с эстрады, и выйдет скандал. А я не скандальник. Лучше мы сделаем так: я на вечер возьму билет (он выложил при этом 25 рублей), а приеду к вам позже,

когда вы успокоитесь после своего вечера, приеду в гости к вашему курсу, который так ласково меня вспомнил. Вы угостите меня чаем, а я вам почитаю.

Действительно, вскоре после литературного вечера Иван Александрович написал нашей начальнице письмо, в котором просил собрать наш курс в аудитории в известный день и час и напомнил, что мы обещали угостить его чаем.

Он был точен и приехал со своим личным секретарем. Прошелся по нашим курсам, осмотрел аудитории, вошел в зал, где был сервирован чай, и сказал:

— Вот отлично! Лучше всего беседовать за чайком.

Он стал спрашивать, кто и откуда приехал, какие мысли и желания привлекли нас сюда и нашли ли мы здесь удовлетворение. Прочел нам отрывок из «Литературного вечера»[2]. Читал он действительно неважно. Одна из молоденьких слушательниц, очень наивная девочка, спросила его:

— Почему вы в «Обломове» так часто упоминаете о кардамоне?

Он засмеялся:

— Да потому, дорогая, что я сам очень люблю кардамон.

Надо сказать, что разговоры вообще были самые неинтересные. Кто-то вздумал заговорить о Вере из «Обрыва». Он махнул рукой и сказал:

— Рано вам думать об этих вопросах! Я бы вам рекомендовал мое любимое произведение, которое мне никогда не надоедает.

Мы навострили уши.

— Читайте «Фрегат „Палладу"»!

С этими словами он встал и попрощался:

— Я всегда рано встаю и рано ложусь.

После его отъезда у нас пошли оживленные разговоры. Большинство было недовольно этим свиданием. Так как посещение состоялось по моей усиленной просьбе, то я горячо отстаивала любимого автора. Я говорила, что он стар, отошел от жизни, но зато относится к нам как к родным детям.

В это время подошел инспектор, высокоталантливый педагог И. Ф. Рашевский. Он так хорошо читал методику русского языка, что его аудитория всегда была переполнена слушательницами из других отделений. Хотя

я была математичка, но не пропускала ни одной его лекции. Поэтому он обратил на меня внимание.

— Вот, — сказал он, — случай поговорить с вами. Помните наш разговор в первый день приезда вашего в столицу? Какая вы тогда были горячая космополитка! Ну, а теперь — горячо защищаете автора «Обломова»?

— И дым отечества мне сладок и приятен, — отвечала я, смеясь.

— Ну и хорошо! Так часто бывает с горячими и прямыми людьми, не скрывающими своих убеждений. Спасибо, что вы защищали Гончарова, — сказал он. — Мое мнение в глазах молодой аудитории не имеет такого значения, как ваше, студенческое.

И. А. Купчинский

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ И. А. ГОНЧАРОВЕ

В 1880 году Грибоедовская премия за лучшую пьесу автору из начинающих драматургов никому не была присуждена. Так как Иван Александрович Гончаров был в числе судей по присуждению премий [1], а моя пьеса была в числе других пьес, поданных на соискательство премии [2], то я, приехав в Петербург и интересуясь видеть маститого литератора, под предлогом узнать его мнение о моей пьесе, отправился к нему; он жил на Моховой улице; прихожу, звоню, женщина отворяет дверь,— спрашиваю, дома ли Иван Александрович.

Получается ответ:

— Ушел гулять и возвратится часа через два.

Впоследствии, познакомившись с Иваном Александровичем, я узнал от него, что он каждый день ходит гулять; если он делал прогулку более далекую, чем обыкновенно, то весело говорил:

— А знаете ли, где я был сегодня? Сегодня побывал я вот где. Каково!

Или:

— А я сегодня прошелся до... и ничего, нисколько не утомился.

На следующий день, когда я позвонил у дверей квартиры Ивана Александровича, женщина, пригласив меня в прихожую, спросила мое имя и пошла доложить обо мне Ивану Александровичу. Минуту спустя в дверях соседней комнаты появился Иван Александрович. Он был в халате темно-мусакового цвета.

— Это вы вчера приходили? — спросил он, ответив

на мой поклон поклоном и пытливым взглядом окидывая меня.

Я сказал, кто я, и назвал свое имя и фамилию.

— Извините, мне что-то ваше имя неизвестно, — пожимая руку, проговорил он.

— Я приезжий из Москвы и вижусь с вами, Иван Александрович, в первый раз.

— А, так вы не здешний, милости просим сюда, — и он, введя меня в кабинет, указал на кресло возле стола и попросил сесть.

Я сел и положил на стол рукопись, свернутую в трубку, — это была пьеса, бывшая на конкурсе.

— Это что такое? — как-то с беспокойством спросил Иван Александрович.

— Это рукопись...

— А, так вы литератор!.. Извините, я должен предупредить вас, у меня свободного времени очень, очень мало, извините, я свободен каких-нибудь пять минут.

— Да я к вам, Иван Александрович, только спросить ваше мнение...

— О сочинении, о вашем произведении? — поспешно перебил он меня. — Извините, ничего не могу сказать; я вообще мало читаю, а рукописи — только свои. Из печатного — только «Вестник Европы»; печать удобная, крупная; мелкой печати читать не могу, глаза, глаза стали плохи.

— Я, Иван Александрович, хочу спросить вас о пьесе, которую вы, по всей вероятности, прочли.

— Когда? Где?

— Вы состоите в числе судей по присуждению премии за лучшую пьесу?

— Да.

— Премия осталась неприсужденною.

— Да и не могла быть присуждена.

— Вследствие того, что все пьесы, представленные на премии, были плохи?

— Не знаю; мы, судьи, решили не читать их.

— Почему?

— Да потому, что условия нам поставили невозможные: помилуйте, премия должна быть присуждена за пьесу автору из начинающих, а между тем от пьесы требовались достоинства, которых дать ей начинающий литератор не может. От пьесы требовались достоинства,

какие ей может дать разве только А. Н. Островский. Мы, прочитав условия, решили, что читать присланные пьесы, а их было прислано таки довольно, будет непроизводительный труд, и возвратили пьесы нечитанными. Поставь нам условие — присудить премию за пьесу, которую мы найдем лучшею из присланных: ну тогда, конечно, мы бы прочли пьесы, и премия была бы присуждена.

— В таком случае я не могу знать вашего мнения о своей пьесе. До свидания! — проговорил я, готовясь уехать.

— Чего вы торопитесь уходить? Посидите, — остановил меня Иван Александрович.

— Да мне, собственно, торопиться нечего, — проговорил я.

— Так оставайтесь, сейчас нам чай подадут, — сказал Иван Александрович и приказал подать два стакана чая.

Я между разговором выпил чай и, поблагодарив хозяина, стал прощаться. Иван Александрович снова остановил меня и приказал, чтобы еще подали чай.

— Иван Александрович, я бы охотно провел с вами лишний час, но мое правило — не злоупотреблять снисходительностью. Вы мне дали срок пять минут, а я уже у вас добрых четверть часа.

— Ничего, ничего, — улыбаясь, сказал Иван Александрович, — у меня свободного времени найдется довольно, — и, заметя мой недоумевающий взгляд, продолжал: — Извините, я, сказав вам, что у меня нет свободного времени, сказал неправду. Вы удивлены?

— Да, есть таки.

— Я это сказал, чтобы иметь возможность поскорее отделаться от гостя, если это понадобится. В данном случае этого не надо: вы не из таких посетителей, каких я остерегаюсь.

— Очень рад это слышать.

— Да, да, есть люди, которых я дал себе слово избегать. Один случай со мной был такой, которого я никогда не забуду. Может быть, я тут и ни при чем, а все-таки совесть меня тревожит. Вот тут, как повернете, выйдя из моей квартиры, к Невскому, есть бакалейная лавочка; я, как иду гулять, каждый раз прохожу мимо нее. Однажды, проходя, я заметил у дверей ее приказ-

чика, молодых лет парня; он поклонился мне, я ему, и с этого времени мы стали с ним размениваться поклонами каждый раз, когда я проходил мимо, — иду ли я из дома — приказчик у дверей и кланяется, возвращаюсь ли — опять то же; заметно было, что он, зная время моего прохода мимо лавки, старался не пропускать его. По прошествии месяца такого моего знакомства с приказчиком мне однажды утром прислуга докладывает, что меня спрашивает какой-то неизвестный. Я приказал просить,— смотрю, входит приказчик бакалейной лавки, знакомец по шапкам; в руках его — сверток бумаг. Войдя, он молча поклонился и стал у дверей.

«Что вам угодно?» — спросил я.

«Да вот, я к вам, Иван Александрович; как вы порешите?» — робко произнес приказчик и подал мне сверток бумаг.

«Это что?» — спросил я.

«Это, Иван Александрович, мои сочинения, я стихи-с пишу, товарищи хвалят, да и сам я полагаю, что они складные, а впрочем, может, и не того... Будьте так добры, явите божескую милость, прочтите мои стихи и скажите мне о них свое суждение».

«Хорошо, я прочту; этак через неделю приходите».

Приказчик ушел.

Стал я просматривать стихи, — никуда не годятся, ни строки поэзии — одно рифмоплетство, и только.

Через неделю приходит приказчик.

«Прочитали-с?» — спрашивает.

«Прочитал; хорошего в ваших стихах, по-моему, мало, и мой вам совет — оставить сочинительство и заниматься своим делом», — отвечал я.

Он молча взял обратно рукопись, молча поклонился и ушел.

На другой день иду мимо лавки; смотрю, приказчик, завидя мое приближение, отвернулся и уже меня обычным поклоном не встретил. Иду обратно — опять то же. Неделю спустя иду — приказчика в лавке что-то не видать; проходит еще неделя — его все не видать; захожу купить нарочно какую-то мелочь, спрашиваю о приказчике, — и что же узнаю?! Он в доме умалишенных, и причина помешательства — сочинение стихов. Это меня сильно поразило. Мысль, уж не я ли с своим резким приговором стал причиной его несчастья, долго не

давала мне покоя, и я дал слово по возможности избегать знакомства с начинающими литераторами и не браться судить их произведения. Из разговора с вами я понял, что вы не из тех, знакомства с которыми я избегаю.

— То-то вы, Иван Александрович, если я не ошибаюсь, с некоторым беспокойством посматривали на это,— я дотронулся до принесенной мной пьесы, бывшей на конкурсе.

— Да, да, — улыбаясь, сказал Иван Александрович, — вы угадали, я побаивался, чтобы вы не навязали мне читать свое произведение, с тем, чтобы потом дать вам свой отзыв о нем. Это что же у вас?

— Пьеса, бывшая на конкурсе.

— Которую предстояло мне читать?

— Да. Комедия в четыре акта.

— Велика, принесите-ка мне что-нибудь одноактное. Есть?

— Есть-то есть, только не знаю, когда могу вам принести: они у артиста Нильского.

Надо заметить, мои одноактные пьесы уже более месяца были у Нильского для прочтения, и он все только обещал прочесть их и не только не читал, но и не возвращал, отзываясь недосугом. Я перестал заходить к нему, оставя выручку пьес до великого поста.

— Зачем? Прочесть дали? Напрасно! Авторы дают артистам читать пьесы, а они не только не читают их, но случается, что и затеривают. Не знаю, как ваши, московские артисты, а наших, питерских я знаю. Нильский ваши пьесы до второго пришествия не прочтет.

— А ведь, пожалуй, Иван Александрович, мне спорить с вами не придется: мои пьесы у Нильского уже около двух месяцев, месяц я ходил за ними без результата и оставил выручку их до поста, — полагаю, что Нильскому неловко будет тогда сослаться на недосуг.

— Вот, вот, видите — не прав ли я... — и Иван Александрович рассмеялся.

— Я уже просил его возвратить пьесы нечитанными — не возвращает.

— Ха-ха-ха, потому что забыл, куда положил.

— Я видел, куда он их положил, взяв у меня.

— Ну так вы их получите невредимыми: они лежат там, идите и берите.

— Но Нильский говорит, что уже начал читать, одну немного не дочитал.

— Неправда. Он ее и в руки не брал, — уверенно произнес Иван Александрович.

На следующий день я был у Нильского и выручил пьесы не без курьеза.

Не успел я дернуть ручку колокольчика у дверей Нильского, как они распахнулись. Отворивший мне их с низкими поклонами заговорил:

— Пожалуйте, ваше сиятельство, господин Нильский вас ожидают, — и, поспешно взяв мое пальто, распахнул дверь в гостиную и побежал доложить обо мне Нильскому.

По всему было видно, что ожидалось какое-то сиятельство и человек, так как я перед тем долго не был у Нильского, забыл меня и принял за другого. Войдя в гостиную, я взглянул на верхнюю полку этажерки, — пьесы мои, слегка покрытые пылью, лежали там: их Нильский туда при мне положил два месяца тому назад.

Не прошло и двух-трех минут, как Нильский поспешно вошел; он был не в халате, как обыкновенно принимал меня, а в черной паре и, еще не входя в комнату, проговорил:

— Виноват, ваше сиятельство, заставил вас ожидать...

Войдя в комнату, он смешался и прибавил:

— Ах, это вы! А мне сказали, что пришел князь. Он на днях привез мне свою пьесу для прочтения, и я ему назначил сегодня срок.

— То-то и человек ваш принял меня не по-прежнему — весьма приветливо величал сиятельством, пригласил в гостиную и бегом отправился с докладом к вам. Что же, вы прочли княжескую пьесу?

— Дела по горло, а надо было прочесть — обещал.

— А мои? Конечно, давно прочли?

— Ах, извините, начал, начал, немного осталось дочитать... на днях кончу.

— Мне они нужны, вы, пожалуйста, возвратите мне их, хотя они не прочтены.

— Да мне немного осталось дочитать, как-нибудь зайдете — они будут готовы.

— Не трудитесь дочитывать, я останусь доволен и тем, что вы их начинали читать.

— Если уж так вам скоро нужны пьесы, то, пожалуй, я вам их возвращу, не дочитав. — И Нильский вышел, но спустя несколько минут возвратился заметно в замешательстве.

— Вы за пьесами ходили? — спросил я.

— Да... Они у меня в кабинете... или в спальной... Я брал их читать. Пожалуйста, придите на днях... Я их приготовлю.

— Чтобы вас еще раз не беспокоить, я могу пьесы сейчас получить: они, мне помнится, вами вот тут положены, — и я, сняв с полки пьесы, стряхнул с них пыль.

— А... да... я... их брал читать... и... — сконфуженно проговорил Нильский; я поспешил проститься и ушел.

— Выручили пьесы? — был вопрос Ивана Александровича, когда я к нему пришел.

Я рассказал, каким образом выручил.

— Ну вот, вот, не прав ли я?.. Долго бы вам пришлось выручать пьесы, — сказал Иван Александрович и, взглянув на мои пьесы, прибавил: — Чтобы не терять времени, я пьес читать не буду. Вы их при моем письме отнесете к Юркевичу, от него зависит прием и постановка на Александринском театре. Хотя я с Юркевичем знаком мало и редко вижусь, но, по всему заметно, он благоволит ко мне: как только ставят новую пьесу, так Юркевич шлет мне билет, ложу или кресло, хотя я и не бываю. У меня к Юркевичу письмо готово. Я прошу его помочь вам провести ваши пьесы на сцену Александринского театра. Надеюсь, Юркевич мою просьбу исполнит.

Я, поблагодарив Ивана Александровича, взял от него письмо и отправился к Юркевичу.

Юркевич встретил меня в прихожей и довольно холодно спросил, что мне надо.

Я сказал, что пришел с письмом от Ивана Александровича, и вручил Юркевичу письмо. Он ушел, но по прошествии нескольких минут появился в дверях кабинета и уже ласково заговорил:

— Вы от многоуважаемого Ивана Александровича, очень, очень приятно с вами познакомиться. Как себя чувствует наш знаменитый романист? Как его здоровье? Не помню, когда его видел; очень, очень благодарен вам: благодаря вам я имею счастье получить письмо от Ивана Александровича. Сюда, в мой кабинет, пожалуйте, — проговорил Юркевич, вводя меня в кабинет, —

пожалуйста, садитесь и извините меня, я только прочту письмо.

Я сел. Юркевич начал читать письмо; оно было на целом листе, Юркевич читал его медленно, раза три прерывал чтение и, обращаясь ко мне, улыбаясь, говорил:

— Уж извините, позвольте дочитать, сами знаете, от кого письмо — ведь оно от нашего маститого писателя.

Три раза во время чтения письма повторял это Юркевич, а я, слушая его извинения, думал: «Если он с таким уважением относится к Ивану Александровичу, то непременно исполнит его просьбу: пьесы мои будут на сцене Александринского театра».

Окончив чтение письма, Юркевич аккуратно сложил его, вложил в конверт и, спрятав в ящик письменного стола, сказал:

— Иван Александрович рекомендует мне ваши пьесы, просит провести на сцену Александринского театра; очень рад познакомиться с вами; у нас теперь, исключая А. Н. Островского, почти ничего нет, мы очень, очень рады новинкам. Только вы, того, на первый раз дайте нам что-нибудь маленькое, одноактовое, скорее рассмотрим.

Я подал Юркевичу две одноактовых пьески, прося его, прежде представления в комитет, прочесть их.

— Да, да, так я и сделаю, а вы к нам в комитет во едину от суббот понаведайтесь.

При свидании с Иваном Александровичем я передал ему свой разговор и процедуру чтения письма.

— Теперь вас можно поздравить со вступлением ваших пьес на сцену Александринского театра, — сказал Иван Александрович, выслушав меня.

— Да, но только благодаря вам. Я слышал, что без протекции на сцены образцовых театров трудновато попасть.

— Говорят, но всему, что говорят, верить нельзя. Хорошее и без протекции может проложить себе дорогу.

— Когда обратят на него должное внимание, а для того, чтобы обратили внимание на хорошее, еще неизвестное, ему надо протекцию.

— Да, разве за малым исключением, вы правы, — немного подумав, согласился Иван Александрович.

«Во едину от суббот» я наведался в комитет и спросил Юркевича. Он вышел ко мне и, как бы видя меня впервые, спросил, что мне надо.

Я сказал.

— Ах, извините, это вы... Я ваши пьесы передал в комитет, пожалуйте во едину от суббот.

Началось мое хождение «во едину от суббот», и проходил я в комитет полтора месяца, каждую субботу.

Результат моих хождений «во едину от суббот» был таков, что мне секретарь комитета «во едину от суббот» возвратил пьесы, передавая от имени Юркевича, что комитетом мои пьесы не одобрены.

Когда я шел из комитета, меня догнал какой-то господин, лицо которого мне было как будто знакомо, но где я его встречал, я припомнить не мог. Остановив меня, незнакомец сказал:

— Вы меня не знаете, я занимаюсь в комитете, который вы только что оставили. Полюбопытствовал, прочел ваши пьески и скажу без лести: они хороши и могли бы быть приняты, но вам что прежде всего нужно, деньги или слава?

— Конечно, деньги.

— Вы сами подали пьесы в комитет?

— Нет, их подал Юркевич по рекомендации Ивана Александровича.

— Положим, рекомендация веская... Но... Эх, если бы вы сами от себя явились к Юркевичу и предложили ему купить пьесы в собственность.

— То что же?

— Он бы у вас купил, дал бы им другое название, поставил бы свое имя. И вы имели бы удовольствие видеть свои пьесы на сцене Александринского театра.

— Неужели все это правда?

— Если не верите, испытайте: поручите кому-нибудь из знакомых продать Юркевичу вашу пьесу — конечно, не из тех, которые были у него, и чтобы сделка была без свидетелей, — и я ручаюсь, он купит пьесу, а затем под другим названием, с именем Юркевича появится на сцене.

— Наконец, Иван Александрович, мое хождение в комитет «во едину от суббот» кончилось, — сказал я Ивану Александровичу, после того как мне были возвращены пьесы.

— Приняты? Поздравить? Очень рад, — пожимая мне руку, весело проговорил Иван Александрович.

— Нет, возвращены неодобренными, — сказал я и передал слышанное от чиновника комитета.

— Признаться, и я это слышал, есть такой слух — только верить ему не хочется. Мой совет вам: пишите повести, рассказы, сказки, стихи, все это найдет место в журналах, в газетах, в приложениях, даст вам если не рубли, то гроши, а драма — за малым исключением — самый неблагодарный труд, драму, не принятую на сцену образцовых театров, редакторы и читать не станут, издатель не возьмется и даром издать, а если издаст, то она у него заваляется. Антрепренеры провинциальных театров по большей части люди или неразвитые, малограмотные, боятся сметь свое суждение иметь о пьесах и пьес, не игранных на столичных сценах, и в руки не берут, или хотя и имеющие понятие о литературе, но по лености тоже не возьмут в руки пьесы неизвестного автора и ставят пьесы хотя никуда не годные, но игранные в столицах. Драматическое писать можно прежде всего для своего удовольствия, а дальше — будь, что будет. Вот хотя бы взять и это: уж на что больше иметь было вам шансов на то, что ваша пьеска будет принята, а между тем... Нет, еще раз скажу вам: пишите рассказы, пишите повести, а драмы — между прочим, и ждите иного времени.

Весной я уехал из Петербурга, и когда потом, спустя несколько лет, опять пришлось мне быть в нем, Ивана Александровича уже не было в живых.

В. М. Спасская

ВСТРЕЧА С И. А. ГОНЧАРОВЫМ

В 1881 году я вместе с своими двумя сестрами проводила лето на Рижском взморье, в Дуббельне. Мы жили на Мариенбадской (теперь Гончаровской) улице, на маленькой отдельной дачке, недалеко от кургауза, тогдашнего Aktienhaus, куда часто ходили по вечерам послушать хороший берлинский оркестр, погулять по парку и по морскому берегу.

Во второй половине июня кто-то сказал нам, что в Дуббельне живет и тоже часто бывает в парке Акциенгауза Иван Александрович Гончаров. Мы, конечно, загорелись желанием увидеть хоть издали знаменитого писателя. Имя Гончарова было одним из наших любимых имен в литературе. Кто из нашего поколения еще в детстве не зачитывался увлекательными страницами «Фрегата „Паллады“»? А дальше шло знакомство с «Обыкновенной историей», которая своим изображением победы житейской прозы над мечтами и иллюзиями молодости оставила в юной душе такое раздумчиво-меланхолическое чувство, затем с печальной судьбой несносного, но все же милого Ильи Ильича Обломова и со всем сонным бытом обломовщины. А наконец «Обрыв»! Как манил он наше воображение еще на школьной скамье! Под каким строгим интердиктом держали эту книгу институтские власти! Когда же, при более гуманных и свободолюбивых веяниях, внесенных в институтские стены новой инспекцией, она была разрешена, по крайней мере для воспитанниц выпускного класса, и стояла, доступная им, на полках библиотеки, то и тогда ее отнимала у читаю-

щих беспощадная начальническая рука. С тем бо́льшим энтузиазмом глотали мы «Обрыв» потом, на свободе!..

Марка Волохова нам было трудно простить автору. Воспитанные преимущественно на чтении английских романов с их добродетельными и корректными героями и совершенно далекие от реальной жизни, мы отнеслись к этому образу с полным неприязни недоумением. Фигура Райского, интересная и симпатичная, часто возбуждала, как это и должно было быть по замыслу романа, смешанную с жалостью досаду. Но женские образы «Обрыва»! Какое высокое художественное наслаждение доставляли они и как дороги становились читателю! Несравненная бабушка Татьяна Марковна, восхитительная в своей наивной прелести Марфинька, так напоминающая белоснежный душистый ландыш, но еще более Вера, вся обвеянная такой чарующей и такой царственной красотой. Один молодой человек из кружка наших знакомых, отличавшийся тонким вкусом и ярко выраженным литературным дарованием, каждый год, точно совершая какое-то священнодействие, перечитывал сызнова «Обрыв» и называл это: ходить на свидание с Верой.

Мы стали всюду разыскивать И. А. Гончарова, но никак не могли найти лица, отвечающего тому представлению, какое мы о нем имели по знакомым нам фотографиям его несколько бюрократического типа. Потеряв надежду встретить писателя, мы решили, что известие об его пребывании в Дуббельне есть не что иное, как ложный слух, и что Гончаров и не думал приезжать на Рижский штранд.

Июнь подходил к концу. 24-го в зале Акциенгауза давался большой вечерний концерт, на котором были и мы. По окончании его один из наших дуббельнских знакомых быстро подошел к нам и с оживлением сказал: «Гончаров здесь и сидит на веранде, направо от входа». Мы устремились туда.

Действительно, на указанном месте сидел за столиком рядом с молодой еще дамой невысокого роста старичок, в котором мы сразу узнали черты И. А. Гончарова.

Теплая волна читательской благодарности нахлынула на меня. Обыкновенно застенчивая, немного даже дикая, я, в внезапном порыве, смело подошла к

Ивану Александровичу и от лица всех русских женщин стала выражать ему восторженную признательность за дивные художественные произведения, подаренные им русской литературе, и в особенности за пленительные женские образы, созданные его гениальной кистью.

При моем приближении Иван Александрович сейчас же встал; легкая тень неудовольствия скользнула по его лицу. Но когда он услышал мою безыскусственную речь и искренние звуки моего голоса, дрожавшего от волнения, его прекрасный лоб разгладился и приветливо засияли его большие голубые глаза.

— Сударыня, — с старомодной любезностью сказал он, когда я умолкла,— сегодня я именинник, и ваше приветствие — лучший венок, какой я мог бы получить в этот день.

Он пожелал узнать, кто я, сказал несколько милых слов и моим сестрам и познакомил нас с сидевшей возле него дамой, его давнишней приятельницей, москвичкой, как и мы. Узнав, что наш отец был профессором Московского университета, он с теплотой отозвался о своей alma mater и о Москве, в которой давно уже не бывал, с сожалением упомянул о том, что нездоровье помешало ему в предыдущем году приехать на пушкинские празднества, приуроченные к открытию памятника поэту.

Мы откланялись Ивану Александровичу и, обласканные его добрым взглядом, пошли домой, радостные и умиленные вдвойне, наслаждаясь теплым июньским вечером и мягким плеском волн о прибрежный песок. Не раз после этого встречали мы И. А. Гончарова то в парке, во время музыки, то гуляя в тихие вечера на пляже, когда море светилось нежными перламутровыми переливами или пламенело, принимая в свою глубь красный диск заходящего солнца. И всегда Иван Александрович узнавал нас и сам вступал в разговор с нами.

Он любил Рижское взморье, часто проводил здесь лето и, перебывав на всевозможных заграничных морских купаниях, все-таки находил, что нигде нет тянущегося на такое далекое пространство пляжа, как здесь, такого мелкого, устланного тонким песком дна, такой целебной по своему составу воды. Некоторую досаду возбуждала в нем здесь строгая регламентация дамских и мужских часов для купанья. Ему случалось иногда забыть, что в такой-то час мужчинам запрещается ходить

по берегу; он шел гулять, и вдруг его прогонял грозный окрик: «Jetzt ist es Damenstunde!» *

Иван Александрович, видимо, сторонился общества и искал уединения, так что по большей части мы встречали его одного. Иногда он прогуливался с талантливым петербургским педагогом Соколовым, занявшим впоследствии видный пост в министерстве народного просвещения и рано умершим. Приветливо, как с хорошей знакомой, раскланивался Иван Александрович с жившей это лето в Дуббельне известной юристкой А. М. Евреиновой, впоследствии основательницей и редактором журнала «Северный вестник». Но собеседников, с которыми он мог бы по-дружески, что называется, душу отвести, у Ивана Александровича как будто не было, и он с сожалением вспоминал об А. Ф. Кони, в обществе которого провел здесь же, в Дуббельне, предыдущее лето, и с жаром говорил о мягкой деликатности и редкой чуткости Анатолия Федоровича.

Как и мы, Иван Александрович жил на отдельной даче, с тремя детьми своего умершего слуги [1], которых всюду возил за собой, трогательно о них заботясь. Старшей девочке было лет одиннадцать, младшей — девять или восемь, мальчик был, кажется, еще меньше. Все трое весело резвились на кругу в компании других детей. Помню как сейчас тоненькие фигурки в красных платьицах и белокурые головки этих двух девочек, особенно умильное личико младшей, когда старичок писатель любовно шутил с ней, называя ее в виде ласки лягушонком. Мать сирот жила при них и прислуживала Ивану Александровичу. «Иногда мне курочку изжарит», — сказал он как-то, выражая свое недовольство немецкой кухней.

Мы предлагали позаняться с детьми, но оказалось, что он сам ежедневно занимается с ними русским языком и арифметикой и читает им Евангелие, а музыке девочки ходили учиться к m-me Веденисовой, той даме, с которой мы его видели в первый раз. С удовольствием, но без малейшего следа тщеславия или кичливости рассказывал нам Иван Александрович, как в Петербурге высочайшие особы балуют детей, дарят им куклы и другие игрушки.

---

* Теперь дамский час (*нем.*).

Как известно, Гончаров дал этим сиротам законченное образование, старшую девочку поместил в консерваторию и сделал впоследствии всех троих наследниками своего состояния.

О своих произведениях Иван Александрович говорил неохотно; мы это заметили и остерегались его расспрашивать. Как раз в 1881 году вышли в свет его «Четыре очерка», в последнем из которых, «Лучше поздно, чем никогда», он высказал о своей литературной деятельности все то, что желал и что находил нужным сказать. И ничего почти нового он к этому и не добавил в своих беседах с нами, но иногда как бы пересказывал отдельные места статьи, так, например, свой приезд на родину после долголетнего отсутствия и нахлынувший тогда на него поток дорогих воспоминаний. С тихой нежностью говорил он о своей матери, многими чертами которой воспользовался при изображении бабушки в «Обрыве», вызывал перед нами образ своей старушки няни, кроткого, смиренного и самоотверженного существа, всю жизнь свою положившего за других, и с грустью указывал на то, как много таких существований проходит у нас незамеченными и неоцененными. Упоминал Иван Александрович и о своей статье о Белинском, о том, как она возникла из письма к А. Н. Пыпину, говорил о своей горячей привязанности к великому критику. Заходила речь и о кругосветном плавании Ивана Александровича на фрегате «Паллада», и здесь он более всего оживлялся. Вообще же в ту пору И. А. Гончаров (ему было в то время шестьдесят девять лет) производил такое впечатление, точно он навсегда отошел от писательской деятельности. Любимое чтение его составляли описания путешествий, и нам он тоже советовал читать побольше подобных книг. Стихов, по его словам, он совсем не читал последние годы и вообще мало интересовался новейшими писателями и поэтами. Говоря это, не уступал ли он, может быть, лишь внушенному такой душевной деликатностью желанию уклониться от необходимости выражать перед собеседниками свое мнение о тех или других деятелях новейшей изящной литературы?

Из своих современников он более всего восхищался могучим талантом Писемского, хотя и сожалел о недостаточной художественности его формы, и особенно горячими похвалами осыпал его «Плотничью артель».

У Достоевского выдвигал на первый план «Записки из мертвого дома».

Старшая сестра моя жаловалась иногда Ивану Александровичу на несколько пугавшую ее во мне склонность к энтузиазму и чрезмерный, по ее мнению, культ героев. «Jetez de l'eau froide, jetez de l'eau froide *, как говорят французы», — шутливо отвечал он на это.

«Писатели... писатели такие же люди, как и все; так и надо смотреть на них, — сказал он как-то в другой раз. — Ну, Тургенев — другое дело, у него уж такая фигура! А вот меня так очень часто принимали за голландского купца» **.

Но уже совсем другой тон, тон благоговения, слышался в его голосе, когда он говорил о Пушкине, которого считал своим учителем. Иван Александрович рассказывал, как юношей он видел однажды великого поэта в церкви; Пушкин стоял, прислонившись к колонне, задумчивый, сосредоточенный. Другой раз он встретил его в книжном магазине.

И. А. Гончаров был искренно и глубоко религиозен. Помню, с какой задушевностью передавал он нам содержание своей беседы с священником православной церкви в Дуббельне (своим внешним обликом напоминавшим Николая-чудотворца, как его обыкновенно изображают) на тему одной из его проповедей.

Музыку Иван Александрович слушал с удовольствием, но не всякую. Сладкие звуки Россини легко и свободно вливались в его душу, нежа и лаская ее. Но музыка более серьезного, трагического, так сказать, характера в эти годы уже утомляла, порой даже раздражала его нервы.

Чуть не с отчаянием говорил он о петербургских квартирах, где нет возможности спастись от фортепианных упражнений консерваторок. Что было бы с ним теперь, в эпоху царства граммофонов!

Иногда в разговоре с нами Иван Александрович переносился мыслью к своей жизни за границей, особенно в Париже, к парижским театрам со всем их

---

* Полейте холодной водой *(франц.)*.

** «Постным маслом пахнет», — замечал иногда И. А. Гончаров, когда ему приходилось выслушивать чересчур восторженные, как ему казалось, отзывы о его произведениях. *(Прим. автора.)*

своеобразным строем, с продажей апельсинов и мороженого в антрактах, с нарядными и учтивыми уврёзами.

Некультурность русской жизни сравнительно с заграничной глубоко огорчала его. «У нас не посторонятся перед женщиной, находящейся в почтенном положении, — говорил он, — перед женщиной, которой в древнем Риме это положение давало право на особенное внимание и почет. У нас ребенка, который упал и плачет, не поторопятся поднять».

Несмотря на некоторую замкнутость натуры И. А. Гончарова, на его способность съеживаться и прятаться от взоров, казавшихся ему любопытными и назойливыми, на его несомненное родство с noli me tangere * в растительном мире, чем-то удивительно мягким и благожелательным веяло от всего его существа.

Помню, услыхав как-то в разговоре, что мы были накануне на вечере в Акциенгаузе, он спросил: «И молодые люди были с вами любезны?» Простые слова, но их милая, отеческая интонация до сих пор звучит в моих ушах.

Не могу, с другой стороны, вспомнить без улыбки один маленький инцидент, очень характерный для Ивана Александровича. К нашей компании нередко присоединялась одна молодая дама из Майоренгофа. Мы познакомились с ней случайно, в дороге. С очень эффектной наружностью, высокая и стройная, она, отчасти вследствие своего полунемецкого происхождения, отчасти как провинциалка, была несколько эксцентрична в своих туалетах и немножко жеманна и манерна. Однажды мы сидели в парке с Иваном Александровичем, слушая музыку; с нами была и эта дама, сидевшая немного поодаль. Вдруг, в антракте, изящно перегнувшись к писателю, она громко спрашивает его: «Monsieur Гончаров, вы женаты?» Надо было видеть, какой испуг отразился на лице милого старичка! Он поднял обе руки и, как бы отмахиваясь от какого-то страшного призрака, энергично запротестовал: «Нет, нет! Никого! Никогда!»

Кроме матери, Иван Александрович в беседах с нами никогда не касался никого и ничего, имевшего отношение к его личной жизни.

---

* Не тронь меня (*лат.*).

Между тем лето проходило. Весело справили в Акциенгаузе ежегодный праздник рижского певческого общества «Баян» — с подписным обедом, пением и застольными речами. Гончаров не присутствовал на этом торжестве. Вскоре после того мы узнали, что он уже назначил день для отъезда своего пароходом в Петербург, но собирается уехать украдкой, чтоб избежать всяких проводов. Накануне назначенного им дня (это было в конце июля) я, с записной книжкой в руках, подкараулила его при выходе его после обеда из кургауза, чтоб проститься с ним и попросить его написать в моей книжке свое имя. Размашистым почерком, заполнив всю страничку, он написал несколько любезных слов, прося при воспоминании Дуббельна вспоминать немного и о нем. Здесь я видела его в последний раз.

К Новому году я послала ему в Петербург поздравительное письмо, причем решилась попросить у него на память его фотографическую карточку. Письмо я адресовала в редакцию «Вестника Европы». Вскоре пришел ответ от И. А. Гончарова, помеченный 8 января 1882 года и с указанием его адреса: Моховая, дом № 3.

Иван Александрович выражал сожаление, что не может исполнить моей просьбы и прислать мне свой портрет: у него остались только бракованные экземпляры, которые он намеревался уничтожить. В ожидании же того времени, когда он соберется пойти сняться к фотографу, он посылал мне свою визитную карточку с фотографией в миниатюре, сделанную когда-то в Париже и случайно уцелевшую в его портфеле в одном экземпляре. Очень тронутый, по его словам, моим вниманием, Иван Александрович и меня просил принять его искренние поздравления с Новым годом и из всех своих желаний мне всякого блага выбирал и посылал мне самое лучшее, по его мнению, желание: чтоб я и мои сестры нашли «прекрасных, достойных нас мужей».

Должна признаться, что это главное пожелание Ивана Александровича, которое он высказывал нам и раньше, в Дуббельне, далеко не польстило мне тогда и показалось даже узкобуржуазным. Не о том тогда мечталось, совсем не то носилось в воображении. Но теперь, через тридцать лет, перечитывая эти пожелтевшие от времени строки, начертанные старческой рукой, я нахожу так понятным, что И. А. Гончаров, так хорошо

знавший жизнь с ее подводными камнями и обрывами и сам, в своем одиноком существовании, лишенный семейного тепла и уюта, именно счастливый брак считал самым надежным оплотом против холода, царящего в пустыне мира, и против всяких гроз и бурь океана жизни. Недаром заставляет он в своем романе бабушку Татьяну Марковну отдать Веру под защиту простого, но такого хорошего и честного человека, как Тушин.

Я, конечно, поспешила выразить Ивану Александровичу свою горячую благодарность за письмо и карточку, но, кажется, именно в этот раз имела неосторожность упомянуть о проскользнувших в широкую публику слухах, будто он пишет новый большой роман, и о наших радостных ожиданиях. Боюсь, что это произвело неприятное впечатление на И. А. Гончарова, так тщательно оберегавшего от посторонних свои литературные планы. Нового романа мы так и не дождались. По газетным известиям и по частным сведениям у Ивана Александровича в это время уже начала развиваться болезнь глаз, грозившая ему полной потерей зрения, и вообще здоровье его все более и более расстраивалось. Лишь в самом конце восьмидесятых годов появился в «Ниве» ряд его высокохудожественных, проникнутых мягким юмором очерков под общим заглавием «Слуги». Вскоре после того в «Вестнике Европы» мы прочли «Нарушение воли».

Под впечатлением изложенного здесь завещания И. А. Гончарова долго не решалась я занести на бумагу свои воспоминания о нем. Но появившиеся за последнее время в печати некоторые статьи, рисующие его холодным, черствым эгоистом, рассеяли мои колебания.

По всей вероятности, эти беглые заметки покажутся читателям бледными и неинтересными, но мне думается, что они все-таки могут внести лишний штрих в характеристику И. А. Гончарова и, может быть, окажутся не совсем бесполезными для его биографов.

В печальные для меня годы, наступившие после моей встречи с знаменитым писателем — годы тяжелого недуга, горьких сомнений и разочарований, — воспоминание об его светлой и глубоко гуманной личности поддерживало и нравственно укрепляло меня, и это чувство вылилось в неудачном по форме, но искреннем стихотворении к нему как к учителю родной страны, своей ве-

ликой душой провидевшему ее пробуждение. Тогда я этого стихотворения не послала. Но спустя несколько лет, когда я достигла некоторого душевного равновесия, приняв страдание и найдя скромный, но доступный для себя труд, я написала Ивану Александровичу о том, что мне пришлось пережить за эти годы, и вложила в конверт стихи. Получил ли он мое письмо, прочел ли его, не знаю. Это было, кажется, года за два до его кончины.

Я сказала в начале своих воспоминаний, что трудно было простить Гончарову Марка Волохова, с точки зрения неопытных институток. Еще сильней и по гораздо более глубоким причинам негодовали за этот образ на автора более зрелые люди среди современников Гончарова и ближайших к нему поколений.

Но творец «Обломова» и «Обрыва» был и остается не только живым и ярким бытописателем своей страны в известные эпохи ее жизни, но сильным художником и тонким психологом. С течением времени то, что оскорбляло и больно задевало многих из нас в образе Марка Волохова, сгладится и забудется, а неприятно поражавшее и коробившее нас увлечение Веры этой грубой фигурой явится, может быть, для будущих читателей лишь мастерским воплощением той жизненной загадки, которая веками не находит себе разрешения и которую в таких неувядаемых чертах изобразил Шекспир в шутке Оберона над Титанией[2].

И. И. Ясинский

ИЗ КНИГИ «РОМАН МОЕЙ ЖИЗНИ»

С Гончаровым я познакомился... в 1882 году. Он прочитал в «Отечественных записках» мою повесть «Всходы» и сказал Евгению Утину, у которого иногда бывал, как у сотрудника и «родственника» «Вестника Европы» (издатель «Вестника Европы» Стасюлевич был женат на его сестре), что желал бы повидаться со мной. Утин приехал за мною и повез меня на Моховую, где в одном из домов, во дворе, уже много лет кряду проживал знаменитый писатель.

Это было весною. Я был болен, собирался на юг, картины и мебель сбыл за бесценок, вещи были упакованы, я уже простился с друзьями и с удовольствием поехал в погожий, ясный день к Гончарову.

Горничная отворила дверь, впустила в невзрачную переднюю и пошла доложить обо мне и Утине.

Быстро вышел к нам нехуденький, невысокий, лет семидесяти, не очень седой человек в серой паре и приветливо протянул руки.

— Пожалуйте, пожалуйте, сюда, в кабинет!

В кабинете он занял кресло за письменным столом, поджав под себя ногу. Мы сели по другую сторону стола. Глаз мой охватил как-то сразу все подробности обстановки Гончарова. В ней было много несомненно обломовского: тот же диван стоял у стены, уже изрядно усиженный, картина косовато висела над ним. Положительно те же туфли-шлепанцы высовывались из-под дивана. На стене, за Гончаровым, блестели под стеклами литографии с изображением героинь его романов. По-

одаль, на старинном ломберном столе красного дерева, стояли в золоченых бронзовых рамках портреты августейших особ. Там же красовались столовые часы, поднесенные «Вестником Европы» Гончарову в день его сорокалетнего [1] литературного юбилея.

Проследив за моим взглядом, Гончаров сказал:

— Портреты эти с личными надписями: «Дорогому Ивану Александровичу» и т. д. Они народ любезный и вежливый, и я берегу. А это портрет моей любимой собачки, ныне — увы — уже скончавшейся, писанный Николаем Ивановичем Крамским [2]. А это довольно-таки неудачные литографии. Я должен вам сказать, впрочем, что писателя не может удовлетворить ни одна иллюстрация к его произведениям, в особенности если художник тоже натуралист. Я не узнаю ни Марфиньку, ни Веру. Каждый художник по-своему понимает и представляет другим художником созданные образы [3]. Так вот, значит, молодое поколение появилось наконец нам на смену, — перешел он на меня и, вызвав мое смущение, сказал: — Я давно не читал ничего такого яркого и прямо скажу...

Я оборву тут на секунду рассказ, не стану повторять того, что похвального сказал по моему адресу Гончаров. К тому же мнение его обо мне было высказано им письменно в обращении к одной даме, напечатанном в «Ежемесячных сочинениях» [4]. Я тогда принял его слова за комплимент. Начинающие беллетристы в то время были скромного мнения о себе; по крайней мере я не придавал большого значения своим опытам. Гончаров, однако, в письме, вскоре ставшем известным мне, утвердил меня в некоторой вере в свои силы.

— А недавно, я слыхал, молодежь какой-то адрес собиралась послать Тургеневу. По какому поводу? Болен он, что ли? — вдруг спросил Гончаров.

— Нет, адреса никакого не собираются посылать Тургеневу, сколько мне известно, — отвечал Утин. — Не правда ли? — обратился он ко мне. — А что Тургенев болен, так это факт, и печальный.

— Печальный, согласен... Но он такой мнительный, чуть что, бывало, он сейчас за докторами. А на самом деле сколочен на диво — топором. Не то, что я. Одно время, надо заметить, мы были друзьями. Я его высоко ценил, он ведь европейски образованный человек. Таким

образом, я прочитал ему, как критику и знатоку искусства, главу из «Обрыва». Я ведь медленно пишу, десятками лет. Прочитал — глядь, уж у него напечатаны «Накануне», и «Дворянское гнездо», и «Рудин», и целиком взяты женские типы у меня. Тогда я порвал с Тургеневым. Он прыткий, за ним не угонишься... Нет, молодой человек, — сказал мне Гончаров, — никогда не делитесь образами, идеями, замыслами даже с лучшими вашими друзьями, если они писатели, не читайте им готовых, но еще не напечатанных книг — оберут как липку! Всем делитесь, чем хотите, но не духовными сокровищами, пока не доставайте из-под спуда, не хвастайте ими с глазу на глаз, берегите для всех!..

Я, кажется, возразил что-то в защиту Тургенева. Утин толкнул меня ногой под столом. Гончаров оживился и стал сравнивать разные места из своих сочинений и сочинений Тургенева. Сходства было мало.

— Между прочим, я узнал, что Тургенев, разобиженный за то, что я укорял его в плагиате, ставит мне в вину мое цензорство. Но ведь и Майков — цензор и Полонский — цензор.

— В иностранной цензуре служат, — пояснил мне Утин.

— Ну да, в иностранной — в цензуре! Не все ли равно?! — вскричал Гончаров. — Правда, что они ничего не делают, а я день и ночь работал. Правда, что я служил в общей цензуре. И знаете, чем я стяжал себе реноме сурового цензора? Борьбою с глупостью. Умных авторов я пропускал без спора, но дуракам при мне дорога в литературу была закрыта. Я опускал шлагбаум и — проваливай назад. Да, я сам против цензуры, я не сторонник произвола, я — литератор pur sang *. Но надо беречь литературу от вторжения глупости. Ни один редактор не пропустит в журнал глупую повесть или статью. А почему же литература должна быть в этом отношении свободна?

— А где же набрать Гончаровых? Много ли их? — спросил я.

Глаза Утина, похожие на две черные крупные вишни, засмеялись.

Гончаров вскочил с места.

---

* Чистокровный *(франц.)*.

— Это уж другой вопрос, господа. Это уж ad hominem *, а не принципиально!

Беседа была прервана средних лет человеком, низко поклонившимся Гончарову еще у дверей.

— Имею честь наименоваться — художник Наумов.

— Пожалуйста, что вам угодно?

— Вы изволили быть современником незабвенного Виссариона Григорьевича Белинского и, наверно, бывать у него, а я хочу изобразить тот момент его жизни, когда он, больной чахоткой, лежит у себя и жандарм справляется об его здоровье[5]. Так мне нужно было бы знать приблизительно, какая была обстановка в его кабинете? Где стоял стол, книжный шкаф, диван?

Гончаров в нескольких словах удовлетворил его, пояснив, что у Белинского он бывал довольно редко, хотя игрывал с ним в преферанс. Белинский жил тогда на Лиговке, во дворе.

Художник все время стоял, занес кое-что в записную свою книжку и откланялся, а Гончаров переменил разговор и стал советовать мне не сходить с того «своеобразного» художественного отношения к действительности, которое я проявил во «Всходах».

— Ваш «Бунт Ивана Ивановича»[6], который вы напечатали в «Вестнике Европы» в прошлом году, мне меньше понравился.

— Вы все читаете, Иван Александрович?

— Всё, все решительно, ни одно литературное явление не проходит для меня незамеченным. Сам почти не пишу, а слежу за молодой литературой в оба.

С старосветской вежливостью Гончаров прошелся с нами до дверей и пожелал мне поправиться от моего кашля.

— А докторам, с одной стороны, верьте, а с другой — не верьте: они сплошь и рядом ошибаются. Еще увидимся.

Он был прав. Я выздоровел на юге и увиделся с Гончаровым десять лет спустя в приемной журнала «Нива»[7]. Старик потерял уже один глаз и страшно осунулся, но узнал меня и разговорился.

— Литература падает, — начал он, сидя со мной на диванчике, — потому что в унижении. И отчего она так

* К личности (*лат.*).

унижена, не понимаю. Уж на что время Николая Павловича было тяжелое, а этой приниженности как будто не было. Был гнет, а унижения не было. В то время бывали низкие писатели, вроде Булгарина, и даже раздавленные, но не было униженных.

Вышел Маркс, седой, сутуловатый, высокий, поздоровался с нами и обратился к Гончарову на ломаном языке:

— Ну, дорогой Иван Александрович, мне ошень и, наконец, ошень приятно сказать вам, что рассказы ваши мы принимаем, и я буль ошень и, наконец, ошень удивлялся, когда я встрешал не совсем по-русски выражение, которые я указываль моему редактору, штоб исправлял.

— Возможно, возможно, Адольф Федорович, — покорливо сказал Гончаров, — что я не совсем хорошо знаю русский язык, и благодарю вас. Стар стал и кое-что, должно быть, забываю.

— Ну, ничего, — одобрил Маркс Гончарова. — Хорошо иметь одна ум, но двое умов лютше, чем одна.

Он снисходительно пожал руку великому человеку и попросил его пройти в контору и получить деньги. Горячая краска залила мне лицо. Вот оно, засилие мещанства! Вот унижение литературы! Я наговорил дерзостей Марксу, перешел на ты, впал в дурной тон, обругал его неграмотной немчурой (незадолго перед тем Маркс посетил меня, не застал меня и оставил записку: «Буль у вас, Сам Маркс»). Я надолго порвал с «Нивою». Редактор Клюшников выскочил за мной на лестницу и благодарил за урок, данный мною издателю.

Вскоре Гончаров умер. Отпевали его в Казанском соборе[8], похоронили в Александро-Невской лавре. За гробом шло мало литераторов...

* * *

В другой раз — случилось это уже в следующем году — Утин пригласил, по моей просьбе, Гончарова на чашку чая.

— Никого не будет, кроме вас, Бибикова, конечно, меня; а Кони и Андреевского я приглашу для оживления. Ведь вы помните, какое чудо Гончаров, когда нач-

нет говорить. А как удивительно просто и живописно рассказывает он о своих встречах и путешествиях! Как сохранился старик, какой живой ум!

В назначенный час, предвкушая великое наслаждение, приехали мы с Бибиковым, и, с царственной точностью, пожаловал Гончаров. Ему было с лишком за семьдесят лет, он двигался, смотрел и говорил, как молодой человек, бодро и возбужденно.

Уселись за круглый стол, и Гончаров, которого все считали консерватором, да он и был таким в общественной жизни, стал вспоминать с увлечением пятидесятые и шестидесятые годы.

Но тут появились Кони и Андреевский, тоже талантливые знаменитости, привыкшие хорошо говорить и в особенности сосредоточивать на себе внимание. Кони немедленно прервал Гончарова и стал подавать шестидесятые годы в своем освещении, а адвокат Андреевский любезно и грациозно оспаривал его и выдвигал свою точку зрения. Гончаров вежливо подождал, не спорил и, оставя в стороне шестидесятые годы, перешел к характеристике Салтыкова как писателя и заговорил о русском юморе, который бывает...

— Или тихим, безобидным смехом... — подхватил Андреевский.

— Или гневной и бичующей сатирой, поднимающейся до высот сардонического хохота, — любезно прервал Андреевского Кони.

Кони долго говорил, уже не прерываемый, и говорил превосходно, остроумно и литературно; но хотелось слушать не его. Когда он кончил, Гончаров взглянул на часы, ни слова не сказал больше о Салтыкове и о русском юморе и начал было о грядущих судьбах русского художественного слова; но и тут у знаменитых юристов нашлось свое авторитетное мнение об этом предмете, и они поспешно высказали его с подобающей логикой и убедительностью.

Гончаров мало-помалу увял, простился церемонно с хозяином и с нами и, как ни упрашивал Утин, не остался ужинать и уехал к себе на Моховую.

— Чудак старик! — сказал вслед ему Андреевский, ероша на затылке свои прекрасные черные волосы и не замечая взгляда ненависти, устремленного на него Бибиковым.

П. П. Гнедич

ИЗ «КНИГИ ЖИЗНИ»

В восьмидесятых годах в Петербурге, на Моховой улице, на Сергиевской, иногда на набережной Невы и в Летнем саду, изредка на Невском, можно было видеть маленького старичка с палкой, в синих очках, неторопливо совершающего свою обычную прогулку. Он не замечал, или старался не замечать, проходящих. Только иногда, сидя на скамейке Летнего сада, поглядывал он менее строго на гуляющих и с подходящими знакомыми вступал даже в разговоры. Это был автор «Обломова» и «Обрыва» — Иван Александрович Гончаров.

От прежнего Гончарова, каким его знали и рисовали современники, остались только слабые искры. Ворчливый, привередливый, замкнутый в своей маленькой квартире на Моховой, он всех чуждался. Его уважали, но звали чудаком и как будто избегали. Мне в ту пору доводилось его встречать в Русском литературном обществе, занимавшем то помещение, где теперь, со стороны Мойки, помещается ресторан «Медведь». В восьмидесятых годах я читал в драматической школе, что была при обществе, историю театра, заместив П. Д. Боборыкина, уехавшего за границу. На школьные экзаменационные спектакли съезжалось много публики. Раз приезжаю я — оказывается, целое событие: кроме обычных посетителей — «діда» Мордовцева, Григоровича, Случевского, Плещеева,—приехал и Иван Александрович.

Застал я его сидящим в самом благодушном настроении с артисткой Н. С. Васильевой, которая преподавала у нас в школе.

Увидя меня, она воскликнула:

— А вот и автор!

Оказывается, она звала Гончарова посмотреть в Александринском театре мои «Горящие письма», где играла главную роль. Гончаров посмеивался, опираясь на свою палочку, и говорил:

— Я в театры не хожу. Приехал на ваш экзамен, чтоб увидеть спектакль, должно быть, последний раз в жизни. А «Горящие письма» мне дома прочли два раза. Такой тонкий диалог, я полагаю, со сцены пропадает. Когда я подумаю, что для того, чтоб попасть к вам в театр, надо заранее выбирать день, посылать за билетом, надевать галоши, шарф, шубу, нанимать извозчика, даже карету, ехать, вылезать, толкаться, раздеваться на сквозном ветру, потом искать свое место, потом опять одеваться, разыскивать карету...

Артистка смеялась, посмеивался и Иван Александрович, постукивая об пол костыльком. Когда ее позвали на сцену и стали звонить к началу спектакля, он взял меня под руку и сказал:

— Будьте моим ангелом-хранителем, сведите меня в первый ряд и наставляйте меня на добрый путь; главное, покажите, которая Пасхалова, мне про нее наговорили много.

Я усадил его и сел рядом.

Увы! Благодушие его тянулось недолго. Поднялся занавес, и началось представление. Иван Александрович делался все беспокойнее и беспокойнее. Он вслушивался в текст, поворачивал то одно ухо к сцене, то другое и наконец спросил:

— Что это за пьеса?

— «Месяц в деревне», — ответил я.

Он помолчал, а потом спросил:

— Чья пьеса?

Я сказал.

— Тургенева? Гм...

Он повернулся боком на стуле.

— А скажите, как фамилия этих учениц?

Я начал называть.

— А учеников?

Я и учеников назвал.

— А это кто сидит налево во втором ряду?

Я сказал, что не знаю.

— А Пасхалова — внучка Мордовцева?

— Кажется, внучка.

— А скоро они кончат?

Словом, он перестал слушать пьесу и, как только опустили занавес, собрался домой.

Его стали удерживать.

— Нет, я стар для такого времяпровождения, — стараясь улыбнуться, говорил он. — Мне уже тяжело. Вот меня проводит мой архангел до прихожей, покажет дорогу, и я отправлюсь к себе на боковую.

И уехал.

Через несколько времени встречаю его возле Летнего сада.

— Рад, что вас встретил. В мои годы писать трудно. Вы увидите вашего председателя *. Скажите ему от меня серьезно, что нельзя так обращаться с людьми моего возраста, как обращаетесь вы.

Вижу, старик волнуется, я успокаиваю:

— В чем дело, Иван Александрович? Все сейчас устрою, что желаете.

— Помилуйте! Вчера вечером звонок. Заметьте, уж поздно. Какие-то переговоры с прислугой. Спрашиваю: что такое? Оказывается — повестка. Какая повестка? Зачем повестка? Мне никаких повесток ниоткуда не надо. Начинаю разбирать. Оказывается — приглашают меня на очередное собрание, слушать какой-то реферат...

Он посмотрел на меня, вызывая на сочувствие.

— Всем членам рассылают повестки, — рискнул сказать я и раскаялся. Разыгралась совсем сцена из «Обломова», когда Захар объяснил Илье Ильичу, что «все так переезжают».

— И пусть всем посылают повестки, а меня увольте! — возвысил он голос и даже махнул костылем. — Нельзя тревожить больного старого человека повестками. Доживите до восьмидесяти лет — тогда поймете, что этим не шутят. Предупреждайте письмом по почте... А то еще телеграммы вздумаете присылать. Надо же хоть немного иметь снисхождение к моему возрасту.

И он пошел дальше, сердито постукивая палкой и опираясь на молодую девушку, служившую ему поводырем.

---

* Председатель у нас был П. Н. Исаков. *(Прим. автора.)*

Потом я спрашивал Григоровича:

— За что он так против Тургенева?

— Милый друг, это несноснейший в мире характер. Гончаров всегда в настроении мнимой чесотки: все ему кажется, что чешется кожа, и он от этого не может спать. Ему казалось, что Тургенев украл у него Марка Волохова и перекрасил его в Базарова. Потом они примирились. А потом он услышал, как Тургенев говорил, что Обломов, Захар и Штольц — это Подколесин, Степан и Кочкарев Гоголя, и что, в сущности, Обломов так же выпрыгивает в окошко, как и Подколесин, и что у Захара совершенно такие же блохи, как и у Степана. Вот этого Иван Александрович и не может простить.

В Александро-Невской лавре, куда свезли Гончарова [1], я долго с Григоровичем ходил по кладбищу, и оказалось, что у него среди покойников еще больше знакомых, чем среди живых. Он знал биографию каждого из них в изумительных подробностях. Он мне рассказывал о каких-то статс-дамах, камергерах, меценатах, коммерции советниках, помещиках. В конце концов мы оба простудились: он схватил грипп, а я — инфлуэнцу.

Я уже сказал выше, что нельзя встретить литератора, который так или иначе не был причастен к театру. Гончаров внес крупный вклад в чахлую сокровищницу театральной литературы своей статьею «Мильон терзаний». Он первый поставил на надлежащее место бессмертную комедию Грибоедова и опроверг мнение Белинского, что в комедии нет идеи, что Софья не действительное лицо, а призрак, что Чацкий ни на что не похож и что «Горе от ума» не есть художественное создание. Близорукость Белинского по отношению Грибоедова проявилась и по отношению Тургенева: он предсказывал ему будущность писателя, который никогда не поймет женской души. Гончаров первый указал, что Чацкий — живое лицо, пережившее и Онегиных и Печориных, пережившее весь гоголевский период, лицо, которое будет волновать еще много поколений, как страстный обличитель всего дряхлого, старого и искатель новых форм жизни. Статьей этой Гончаров больше сделал для отечественной драматургии, чем авторы десятков пьес, загрязнивших только наш репертуар.

Л. Н. Витвицкий

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ И. А. ГОНЧАРОВЕ

В восьмидесятых годах И. А. Гончаров проживал неоднократно на даче в Дуббельне. Это дачное место ему очень нравилось, и морские купанья, а также целебный морской воздух, напоенный ароматом сосны, действовали благотворно на его увядавшие силы.

Каждый раз, проведя лето в Дуббельне, он возвращался в Петербург закаленным к борьбе с дурными влияниями сурового климата нашей северной столицы. Для старика, каким был уже в то время Иван Александрович, он был еще очень свеж и бодр. Это был один из тех железных организмов, которые все реже встречаются в наше больное, нервное время. Живя восьмой десяток лет, он прекрасно сохранился, был хороший ходок, любил хорошо поесть и отличался неизменно светлым настроением духа, чуждым старческого брюзжания и пессимизма. Немного подкосила его потеря зрения на один глаз, которую он приписывал неискусству врачей и потому не особенно их долюбливал. Эта болезнь, нужно полагать, очень тревожила почившего, так как он часто говорил о ней.

Как и большинство истинно великих людей, И. А. Гончаров был очень скромен и даже робок в обращении с мало ему знакомыми лицами, так что подчас казался нелюдимым; но в действительности он был очень общителен и даже очень любил «поговорить», в особенности с теми, кто забывал в общении с ним, что имеет дело с европейской знаменитостью.

Всяких оваций и публичных чествований Иван Александрович боялся пуще огня и упорно отклонял все приглашения на обеды, торжественные собрания и т. д., ссылаясь на свои лета и недомогание. Не особенно охот-

но завязывал Иван Александрович и новые знакомства, но старые поддерживал довольно усердно.

В то время редакция «Рижского вестника» помещалась близ Двинской набережной, в ветхом доме, чуть ли не в мансарде под самой крышей. Взобраться туда для старика таких лет было немалым подвигом. Но Иван Александрович, проездом в Дуббельн, нередко заглядывал в это убогое помещение «рижских газетчиков», как он шутливо выражался, чтоб побеседовать о том, о сем. В утешение рижским газетчикам, скорбевшим, что им приходится принимать столь дорогого гостя в такой убогой храмине, помнится, Иван Александрович рассказал, что где-то в Америке он посетил редакцию газеты, помещавшуюся под открытым небом, и, посмеявшись от души, все согласились, что счастлив тот, кто малым доволен и утешается сознанием, что бывает и хуже.

Разговоры шли о самых разнообразных предметах, в том числе, конечно, о литературе, о путешествиях Ивана Александровича и т. п. Как вообще все старики, почивший любил говорить о прошлом, давно пережитом и охотно вспоминал различные эпизоды из своего пребывания в дальних странах. Речь его отличалась приятною мягкостью выражений и тонким юмором. В суждениях своих о людях, особенно же о писателях, Иван Александрович отличался крайнею благожелательностью и снисходительностью и, если не мог при всем желании приписать бездарности таланта, то старался, по крайней мере, отметить трудолюбие и добрые намерения. Эта прекрасная черта, редко встречающаяся, не оставляла его и тогда, когда ему приходилось говорить о писателях, которые далеко не отвечали ему такою же доброжелательностью.

Все это вместе взятое делало Ивана Александровича и в обыденной жизни личностью в высшей степени светлою и симпатичною, отрадные воспоминания о которой будут дороги всем тем, кому приходилось встречаться с ним...

О своих собственных произведениях Иван Александрович говорил не особенно охотно и был совершенно чужд того сияющего самодовольства и, так сказать, влюбленности в свои творения, которыми отличаются обыкновенно второстепенные авторы, хотя, конечно, и не мог не сознавать цены себе, в то время уже прочно установленной не только русскою, но и западноевропейской читающей публикой.

Иван Александрович прожил всю жизнь свою холостяком; во время его пребывания в Дуббельне при нем находились обыкновенно дети, о которых он говаривал, что они приняты им на воспитание. Относился он к ним с необычайною теплотой, и они составляли немалую усладу его тихой жизни на закате дней.

В последние годы поездки в сравнительно отдаленный Дуббельн стали для Ивана Александровича довольно тягостны, особенно после того, как в 1886 году он, простудившись, прохворал там несколько недель; он проводил поэтому лето в более близком к Петербургу Гунгербурге. Об означенной болезни Ивана Александровича в Дуббельне у нас сохранилась собственноручная его запись, которую он нам вручил при прощанье в вагоне для опубликования во всеобщее сведение, так как, пожалуй, говорил он, еще переврут и сделают слона из мухи. А он очень не любил, когда в газетах появлялись неверные о нем сведения, — это его волновало и расстраивало даже до комизма. В записи его, в то время опубликованной, значится: «И. А. Гончаров в начале августа простудился после купанья и занемог сильным катаром с воспалением левого легкого. Недели полторы он пролежал в постели. Профессор доктор А. Г. Полотебнов, проводивший также в Дуббельне лето, быстрыми энергическими мерами восстановил настолько силы г. Гончарова, чтобы последний мог совершить обратный путь до Петербурга, — но с крайнею, по предписанию г. Полотебнова, осторожностью. Железнодорожное начальство, узнав о состоянии больного, озаботилось устроить ему удобное помещение для переезда, чтобы в пути болезнь не усилилась от какой-нибудь случайности, сквозного ветра и т. п.»[1].

Переезд совершился благополучно, и Иван Александрович оправился затем совершенно от болезни. Повторение ее свело ныне его в могилу.

И. А. Гончаров в последние годы своей жизни посвящал немало времени составлению своих мемуаров. Это произведение знаменитого писателя будет, конечно, иметь выдающееся литературное значение. Нужно полагать, что появившиеся в последнее время в печати литературные мелочи Гончарова представляют отрывки из означенных мемуаров.

В. И. Бибиков

И. А. ГОНЧАРОВ

«Сей старец дорог нам...»
А. Пушкин [1]

В текущем году творцу бессмертной трилогии («Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв») исполнится семьдесят восемь лет. В то время как его младший товарищ, Лев Толстой, вызывает чуть ли не каждый день газетные и журнальные толки у нас и за границей, о И. А. Гончарове в печати проскальзывают редкие слухи, большею частью о состоянии его здоровья, которое в прошлую зиму вызывало опасения. К счастью, эти опасения миновались, и в литературных кружках уже говорят, что издателем «Нивы» приобретена для напечатания в будущем году новая повесть автора «Обрыва» [2].

О литературных заслугах и о значении Гончарова в русской поэзии говорить в предлагаемой статье не для чего, они всем известны. Напомню только, что *единственным* продолжателем Гоголя (в точном смысле этого определения) является Гончаров, и его Обломов выдерживает сравнение, нисколько от него не теряя, наряду с Чичиковым, Собакевичем, Маниловым, Хлестаковым и другими вечными образами великого сатирика.

Последние произведения И. А. Гончарова — «Слуги», «Воспоминания», — помещенные в «Вестнике Европы», и статья «Последняя воля» [3], напечатанная в том же журнале всего лишь в прошлом году, также пользуются всеобщей известностью, и о них можно сказать, что автор «Обломова» и в преклонных летах сохранил всю прелесть своего могучего таланта. Достаточно сказать,

что одно предисловие к «Слугам» с успехом выдержит сравнение с лучшими страницами «Фрегата „Паллада“», а выше этой похвалы трудно придумать, если вспомнить, что «Фрегат „Паллада“» вместе с «Путешествием в Эрзерум» Пушкина до сих пор остаются неувядаемыми образцами путевых записок.

Отличительной чертой характера И. А. Гончарова является скромность, кроющаяся, разумеется, в сознании своих сил. Никогда Гончаров не писал никаких писем личного характера в газеты или журналы, никогда он не принадлежал ни к какой литературной партии, никогда и никакими другими путями, кроме чистого творчества, он не искал популярности. Боязнь всего, что может походить на рекламу, доходит в нем до крайности. В одном из своих писем, напечатанных в «Нови», он убедительно просит Писемского вычеркнуть из какой-то пьесы автора «Горькой судьбины» цитату из его, Гончарова, сочинений. Этой просьбе посвящена бо́льшая половина письма [4].

И. А. Гончаров живет уединенной, замкнутой жизнью, никогда не появляясь ни на каких литературных вечерах, обедах или юбилеях, и в Литературном обществе, почетным членом которого И. А. Гончаров состоит со дня его основания, мне удалось видеть Ивана Александровича всего один раз.

Это было три года тому назад, весною. В театре «Фантазия», где прежде помещалось Литературное общество, к двенадцати часам утра собрались литераторы подписывать приветственный адрес Аполлону Майкову, накануне пятидесятилетнего юбилея поэта. Самый лист адреса, украшенный виньетками Каразина, лежал в первом этаже дома, в канцелярии общества, и почти каждый литератор, подписав свою фамилию, поднимался во второй этаж, где, в зале собраний общества, под председательством Я. П. Полонского происходило заседание комитета по устройству юбилейного торжества. К зале собрания примыкала при входе небольшая гостиная с мягкой мебелью, в которой сидели писатели, не принимавшие участия в комитете. Время от времени в гостиную входили и члены комитета повидать новоприбывших. Говорили о предстоящем юбилее, юбилейном обеде, подписка на который превзошла ожидания, завязывались и отдельные разговоры.

В это время на пороге гостиной показался старик среднего роста в больших синих очках (консервах), вошедший в комнату в сопровождении молодой девушки. «Гончаров!» — шепотом сказал кто-то, и в гостиной вдруг наступила тишина. Председатель Литературного общества, П. Н. Исаков, подошел к маститому беллетристу и проводил его к дивану, стоявшему у окна, в глубине гостиной. И. А. Гончаров сел, снял очки и положил их на стол. Некоторые из присутствующих подошли к нему. В каждого подходящего Иван Александрович сначала пристально вглядывался, не без труда узнавая знакомых, и пожимал протянутую руку. Увидя одного из близких знакомых, он радушно улыбнулся и удержал возле себя. «Я хочу прочитать вам свое письмо к Аполлону Николаевичу!» — сказал он.

Иван Александрович читал свое письмо вполголоса. Во время чтения из залы заседания вышел Я. П. Полонский и направился к Гончарову. Пожав руку Гончарова и не заметив письма, Полонский остановился у стола.

— Нет, это секрет! — сказал Иван Александрович, указывая на письмо.

— А если секрет, так я уйду! — добродушно отвечал певец «Кузнечика-музыканта» и возвратился в залу.

Чтение письма окончилось. На вопрос Гончарова, одобряет ли слушатель содержание приветственного стихотворения в прозе (иначе нельзя назвать это письмо: такой поэзией дышит оно), собеседник, разумеется, отвечал утвердительно. Гончаров отдал ему письмо для прочтения на юбилейном празднестве и выразил желание подписать адрес. Узнав, что лист для подписей лежит внизу, он хотел уже идти туда, но председатель общества распорядился послать служителя. Принесли адрес, чернильницу и перо. Председатель положил лист перед Гончаровым и указал ему место для подписи. Указанное место приходилось под самым текстом адреса, над фамилиями уже подписавшихся писателей.

— Вы хотите меня выделить? — с укоризной сказал Гончаров. — Я подпишусь в конце, здесь: мне хочется смешаться с толпой.

Но председатель, не помню уже, под каким предлогом, убедил И. А. Гончарова подписаться наверху, на самом видном месте.

Нечего говорить, что во все время пребывания Гончарова в гостиной Литературного общества я не сводил с него глаз. Я видел его первый раз в своей жизни...

Портрет, приложенный к полному собранию сочинений Гончарова, имеет теперь с ним мало общего. Там его довольно полные щеки обрамляют бакенбарды, теперь Иван Александрович носит бороду. Кроме того, спустя несколько лет после выхода в свет полного собрания сочинений Иван Александрович имел несчастье потерять правый глаз, вытекший от многолетних вечерних занятий и чтения по ночам. Но этот недостаток не сообщает, как можно было бы ожидать, ничего отталкивающего выражению лица Ивана Александровича. Превосходный и весьма схожий портрет И. Е. Репина, написанный с натуры два года тому назад и помещенный, к сожалению, в мало распространенном иллюстрированном журнале[5], подтверждает высказанное мнение. Исхудалое лицо дышит кротостью и мудростью. Чувствуется, что этот человек испытал и видел много, перестал удивляться и теперь «спокойно зрит на правых и виновных». Широкие плечи, довольно густые, хотя, разумеется, седые, волосы и весь склад фигуры свидетельствуют о счастливом, некогда могучем организме, сохранившем и в глубокой старости относительную бодрость. Звук голоса слабый, но внятный, без всяких пришепетываний и других старческих особенностей.

Адрес был подписан, и Гончаров поднялся с дивана. Председатель, прощаясь с Иваном Александровичем, любезно пенял ему за то, что он совсем забыл Литературное общество.

— Я почти никуда не хожу без провожатого, — отвечал Иван Александрович, — сижу дома и, как видите, уже склоняюсь к закату.

На другой день, на юбилее Майкова, одним из первых приветствий читалось письмо Гончарова. Поднялась буря рукоплесканий, долго не смолкавших, едва только чтец произнес: «Письмо Ивана Александровича Гончарова»[6]. Рукоплескания усилились, когда было окончено чтение письма, своевременно напечатанного во всех газетах, в котором И. А. Гончаров напоминает юбиляру, что он «последний из его учителей, оставшихся в живых», и заключает пожеланием, чтобы еще надолго со-

хранилась их дружба, «чистая, как (Аполлона Майкова) поэзия».

Около сорока лет Иван Александрович живет в доме Устимовича[7] на Моховой улице. Фотографический снимок его кабинета был помещен в журнале «Новь» два года тому назад[8]. Небольшая комната, посередине которой стоит обыкновенный письменный стол на двух шкафиках. Перед столом два кресла: одно с вогнутой спинкой соломенного плетения, для письменной работы, другое, возле, сбоку, кожаное, вольтеровское, для чтения. У стены книжный шкаф и мягкий диван. На письменном столе обращают на себя внимание часы с бронзовой фигурой молодой девушки, Марфиньки из «Обрыва». Эти часы — юбилейный подарок, поднесенный Ивану Александровичу от редакторов изданий, в которых он сотрудничал. На стенах висят картины: сцены и лица из его романов.

Показывая одну из этих картин знакомому беллетристу, Иван Александрович однажды сказал следующее: «Вот видите эту молодую девушку? Художник уверяет, что это Вера из «Обрыва»[9]. А между тем я воображаю Веру совсем другой и даже иначе одетой. Когда я сказал об этом художнику, он взял в руки роман и прочитал по книге описание наружности и одного из костюмов Веры: все черты и подробности действительно совпадают, а сходства никакого нет».

Я чувствую, что сведения, сообщаемые мною о маститом писателе, слишком скудны и отрывочны. Конечно, я мог бы значительно пополнить их сообщением ходячих литературных анекдотов, которых о Иване Александровиче Гончарове, как и о каждом великом писателе, наберется достаточно, но мне показалось это неуместным и не отвечающим целям этой статьи.

Впрочем, из множества известных мне анекдотов беру один, потому что он прибавляет нелишнюю черту к характеристике И. А. Гончарова.

Недавно в редакции журнала, куда по делу пришел Иван Александрович, находился некий офицер, явившийся с рукописью своего рассказа. Узнав, что перед ним Иван Александрович, он, как горячий поклонник произведений беллетриста, попросил редактора представить его знаменитому писателю. Желание его было исполнено.

Спустя несколько дней И. А. Гончаров вновь посетил редакцию этого журнала.

— Представьте, какая со мной случилась неприятность, — говорит он редактору, — иду я недавно по Невскому, вдруг подходит ко мне какой-то офицер. Память на лица у меня ослабела, и я долго не мог узнать его, пока он не напомнил мне, где мы с ним познакомились. Наконец я догадался, хотя некоторое замешательство все-таки произошло, и я невольно обидел молодого человека. А он такой милый, любезный: представьте, — с искренним удивлением говорил Иван Александрович, — «всего меня» читал и многое помнит. Пожалуйста, если увидите его, еще раз извинитесь за меня.

Не правда ли, удивление Гончарова, встретившего *любезного* молодого человека, который читал *все его* сочинения и *многое* помнит, характерно. Салтыков жаловался в последние годы, что он не знает читателя, что «писатель пописывает, а читатель почитывает» и живой необходимой связи между ними нет, но до такой поистине непостижимой скромности, насколько помнится, не доходил ни один писатель.

М. М. Стасюлевич

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ

И. А. Гончаров после кратковременной болезни — около трех недель — скончался в двенадцатом часу дня 15 сентября. Самая кончина его наступила так тихо, что в первое время окружающие приняли смерть за сон, последовавший немедленно по удалении врача, как это уже случалось не раз и прежде.

Мы навестили Ивана Александровича на его даче в Петергофе в последний раз 25 августа и нашли его здоровье в таком удовлетворительном положении, в каком давно уже не случалось нам его видеть. О значительном восстановлении его сил за лето можно было судить уже по тому, что он не только рассказал нам о том, сколько он «наработал» летом, но даже мог взять на себя труд прочесть один из трех очерков, продиктованных им в течение летних месяцев [1]. Если он тут же передал нам свои желания относительно этих рукописей — «на случай смерти» — и собственноручно повторил то же на обертке рукописей, то мы не могли видеть в этом какого-нибудь предчувствия, так как он в последние годы не раз делал подобную оговорку. Конечно, в его возрасте малейшая неосторожность могла повлечь за собою, совершенно неожиданно для окружающих, самые тяжкие последствия. Так это и случилось. Два дня спустя, 27 августа, он заболел так сильно острою, но вовсе не опасною во всяком другом возрасте болезнью, что можно было ожидать немедленной катастрофы; острая болезнь, однако, прошла и вместе с тем унесла с собою безвозвратно его последние силы. Это-то обстоятельство и было настоящей причиною его смерти, — и тем не менее организм покойного выдерживал борьбу со смертью

в течение двадцати дней. 6 сентября оказалось даже возможным благодаря небольшому улучшению перевезти больного с дачи на его городскую квартиру, где медицинская помощь могла быть более доступна. Еще за три дня до смерти, при консультации врачей, на которую был приглашен д-р Л. В. Попов, обнаружилось снова некоторое улучшение сравнительно с предыдущими днями, и только слабая деятельность сердца при затрудненном дыхании говорила о легкой возможности быстрого конца, несмотря на улучшение.

В те немногие дни, которые следуют за смертью, общество всегда пользуется возможностью непосредственно выражать свои отношения к заслугам такого таланта, каким владел Иван Александрович Гончаров. Несмотря на то, что преклонный возраст покойного отдалил день его кончины от времени появления в свет последнего его крупного литературного произведения более чем на двадцать лет, публика в течение четырех дней и в самый день погребения, 19 сентября, в Александро-Невской лавре, собиралась толпами на Моховой в квартире усопшего — более похожей на келью отшельника, — где он прожил около тридцати лет, и выражала самую живую симпатию к его памяти. Целые десятки лет, прошедшие со времени появления лучших произведений И. А. Гончарова и составивших ему прочную славу и почетное имя в нашей новейшей литературе, очевидно, не могли ослабить в обществе того впечатления, какое они производили в свое время, лет тридцать — сорок тому назад. Действительно, последним произведением его литературного творчества следует, собственно, считать роман «Обрыв», появившийся в нашем журнале в 1869 году, когда автору его было не более пятидесяти семи лет. Нельзя, конечно, было тогда ожидать от него скоро нового произведения, так как он, по-видимому, буквально следовал совету Горация держать девять лет под изголовьем свой труд, прежде нежели выступить с ним в свет: десять лет прошло тогда со времени появления «Обломова» (1868 год) [2], которому предшествовал «Фрегат „Паллада“» более чем за десять лет (1857 год), и только за десять лет перед тем появилась «Обыкновенная история» (1847 год). Но после «Обрыва» прошло тщетно и десять лет и двадцать лет, и этот роман так и остался без преемника. Знавшие покойного близко могут

при этом только свидетельствовать, что такой перерыв, или, вернее сказать, поворот, в литературной деятельности автора «Обломова» отнюдь не был результатом хотя бы малейшего падения в нем творческих сил; напротив — лица, имевшие с ним частые свидания и встречи, очень хорошо помнят, что перед ними по-прежнему оставался тот же умный, высоко и разносторонне образованный, подчас веселый и в высшей степени наблюдательный собеседник, которому, по-видимому, ничего не оставалось, как только взять в руку перо, чтобы создать что-нибудь новое, вполне достойное автора «Обломова». Объяснить такое, по-видимому, ненормальное явление может быть задачею только будущего биографа, который получит возможность войти в изучение всех подробностей внутренней жизни покойного и его литературных отношений.

Обыкновенно говорят, что в собственной его природе было много «обломовщины», что потому ему так и удался «Обломов»; но это могло только показаться тем, кто не знал его ежедневной жизни или увлекался тем, что действительно Гончаров охотно поддерживал в других мысль о своем личном сходстве с своим же собственным детищем. Между тем он был весьма деятельным и трудолюбивым человеком, всего менее похожим на Обломова. Его постоянно занимала мысль о создании чего-нибудь нового; это было видно из его интимных бесед, причем он всегда требовал безусловной тайны. Но незадолго перед смертью, в 1888 году, вероятно по неосторожности, он проговорился, так сказать, публично о том, что всегда тщательно хранил в тайне, а именно — в одном из писем к нам. Это письмо было получено нами за границей, и мы счастливым образом имеем теперь право сослаться на него без «нарушения воли» автора, так как письмо было уже напечатано нами в извлечении еще при жизни автора[3], а следовательно, с полного его согласия, в январе 1888 года; писано же в августе 1887 года, из Усть-Нарвы, где Гончаров проводил летнее время. В своем письме он повторил нам тот вопрос, с которым мы часто обращались к нему при наших встречах.

«„Что я делаю?" — спрашиваете вы меня из вашего прекрасного далека, с берегов Атлантического океана» (так писал нам Гончаров).

«Ничего, — сказал бы я по примеру прежних лет (действительно, этим словом он всегда начинал свой

ответ, но потом точно так же всегда сам увлекался охотою поговорить, как увлекся и теперь в письме). — Беру тепловатые морские ванны, гуляю по берегу, ем, пью и больше ничего (одним словом, — прибавим от себя, — Обломов да и только). *Но это не совсем верно:* я что-то делаю еще, но пока сам не знаю что... Помните, когда я вам показал из своего домашнего архива университетские воспоминания, вы заинтересовались ими и уверили меня, что их можно напечатать... Разбирая бумаги с пером в руке, я кое-что отмечаю и заношу на бумагу. «Для чего?» — спрашивал я и еще спрашиваю теперь себя. Если бы я (тут начинается обычный поворот его мысли в другую сторону) захотел похлестаковствовать, я бы сказал: «Допеваю, сидя на пустынном берегу, свои лебединые песни» [4]. Но я ничего никогда не пел и не допеваю; насмешники, чего доброго, пожаловали бы из лебедя в какого-нибудь гуся или спросили бы меня, может быть, не хочу ли я приумножить свое значение в литературе, внести что-нибудь новое, веское? Это на старости-то лет — куда уж мне! Причина, почему я вожу пером по бумаге, простая, прозаичная, а именно — от прогулок, морских ванн, от обедов, завтраков, от бездейственного сидения в тени, на веранде, у меня все-таки остается утром часа три, которых некуда девать...»

Действительно, эти строки писал уже семидесятипятилетний старец, испытавший в последнее время тяжкую болезнь, закончившуюся потерею правого глаза; но он и за двадцать лет перед тем говорил уже нечто подобное, а двадцать лет спустя как бы невольно сознался в том, что он и в семьдесят пять лет «что-то делал *еще*», кроме воспоминаний. Так оно и было в действительности; он никогда не мог отрешиться и не отрешался от прирожденной его таланту творческой деятельности; на появление же его имени в печати под статьей, принадлежащей какой-нибудь другой области литературы, он смотрел как на какую-то измену своему призванию. После напечатания «Обрыва» в 1869 году, года три спустя появилась в нашем журнале его столь известная критическая статья по поводу бенефиса актера Монахова, давшего «Горе от ума» (в 1872 году). После спектакля Гончаров в кругу близких ему людей долго и много говорил о самой комедии Грибоедова, и говорил так, что один из присутствовавших, увлеченный его

прекрасной речью, заметил ему: «А вы бы, Иван Александрович, набросали все это на бумагу, ведь все это очень интересно». На этот раз он обещал исполнить просьбу, хотя не без обычных для него в таком случае возражений и отнекиваний. Но напечатание этой статьи представило неимоверные затруднения, и мы думаем — именно по вышеуказанной причине. Теперь довольно только сказать, что статья была один раз уже набрана и опять разобрана; при напечатании оказалось, что статья явилась в корректурах с одною начальной буквой Г., и то после некоторой борьбы; в печати, в мартовской книге, под статьей были уже две буквы: И. Г.; на обертке той же книжки журнала явились все три буквы: И. А. Г., и только в конце года в алфавитном указателе 1872 года, при декабрьской книге, заглавие статьи могла сопровождать полная подпись автора. Не время и не место говорить теперь, как все это происходило, хотя это в высшей степени характерно; довольно заметить, что когда вся эта история окончилась к общему удовольствию, Иван Александрович любил сам вспоминать о ней и самым добродушным образом смеялся по поводу ее. «А как я хорошо назвал свой этюд: «Мильон терзаний»! — говаривал он. — Ведь это в самом деле был миллион терзаний и для меня и для вас; а читатель и не догадывается, почему я выбрал такое заглавие!»

Все подобное на поверхности представлялось в Гончарове капризом, но это вовсе не был каприз; он, наверное, и тогда, в 1872 году, «что-то делал еще», и ему была невыносима мысль, что имя его явится в печати под чем-нибудь, что не составляет для него настоящего дела. Правда, и в критике он оказался большим мастером, но в похвалах по поводу «Мильона терзаний» он видел что-то оскорбительное для себя, какой-то совет ему, который возникал только в его же душе, а именно — оставьте, мол, творчество, возьмитесь-ка лучше за критику! И таким образом можно было иногда огорчить его, думая быть ему приятным. Но все это — повторяем — являлось не результатом тяжелого, капризного характера, а вытекало из внутренней собственной его истории и из вышеприведенной нами мысли Гончарова о необходимости остаться верным истинному призванию своего таланта, как он лично и весьма справедливо понимал свой талант.

В самом конце восьмидесятых годов, в 1887, 1888 и 1889 годах, появились у нас его «Университетские воспоминания» (апрель 1887 года), «На родине», воспоминания и очерки (январь и февраль 1888 года), и в 1889 году (март), в заключение его деятельности, в нашем журнале было помещено литературное, так сказать, духовное завещание его под заглавием «Нарушение воли», столь памятное еще всем. Оно оканчивалось словами: «Завещаю и прошу и прямых и непрямых моих наследников и всех корреспондентов и корреспонденток, также издателей журналов и сборников всего старого и прошлого — не печатать *ничего* (курсив автора), что я не напечатал или на что не передал права издания и что не напечатаю при жизни сам, — конечно, между прочим, и писем. Пусть письма мои остаются собственностью тех, кому они писаны, и не переходят в другие руки, а потом предадутся уничтожению... У меня есть своего рода *pudeur* * являться на позор свету с хламом, и я прошу пощады этому чувству, то есть *pudeur*. Пусть же добрые, порядочные люди, «джентльмены пера», исполнят последнюю волю писателя, служившего пером честно, и не печатают, как я сказал выше, ничего, что я сам не напечатаю при жизни и чего не назначал напечатать по смерти. У меня и нет в запасе никаких бумаг для печати, — писал он в 1889 году, — это исполнение моей воли и будет моею наградою за труды и лучшим венком на мою могилу...»

Мы охотно напечатали тогда у себя такое литературное завещание, но это нисколько не помешало нашим, конечно самым дружеским, прениям по поводу возбужденного автором вопроса о «нарушении воли». Более всего мы настаивали на защите собственного же его возражения себе, заключающегося в этой же самой статье. Он сам одобрительно отозвался об издании писем Кавелина и Крамского, без их воли и немедленно после их смерти, и тут же сам, правда, заметил, что ему могут указать на такое коренное противоречие в его статье; в ответ же на такое естественное возражение он писал: «И теперь (то есть после возражения) повторю, что *не следует издавать лишнее в письмах, что мало интересно для всех...*» Вот что, следовательно, составляет существо мысли Гончарова, и с этим нельзя не согласиться, да,

* Стыдливость *(франц.)*.

впрочем, и вся его статья была вызвана действительно бесцеремонным отношением в нашей печати того времени к памяти умерших литераторов и нелитераторов; если в статье встречаются преувеличения, то они вполне оправдываются некоторой беспредельностью самой этой бесцеремонности, иногда выходившей за геркулесовы столпы.

Впрочем, мы, кажется, и сами вышли из тесных пределов того, что называют некрологом, и приблизились невольно к преждевременной пока области личных воспоминаний о покойном, который со временем, как мы сказали, представит хотя весьма трудную, но интересную и благодарную задачу для своего биографа во многих отношениях.

В своей частной жизни Иван Александрович Гончаров восполнил свое одинокое существование, взяв на свое попечение случайно оставшихся на его руках чужих детей по смерти их отца, находившегося у него в домашней службе, вырастил их и дал им хорошее воспитание, так что о нем можно было сказать словами Беранже: *«Heureux celui qui pouvait faire un peu de bien dans son petit coin»**, — и он сделал такое малое, бесшумное дело в своем действительно маленьком уголке и был вполне счастлив. В запечатанном письме, найденном в его столе, на наше имя, от 9 октября 1886 года он дает, между прочим, разъяснение всем своим посмертным распоряжениям; понимая, какую он мог оказать плохую услугу «тройке детей» — его собственное выражение, — дав им солидное среднее образование и не позаботившись в то же время о том, чтобы «поддержать их на первых шагах жизни», Иван Александрович Гончаров оставил им свое денежное имущество и движимость, кроме кабинета «с запертыми в нем помещениями», относительно чего он сделал особое распоряжение; в этих помещениях, как он говорит в письме, нет ничего ценного в имущественном смысле. Итак, покойный не только делал добро, но и умел его делать, — хороший пример тем благотворительным заведениям, которые оставляют всякую заботу о своих питомцах, раз последние отбыли срочное время в стенах заведения, а иногда такой срок кончается двенадцатилетним возрастом.

---

* Счастлив тот, кто в своем уголке мог сделать хоть немного добра *(франц.)*.

А. Ф. Кони

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ

Сто лет назад, в годину грома и молний Отечественной войны, у нас родились два человека, которым суждено было сыграть выдающуюся роль в родной словесности. Оба горячо и каждый по-своему любили Россию. Один, твердый во взглядах на ее призвание и нужды и стойкий в проведении в жизнь своих убеждений, сыпал, как кремень, при каждом прикосновении с действительностью искры ума, таланта, любви, негодования... Это был Герцен. А другой был тот, в чью память мы собрались здесь сегодня и кого хотим помянуть. Замечательно, что в тот же год в Англии родился Диккенс, столь любимый современными ему поколениями русских читателей и во многом сходный с Гончаровым в приемах и объеме своего творчества. Только что говоривший на этой кафедре академик Овсянико-Куликовский уже сказал нам о художнике великой силы, о бытописателе, умевшем в ярком образе отметить такое присущее нашей жизни явление, как обломовщина. Но рядом и в неразрывной связи с творчеством писателя стоит его личность. На ней я хочу преимущественно остановиться, хотя бы и в кратком очерке. На это дает мне право давнее знакомство с Гончаровым, которого я видел и слышал в первый раз еще вскоре по возвращении его из кругосветного путешествия. В начале семидесятых годов я снова встретился с ним и, сойдясь довольно близко, пользовался его неизменным дружеским расположением в течение последних пятнадцати лет его жизни. В моем жилище хранится толстая пачка его писем, полных жи-

вого и глубокого интереса, а со стен на меня смотрят Вера с Марком Волоховым и Марфинька в оригинальных рисунках Трутовского, с посвящением их автору «Обрыва»[1], завещанные мне последним. С мыслью о Гончарове связывается у меня благодарное воспоминание о впечатлениях юных лет в незабвенные для русской литературы времена, когда, в конце пятидесятых годов, как из рога изобилия, сыпались чудные художественные произведения — когда появились «Дворянское гнездо» и «Накануне», «Тысяча душ» и «Обломов», «Горькая судьбина» и «Гроза».

Не могу, однако, не коснуться свойств, условий и содержания его творчества. Обращаясь к *свойству* последнего, необходимо отметить его крайний субъективизм, то есть тот личный характер, которым оно всецело проникнуто. Произведения Гончарова — прежде всего изображение и отражение его житейских переживаний. Он сам сказал: «Что не выросло и не созрело во мне самом, чем я сам не жил, то недоступно моему перу; я писал свою жизнь и то, что к ней прирастало». Поэтому его личность тесно связана с его творчеством, и на последнем постепенно отражается все, что трогало его душу, как теплое воспоминание, как яркая действительность или как захватывающая его мысль и внимание картина. Говоря однажды о Толстом, он писал Валуеву, что Толстой набрасывает на жизнь широкую сеть и в нее захватывает разнообразные явления и множество лиц[2]. Но то же самое можно сказать и о нем самом. Зорко приглядываясь и чутко прислушиваясь к образам и звукам «прираставшей» к нему жизни, он переживал их в душе, и потому в его произведениях чувствуется не меньше «сердца горестных замет», чем «ума холодных наблюдений»; потому в них под прозрачной тканью вымысла видятся, как и у Толстого, частые автобиографические подробности. Вообще, если искать сравнения между крупными русскими писателями, то Гончаров ближе других подходит к Толстому, и у него, как у Толстого, почти отсутствует юмор. Изображая жизнь, он, конечно, не мог не отмечать вызывающих улыбку или смех людей, встречавшихся ему на жизненном пути и им перевоплощаемых в своих произведениях. Обломовский Захар, вестовой на «Палладе», «слуги» содержат в себе черты неподдельного комизма. Но это лишь плод тонкой

наблюдательности Гончарова. Там же, где он пытался создавать сложные комические положения, это ему не удавалось. Достаточно припомнить слабый в художественном отношении и почти карикатурный образ Крицкой в «Обрыве». Написав большой юмористический рассказ «Иван Савич Поджабрин», Гончаров потом сам от него открещивался и не допустил перепечатки его в полном собрании своих сочинений. У него, как и у Толстого (Толстого первой половины его творчества), нет в произведениях политических или общественных вопросов, которые ставились бы или разрешались автором. И это потому, что Толстого более всего интересовала нравственная природа человека вообще, независимо от условий, в которых ей суждено проявляться, а Гончаров стремился изобразить национальную природу русского человека, народные его свойства независимо от того или иного общественного положения. Поэтому, вероятно, Гончаров менее других выдающихся русских писателей был понятен иностранцам, и лишь много лет спустя после его кончины на него обратил внимание германской публики талантливый писатель Евгений Цабель[3], а уже в самые последние годы им стала заниматься и восхищаться итальянская критика. Может быть, некоторым сходством в творчестве объясняется и то особенно теплое чувство, с которым говорил мне Толстой о Гончарове в 1887 году в Ясной Поляне, прося передать ему свой сердечный привет и выражение особой симпатии, несмотря на весьма малое с ним личное знакомство.

Другой особенностью, свойственной творчеству Гончарова, была *выношенность* его произведений, благодаря которой «Обломов» и «Обрыв» — в особенности второй — писались долгие годы и появлялись сначала в виде отдельных, имевших целостный характер отрывков. Так, «Обломову» за несколько лет предшествовал «Сон Обломова», а «Обрыву» — тоже за много лет — «Софья Николаевна Беловодова». Гончаров точно следовал рецепту замечательного художника-живописца Федотова: «В деле искусства надо дать себе настояться; художник-наблюдатель — то же, что бутыль с наливкой: вино есть, ягоды есть — нужно только уметь разлить вовремя». Медлительному, но творческому духу Гончарова была несвойственна лихорадочная потребность высказаться по возможности немедленно, и этим в значительной степени

объясняется гораздо меньший успех «Обрыва» сравнительно с двумя первыми его романами: русская жизнь опередила медлительную отзывчивость художника. Ему было свойственно страдальчески переживать тяжелые муки рождения своих произведений. Он часто сомневался в себе, падал духом, бросал написанное и принимался за то же произведение снова, то не доверяя своим силам, то пугаясь разгара своей фантазии. Так, он писал в 1868 году М. М. Стасюлевичу: «Морально вы осмысливали мой труд («Обрыв»), предсказывая его значение, и поселили и во мне вместо прежней недоверчивости к самому себе некоторую уверенность к написанному и бодрость — идти дальше. Теперь я смелее гляжу вперед, — и плодом этого то, что все стоит у меня в голове готовое, как будто то, что крылось так долго где-то внутри меня, вдруг высыпало, как сыпь, наружу. Ах, если б совсем уже в течение лета нарвало и прорвалось. Как это нужно! Тогда бы я оправдался и перед публикой в долгом молчании... Теперь вся перспектива открылась передо мной до самой будущей могилы Райского с железным крестом, обвитым терниeм». В том же году он писал тому же: «У меня мечты, желания, молитвы Райского кончаются, как в музыке, торжественным аккордом, апофеозом родины, России, божества и любви. Я просто боюсь этого небывалого у меня притока фантазии, боюсь, что маленькое перо мое не выдержит, не поднимется на высоту моих идеалов». Но он, однако, знал цену этих мук творчества. Когда в половине восьмидесятых годов почетный академик К. Р. сообщил ему, что трудится над большой поэмой[4], которая стоит ему то неимоверных усилий, то радостных мгновений, то минут отчаяния, он отвечал: «Вот эти-то минуты отчаяния и суть залоги творчества! Это глубоко радует меня... Если б их не было, а было одно только доброе и прекрасное, тогда хоть перо клади».

К *условиям* творчества Гончарова, кроме его медлительности, относилась и тяжесть самого труда, как орудия творчества. Сомнения автора касались не только существа его произведений, но и самой формы в ее мельчайших подробностях. Это доказывают его авторские корректуры, которые составляли, подобно корректурам Толстого, истинную муку редакторов. В них вставлялись и исключались обширные места, по нескольку раз переделывалось какое-либо выражение, переставля-

лись слова, и уже подписанная к печати корректура внезапно требовалась обратно для новой переработки. Поэтому рабочая сторона творчества доставалась ему тяжело. «Я служу искусству, как запряженный вол», — писал он Тургеневу. Вспоминая свою литературную деятельность, он сказал мне в 1880 году: «Помните, что говорит у Пушкина старый цыган Алеко: «Ты любишь горестно и трудно, а сердце женское — шутя»; вот так и я пишу — горестно и трудно, а другим оно дается шутя». Эта «горестная и трудная» работа для успеха своего нуждалась и в особой обстановке. С одной стороны, он — русский человек до мозга костей — не был способен к размеренному, распределенному на порции труду — по стольку-то страниц в день, как это делал, например, Золя; а, с другой стороны, когда внешние обстоятельства и личное настроение складывались гармонически, он был способен работать запоем. Из письма его к С. А. Никитенко в 1868 году из Киссингена оказывается, что он, засев за «Обрыв» после разных колебаний, написал в две недели своим убористым и мелким почерком шестьдесят два листа кругом, что должно составить от двенадцати до четырнадцати печатных листов. При этом, однако, он нуждался в абсолютной тишине. «В моей работе, — писал он Стасюлевичу из Мариенбада, — мне нужна простая комната, с голыми стенами, чтобы ничто даже глаз не развлекало, а главное — чтобы туда не проникал ни один внешний звук, чтобы вокруг была могильная тишина и чтобы я мог вглядываться и вслушиваться в то, что происходит во мне, и записывать. Да, тишина безусловная, и только». А затем он извещал Стасюлевича, что против него поселилась какая-то «чертова кукла» и повергла его в полное бездействие почти непрерывной в течение дня игрой на фортепиано.

К *условиям* творчества Гончарова надо отнести отсутствие полной свободы для литературных занятий. Он не был обеспечен материально, как Толстой и Тургенев, а этого обеспечения литературный труд, даже в самом разгаре писательства Гончарова, давать не мог даже для скромной жизни. Достаточно сказать, что за уступку авторского права на все свои сочинения в половине восьмидесятых годов он получил всего шестнадцать тысяч рублей. Современные гонорары писателям, далеко не

имеющим значения Гончарова, показались бы в то время совершенно баснословными. Поэтому ему приходилось служить и, следовательно, отдавать значительную часть своего времени государственной службе. Ему пришлось занимать место цензора, быть редактором официальной «Северной почты» и окончить службу, по выслуге скромной пенсии, в звании члена Главного управления по делам печати. К своим служебным обязанностям он относился, как человек строгого долга, глубоко добросовестно в смысле труда и с благородной самостоятельностью мнений, всегда направленных на защиту мысли, дарований и правды. Это было не легко и требовало притом усиленной письменной работы. В записках Никитенко содержатся неоднократные указания на его деятельность в этом именно смысле. Обнародованные в последнее время доклады его в Главном управлении[5] показывают, с какой настойчивой убедительностью и искусством приходилось ему оберегать литературную ниву от того, чтобы она не обратилась в «поле, усеянное мертвыми костями». А между тем его думу и душу тянуло к писательству. Он сам говорит о своих первых впечатлениях на этом поприще: «Чтение и писание (лично для себя) выработало во мне перо и сообщило, бессознательно, писательские приемы и практику. Чтение было моей школой, литературные кружки того времени сообщали мне практику, то есть я присматривался ко взглядам, направлениям и т. д. Тут я только, а не в одиночном чтении и не на студенческой скамье, увидел — не без грусти, — какое беспредельное и глубокое море литература, и со страхом понял, что литератору, если он претендует не на дилетантизм в ней, а на серьезное значение, надо положить в это дело чуть не всего себя и на всю жизнь».

Наконец, на творчество его влияли и физические недуги. Нервная восприимчивость, сидячая по необходимости жизнь и сильная склонность к простуде отражались на его настроении иногда в чрезвычайно сильной степени. До чего это доходило, видно из письма его к Стасюлевичу в 1868 году из Киссингена: «Подул холод, — пишет он, — нашли тучи, и все это легло мне на душу, и опять наверх всплыли мутные подонки, и опять я бросил перо, повесил голову и стал видеть скверные, преследующие меня сны; опять дружеские лица стали

обращаться во врагов и кивать мне из-за углов. Мне опять стало душно, захотелось и в воду, и в огонь, и в Новый Свет бежать и даже уйти совсем на тот свет. Стоит ли писать дальше?»

Переходя к *содержанию* творчества, мы видим в нем полное подтверждение заявления Гончарова о том, что он писал только то, что переживал, что чувствовал, что сам близко видел и знал. Поэтому главнейшие его произведения не имеют в себе ничего условного, отвлеченного или фантастического и вообще ничего или почти ничего сочиненного. Это все художественные отклики на жизнь, на ее проявления, почерпнутые из реальной действительности. Сначала в них содержится личное переживание — «Обыкновенная история»; затем рисуется типическое явление русской жизни — «обломовщина»; наконец — в «Обрыве» — развертывается обширная бытовая картина с выхваченными из жизни лицами, группирующимися вокруг «бабушки», за которою автору видится другая великая бабушка — Россия. Содержание «Обыкновенной истории» несложно,— недаром она *обыкновенная.* Маменькин сынок, идеалист и романтик, явившись в Петербург к прозаическому и положительному дяде, горячо — более на словах, чем на деле — воюет за жизнь, какою он ее себе представлял, против жизни, какая ему является в действительности, и под конец не только признает себя побежденным, но и смеется вместе с дядей над своими заблуждениями. Спор с дядей переходит довольно быстро в согласный дуэт, гармонию которого нарушает лишь скорбный образ дядиной жены, вянущей и угасающей в атмосфере роскоши и бездушного довольства призрачными благами жизни. Но не представляет ли этот роман — особенно в первой его части — личные переживания Гончарова и нечто *приросшее* к ним? Ведь и он родился в мирном уголке, где жизнь текла лениво и почти неслышно.

«...Самая наружность родного города, — пишет он в своих воспоминаниях, — не представляла ничего другого, кроме картины сна и застоя. Те же, большею частью деревянные, посеревшие от времени дома и домишки с мезонинами, с садиками, иногда с колоннами, окруженные канавками, густо заросшими полынью и крапивой, бесконечные заборы; те же деревянные тротуары с недостающими досками; та же пустота и без-

молвие на улицах, покрытых густыми узорами пыли. Вся улица слышит, когда за версту едет телега или стучит сапогами по мостовой прохожий. Так и хочется заснуть самому, глядя на это затишье, на сонные окна с опущенными шторами и жалюзи, на сонные физиономии сидящих по домам или на попадающиеся на улице лица. „Нам нечего делать! — зевая, думает, кажется, всякое из этих лиц, глядя лениво на вас. — Мы не торопимся, живем — хлеб жуем да небо коптим!“» Те же воспоминания говорят нам, как прошли затем годы учения в Москве, тоже спокойно, без сучка и задоринки. Все было патриархально и просто, ходили в университет, как к источнику за водой, запасались учением, кто как мог, и, кончив свои годы, расходились. Московские уголки и затишье, отдаленные от шума и сует, были удобны тем, что студенты жили каждый своей особой жизнью, не отвлекаясь от занятий ничем посторонним... А затем наступил возврат в родную Обломовку.

«Меня охватило, — рассказывает Гончаров, — как паром, домашнее баловство. Многие из читателей, конечно, испытывали сладость возвращения, после долгой разлуки, к родным и поймут, что я на первых порах весь отдался самой неге ухода, внимательности. Домашние мешают пожелать чего-нибудь: все давно готово, предусмотрено. Кроме семьи, старые слуги, с нянькой во главе, смотрят в глаза, припоминают мои вкусы, привычки, где стоял мой письменный стол, на каком кресле я всегда сидел, как постлать мне постель. Повар припоминает мои любимые блюда, — и все не наглядятся на меня».

Там, в этой обстановке, среди неприхотливого dolce far niente*, забывая немногое, чему научился теоретически, и лениво предаваясь маниловским мечтам, Гончаров мог бы войти в обычную колею обломовщины... Но натура его, богато одаренная и возвышенная, энергическая и живая, с этим примириться не могла. Он жаждал новизны и чувствовал, что «даль зовет». Этой далью на первое время был Петербург — город, где, по мнению немецкого писателя, «улицы всегда мокры, а сердца всегда сухи», город, уподобляемый громадной кузнице, в которой почти неизбежно или обожжешься, или замараешься. Здесь Гончарову пришлось позабыть приволь-

* Сладкое ничегонеделание *(итал.)*.

ное житье в родных палестинах. Оказалось нужным начать учиться вновь и переучиваться и пробиваться среди новых встреч и отношений. В письмах и воспоминаниях его об этом времени подчас слышится, что для него столица сыграла роль Адуева-старшего. Вот почему, когда представился случай уехать вокруг света, он, уже обжившийся в Петербурге, уже занявший видное место в литературе, с радостью ухватился за возможность его покинуть и освежить свои впечатления.

«Обыкновенная история» была своего рода эпопеей личности, приходящей в столкновение с прозой жизни. Но русская жизнь, пробуждаясь от многолетнего сна и застоя, являла не одну прозу. Из ее недр слышался призыв к развитию этой личности, к деятельности, к борьбе с косностью. На этот зов жизни Гончаров отозвался другим повествованием, но уже в более широких рамках распространенного явления в природе русского человека. И это был — «Обломов». Но жизнь шла вперед. В ней происходила борьба старого с новым, чувствовался перелом, и было очевидно, что старый быт уходит. Гончаров никогда не отрицал темных сторон этого быта, но он умел ценить и любить его добрые патриархальные стороны, и совершавшийся на его глазах перелом не мог не вызвать в нем любящего прощального взгляда на то доброе, что уходило из русской жизни безвозвратно. Да и «сеть» не могла оставаться праздной, и он решился закинуть ее в знакомом ему уголке родины. Он сам говорит об «Обрыве»: «На многих пигмеях в крошечном озере отразилось состояние брожения, в котором находилась Россия, и происходившая борьба старого с новым. Я следил за отражением этой борьбы на знакомом мне уголке, на знакомых лицах». Настоящей героиней романа, конечно, является Вера, и около нее, в лучах ее образа, бледнеет центральная фигура всего повествования — Райский. В изображении Веры слышатся житейские переживания самого Гончарова. Между петербургской светской девицей тех годов, когда Гончаров приехал в столицу и стал наблюдать, и Верой шестидесятых годов — целая пропасть. Одна — Наденька из «Обыкновенной истории», кисейная барышня и красивая «букашка», безвольно подчиняющаяся окружающему укладу и указке старших; другая, по объяснению самого автора, — «жертва в борьбе старой жизни

с новой, знающая, что отжило в старой, и тоскующая по свежей, осмысленной жизни, по новой правде». Одна — вся в рутине прошлого, другая — на пороге неизвестного, но манящего будущего, и между ними — в лице Ольги из «Обломова» — чистое и гордое существо с ее бесплодной жертвой и торжественным «никогда!», разбивающимся о нравственную дряблость Ильи Ильича. В возвышенном образе Веры, готовой на жертву безусловно, со всею полнотой любви, и горячо отвергающей условную любовь «на срок», Гончаров изобразил свой идеал русской женщины. Он явился глубоким и горячим защитником равноправия в любви и в оценке того, что принято называть «падением женщины». В своих малоизвестных заметках, напечатанных в «Русском обозрении» 1895 года, Гончаров подробно разъясняет эту сторону своего «Обрыва»: «Меня давно, смолоду, занимал один из важных, вопиющих по своей несправедливости вопросов, это — вопрос о так называемом *падении* женщин. Меня всегда поражали: во-первых, грубость в понятии, которым определялось это падение, а во-вторых, несправедливость и жестокость, обрушиваемые на женщину за всякое падение, какими бы обстоятельствами оно ни сопровождалось,— тогда как о падении мужчины вовсе не существует вопроса... Падение женщин определяют обыкновенно известным фактом, не справляясь с предшествующими обстоятельствами: ни с летами, ни с воспитанием, ни с обстановкой, ни вообще с судьбой виновной девушки. Ранняя молодость, сиротство или отсутствие руководства, экзальтация нервической натуры — ничто не извиняет жертву, — и она теряет все женские права на всю жизнь и нередко, в безнадежности и отчаянии, скользит дальше по тому же пути. Между тем общество битком набито такими женщинами, которых решетка тюрьмы, то есть страх, строгость узды, а иногда и еще хуже — расчет на выгоды — уберегли *от факта,* но которые тысячу раз падали и до замужества и в замужестве, тратя все женские чувства на всякого встречного, в раздражительной игре кокетства, легкомыслия, праздного таскания, притворных нежностей, взглядов и т. п., куда уходит все, что есть умного, тонкого, честного и правдивого в женщине. Мужчины тоже, с своей стороны, поддерживают это и топят молодость в чаду разгула страстей и всякой нетрезвости, а потом гордо

являются к брачному венцу с болезненным или изношенным организмом, последствиями которого награждают свою девственную подругу и свое потомство, как будто для нас, неслабого пола, чистота нравов вовсе необязательна». Таким образом, еще в шестидесятых годах вопрос о добрачном целомудрии мужчин, разработанный скандинавскими писателями, и в особенности Бьёрнстерне-Бьёрнсоном в его «Перчатке», был поставлен в русской литературе с лишком сорок лет назад Гончаровым.

Наряду с такими драгоценными вкладами в нашу словесность, как «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв», в литературные произведения Гончарова вкраплены необыкновенно живые воспоминания, полные ярких красок и живой наблюдательности. Таковы, например, «Слуги» и в особенности «Фрегат „Паллада“». Рядом с последними стоит блестящий критический анализ «Горя от ума» — «Мильон терзаний», содержащий в себе никем до сих пор не превзойденную по тонкости и глубине оценку Чацкого, который «сломлен *количеством* старой силы, нанеся ей смертельный удар *качеством* силы свежей». Но если бы Гончаров написал лишь одного «Обломова», то и этого было бы достаточно, чтобы признать за ним непререкаемое право на одно из самых выдающихся мест в первом ряду русских писателей. Его Обломов так же бессмертен, как Чичиков, и так же, как он, меняет обличье и обстановку, оставаясь одним и тем же в существе. Современный Чичиков, конечно, давно уже продал, и, вероятно, весьма выгодно, свою бричку и расстался с Селифаном. Он ездит в купе первого класса скорых поездов, состоит членом какой-нибудь торговой компании или кредитного товарищества и промышляет не мертвыми душами, а искусственно вздутыми акциями для составления фиктивного складочного капитала «общества прикосновения к чужой собственности», как выражался покойный Горбунов [6]. И Обломов уже не лежит на диване и не пререкается с Захаром. Он восседает в законодательных или бюрократических креслах и своей апатией, боязнью всякого почина и ленивым непротивлением злу сводит на нет вопиющие запросы жизни и потребности страны; или же уселся на бесплодно и бесцельно накопленном богатстве, не чувствуя никакого побуждения прийти на помощь развитию произ-

водительных сил родины, постепенно отдаваемой в эксплуатацию иностранцам.

Нужно ли говорить о прекрасном языке Гончарова, богатом красками, сильном и сочном? Если сравнивать писателя с художником-живописцем, то широкая кисть Гончарова скорее всего напоминает Рубенса, как нежные и пленительные контуры Тургенева напоминают письмо Рафаэля, а яркие образы Толстого — «светотень» Рембрандта.

Оценка литературной деятельности Гончарова была не всегда одинакова. Он испытал и общее почти восторженное признание, и холодность невнимания, и тупость непонимания, и то, что называется succès d'èstime *. Приветствуемый, хотя и не без некоторых оговорок, Белинским, автор «Обыкновенной истории», «Обломова» и «Фрегата „Паллады“» сделался любимцем читателей и за свои произведения и за тот внутренний смысл Обломова, который был указан и разъяснен Добролюбовым. Но «Софья Николаевна Беловодова» была принята холодно, а к «Обрыву» критика отнеслась во многих случаях с суровостью совершенно незаслуженного автором разочарования. Нашлись рецензенты, силившиеся дать почувствовать «маститому» автору, что Тарпейская скала находится недалеко от Капитолия[7]. Ему не пришлось, подобно Тургеневу за «Отцов и детей» и Достоевскому за «Преступление и наказание», выслушать тупые и злобные упреки в оклеветании молодого поколения — это было бы в конце шестидесятых годов уже довольно устарелым приемом, — но пришлось узнать, что он певец крепостного права, что он не понимает и совершенно не знает русского человека и русской жизни, и наряду с этим выслушать глубокомысленный упрек в том, что, рисуя образ своей «бабушки», он дошел до того, что «даже не пощадил ее святых седин»[8]. К этим внешним терниям, язвившим его впечатлительную душу («с такой натурой, как моя, — писал он Стасюлевичу, — нужны не крапива смеха и не грубые удары всевозможных бичей»), присоединялись и другие, внутренние, коренившиеся в болезненном настроении этой души. Среди них первое место занимало жившее в ней чувство к Тургеневу, если и не прямо враждебное, то, во всяком

* Успех из уважения *(франц.)*.

случае, полное крайнего недоверия, смешанного с какою-то смутною боязнью. О причинах разлада двух видных русских художников существует много легенд, но ни одна из них не уясняет основного источника этого разлада. О зависти здесь не могло быть и речи: каждый из них представлял большую самодовлеющую величину, и Гончаров не отрицал крупного таланта Тургенева. Некоторые предполагали, что разлад начался после того, как в Базарове Гончаров усмотрел предвосхищение созревавшего у него образа Марка Волохова, с которым он познакомил Тургенева в конце пятидесятых годов, когда они еще встречались дружески за границей. С этого будто бы времени начались жалобы Гончарова на то, что Тургенев — непосредственно и через знакомых — выпытывает у него сюжеты задуманных произведений и пользуется ими для себя и для своих иностранных литературных друзей. Такая, более чем странная, причина разлада, во всяком случае, должна была возникнуть гораздо ранее появления «Отцов и детей», так как еще в 1860 году в «Искре» (№ 19, от 20 мая) напечатано было стихотворение *Обличительного поэта* (Д. Минаева) «Парнасский приговор», в котором русский писатель, «вялый и ленивый, неподвижный, как Обломов, встав безмолвно и угрюмо, окруженный тучей гномов», приносит богам жалобу на собрата и говорит: «Он, как я, писатель старый, издал он роман недавно, где сюжет и план рассказа у меня украл бесславно... У меня герой в чахотке; у него — портрет того же; у меня Елена имя; у него — Елена тоже [9]. У него все лица так же, как в моем романе, ходят, пьют, болтают, спят и любят...» Парнасский суд решает обречь виновного играть немую роль купца в «Ревизоре» (зимою 1859—1860 года в спектаклях, устроенных Литературным фондом в Пассаже, Тургенев действительно появился в группе купцов, которым городничий — Писемский — говорит: «Жаловаться, аршинники, самоварники?!»), а жалобщика обрекает поехать путешествовать вокруг света для написания в дороге нового творения. Отсюда видно, что о жалобах Гончарова на Тургенева было известно уже в начале 1860 года. Быть может, это ревнивое отношение к произведениям Тургенева явилось у Гончарова и еще раньше, так как в одном из писем к Никитенко он намекает, что бабушка Татьяна Марковна в «Обрыве»

была задумана гораздо раньше, чем тетушка Лизы, Марфа Тимофеевна, в «Дворянском гнезде»[10]. В письме к Тургеневу от 28 марта 1859 года он писал: «Сцене бабушки и внучки вы дружески и великодушно пожертвовали довольно слабой сценой вашей повести». Таким образом, по-видимому, ревнивый разлад с Тургеневым начался давно, и притом без всякого основания, так как однородные явления жизни, воспринимаемые самостоятельными художниками, могли создавать в их душе сходные в существе, различные во внешних проявлениях образы. А ввиду глубины их таланта и творческой силы ни один из них не нуждался в каких-либо заимствованиях. Известно, что Тургенев в силу каких-то неуловимых особенностей и крайней мягкости своего характера вызывал у некоторых сомнение в своей искренности и этим возбуждал против себя. Достаточно припомнить злобный памфлет Достоевского в «Бесах»[11], ссору Тургенева с Толстым[12], отзыв о нем Доде в «Trente ans de Paris» *[13]. Чем-нибудь из этих своих свойств он, вероятно, бессознательно уязвил и Гончарова, и на этой почве у последнего выросла так называемая навязчивая идея, подобная той, которой, как ныне оказывается, страдал драматург Стриндберг. Такая идея, как известно, сначала является лишь временами, отгоняемая рассудком, но затем рассудок перестает с нею бороться и она овладевает вполне сознанием своей жертвы и образует своего рода безумный круг идей и представлений, в котором уже все ей подчиняется и ею внушается... Так было и с Гончаровым, который вообще отличался мнительностью. Это состояние его, как видно из писем к Никитенко, дошло до своего апогея в 1868 году, когда, под влиянием встреч за границей с какими-то русскими семействами, которые, догадываясь о его больном месте, бередили своими намеками его душевную рану и «для потехи возбуждали чуть затаившийся пожар»[14], он даже хотел прекратить печатание «Обрыва», содержание которого будто бы уже передано Ауэрбаху и будет использовано последним в его новом романе[15]. Под влиянием этого состояния он писал в 1868 году Стасюлевичу: «Вы знаете, чего я хотел в своем сочинении, какие честные мысли, добрые намерения руководили

* «Тридцать лет в Париже» *(франц.)*.

мной и как много теплой любви к людям и к своей стране разлито в этом моем фантастическом уголке России, в его людях и т. д. И вдруг — не только безучастие, а какой-то злой смех, глупая вражда вместо ласки и участия еще до появления труда приветствуют меня. Хочется мне поскорей кончить и отдать вам, чтобы поскорее покраснели хоть немного те, которые, ничего во мне не понимая и не допуская никакой исключительности в натуре, ничего не нашли другого, кроме злого и грубого смеха, да еще предали меня заживо в чужие руки на глумление и на съедение». В другом письме он пишет: «Мне хочется сказать в Райском все, что я говорил вам о себе лично. Вы знаете, какой я дикий, какой сумасшедший... — а я больной, загнанный, затравленный, не понятый никем и нещадно оскорбляемый самыми близкими мне людьми, даже женщинами, всего более ими, кому я посвятил так много жизни и пера... Жду утешения только от своего труда: если кончу его — этим и успокоюсь и тогда уйду, спрячусь куда-нибудь в угол и буду там умирать. К несчастью, судьба не дала мне своего угла, хоть небольшого; нет никакого гнезда, ни *дворянского,* ни птичьего, и я сам не знаю, куда я денусь...» Последний отголосок этого состояния видел и я, когда летом 1882 года в Дуббельне, ссылаясь на трудность приобретения и дороговизну ставшего редкостью «Обломова», я уговаривал его издать полное собрание своих сочинений. «Такой совет мне мог бы дать, — сказал мне, мрачно потупясь, Гончаров, — лишь недруг: разве вы хотите, чтобы меня стали обвинять в том, что я обокрал Тургенева?!» Мне стало ясно, что навязчивая идея завершила свой круг. После смерти Тургенева эта болезненная мнительность прошла. Гончаров перестал иносказательно говорить о Тургеневе и в отзывах стал отдавать ему справедливость. Так, уже через год после кончины последнего он писал почетному академику К. Р.: «Тургенев воспел и описал в «Записках охотника» русскую природу и деревенский быт, как никто», а в 1887 году, говоря о «безбрежном, неисчерпаемом океане поэзии», писал тому же лицу, что «в этот океан надо чутко всматриваться, и вслушиваться с замирающим сердцем, и заключать точные приметы поэзии в стих или прозу — это все равно: стоит вспомнить тургеневские „Стихотворения в прозе“».

Те, кто встречал лишь изредка Гончарова или предполагал найти в нем живое воплощение одного из его наиболее ярких образов, охотно отождествляли его с Обломовым,— тем более что его грузная фигура, медлительная походка и спокойный, слегка апатичный взор красивых серо-голубых глаз давали к этому некоторый повод. Но в действительности это было не так. Под спокойным обличьем Гончарова укрывалась от нескромных или назойливо-любопытных глаз тревожная душа. Главных свойств Обломова — задумчивой лени и ленивого безделья — в Иване Александровиче не было и следа. Весь зрелый период своей жизни он был большим тружеником. Его переписка могла бы составить целые тома, так как он вел корреспонденцию с близкими знакомыми часто и аккуратно, причем письма его представляют прекрасные образцы этого эпистолярного рода, который был привычен людям тридцатых и сороковых годов. Это была неторопливая беседа человека, который не только хочет подробно и искренно поделиться своими мыслями и чувствами и рассказать о том, что с ним происходит, но и вызвать своего собеседника рядом вопросов участливого внимания и мирных шуток на такое же повествование. Современный человек почти уже не знает подобных писем. Все свелось к деловой краткости и телефонному, или, вернее, телеграфному, стилю для того, что называется «констатированием фактов». Среди деловой суеты и нервно-мятущейся жизни всем стало некогда, и старый «обмен мыслей» заменился лаконичностью открытого письма. Один мой знакомый, большой поклонник того, что называется в искусстве l'élimination du superflu *, даже проектировал, шутя, писание на открытках, отправляемых друзьям, родным и знакомым не по деловым поводам, одного лишь своего уменьшительного имени. Он рассуждал так: когда и откуда писано письмо — видно из штемпеля; что писавший думал об адресате — ясно из того, что он к нему пишет письмо; из этого же видно, что он делал, когда изготовлял письмо; из того же видно, что он здоров, ибо только известие о серьезной болезни может тревожить близких людей, и, наконец, уменьшительное имя, привычное для них, должно указывать на неизменность и теплоту

* Устранение лишнего (*франц.*).

добрых отношений. Не таковы были письма Гончарова. Написанные мелким почерком, с массой приписок, они в своей совокупности рисовали Гончарова во всех проявлениях его сложной духовной природы и, конечно, стоили ему немалых труда и времени. Не говоря уже об обычном тяжелом и скучном труде цензора, который он выполнял со свойственной ему щепетильной добросовестностью, он много и внимательно читал, и отзывы его в беседах о выдающихся произведениях изящной, а иногда и научной литературы указывали на ту глубокую вдумчивость, с которой он не раз подвергал внутренней проверке прочитанное, прежде чем высказать о нем свое обоснованное мнение. Нужно ли затем говорить о его сочинениях, из которых главные написаны в двадцатилетний период, с 1847 по 1867 год, и составляют восемь неоднократно переработанных с начала до конца толстых томов?

Точно так же неверно представление о квиетизме Гончарова. Внешнее спокойствие и любовь к уединению шли у него рядом с глубокой внутренней отзывчивостью на различные явления общественной и частной жизни. Разборчивый в друзьях и не очень податливый на поспешное сближение, он не торопился следовать нашей мало похвальной и приводящей к горьким разочарованиям привычке открывать чуть не каждому встречному свой внутренний мир. Он знал, что в храм своей души следует пускать посетителей с большой осмотрительностью, из боязни, чтобы, войдя туда с холодным любопытством, они не оставили там грязных следов и не набросали папиросных окурков. Не раз в последние годы своей жизни, сторонясь от новых и случайных знакомств, он многозначительно цитировал слова Пушкина: «А старость ходит осторожно и подозрительно глядит» [16]. Но к скорбям и радостям тех, в дружбу кого он уверовал, он умел относиться с живым сочувствием, со словом горячего и настойчивого ободрения, с деликатным участием оценивая и освещая их душевные переживания. В интимной, дружеской беседе он оживлялся и преображался. Молчаливый и скупой на слова в большом обществе, он становился разговорчивым вдвоем, и его живое слово, образное и изящное, лилось свободно и широко. Но все шумное, назойливое, все имевшее плохо прикрытый характер допроса его и раздражало и пу-

гало, заставляя быстро уходить в свою скорлупу и поспешно отделываться от собеседника общими местами.

Активное участие в каких-либо торжествах всегда его страшило, и он отбивался от него всеми способами. Так уклонился он от участия в московских и петербургских празднествах, связанных с открытием в 1880 году памятника Пушкину в Москве, несмотря на то, что не менее Тургенева преклонялся перед великим поэтом и благоговел перед его памятью. Я не могу забыть одного из его воспоминаний, рассказанных им мне в том же 1880 году, во время одной из долгих вечерних прогулок по Рижскому взморью. «Пушкина я увидал впервые, — говорил он, — в Москве, в церкви Никитского монастыря. Я только что начинал вчитываться в него и смотрел на него более с любопытством, чем с другим чувством. Через несколько лет, живя в Петербурге, я встретил его у Смирдина, книгопродавца. Он говорил с ним серьезно, не улыбаясь, с деловым видом. Лицо его — матовое, суженное книзу, с русыми бакенами и обильными кудрями волос — врезалось в мою память и доказало мне впоследствии, как верно изобразил его Кипренский на известном портрете. Пушкин был в это время для молодежи всё: все ее упования, сокровенные чувства, чистейшие побуждения, все гармонические струны души, вся поэзия мыслей и ощущений — все сводилось к нему, все исходило от него... Я помню известие о его кончине. Я был маленьким чиновником-«переводчиком» при министерстве финансов. Работы было немного, и я для себя, без всяких целей, писал, сочинял, переводил, изучал поэтов и эстетиков. Особенно меня интересовал Винкельман. Но надо всем господствовал *он*. И в моей скромной чиновничьей комнате, на полочке, на первом месте стояли его сочинения, где все было изучено, где всякая строчка была прочувствована, продумана... И вдруг пришли и сказали, что он убит, что его более нет... Это было в департаменте. Я вышел в коридор и горько-горько, не владея собой, отвернувшись к стенке и закрывая лицо руками, заплакал... Тоска ножом резала сердце, и слезы лились в то время, когда все еще не хотелось верить, что его уже нет, что Пушкина нет! Я не мог понять, чтобы тот, пред кем я склонял мысленно колени, лежал бездыханен. И я плакал горько и неутешно, как плачут по получении известия о смерти любимой жен-

щины... Нет, это неверно — о смерти матери. Да! Матери!.. Через три дня появился портрет Пушкина с надписью: «Погас огонь на алтаре» [17], но цензура и полиция поспешила его запретить и уничтожить...» У Ивана Александровича сохранился, однако, такой портрет, злонамеренная подпись на котором скрыта старинной рамкой. Он подарил мне его, сделав на обороте надпись, а я пожертвовал этот портрет Пушкинскому лицейскому музею.

В том же 1880 году, летом, члены рижского русского певческого и литературного общества «Баян» совершали свой обычный ежегодный праздничный выезд в Дуббельн и, пользуясь пребыванием в последнем Гончарова, П. Д. Боборыкина и меня, пригласили нас на свой торжественный обед с музыкой и речами. Иван Александрович был этим приглашением совершенно выбит из колеи, написал старшинам письмо, умоляя «пощадить и простить» его, утром в день выезда «Баяна» из Риги телеграфировал о том же, боясь, что заказное письмо могло не дойти, а когда на реке Аа показался украшенный флагами пароход с участниками «выезда», то, опасаясь, что его могут прийти уговаривать, поспешно ушел на берег моря и проскитался там один, пока пускавшиеся с отходившего обратно парохода ракеты не указали ему, что опасное для него торжество окончилось.

Когда возникла мысль о его литературном юбилее, Гончаров пришел в болезненное волнение, убедительно и настойчиво отговаривая всех, кто мог быть прикосновен к организации этого празднования, оставить всякую мысль об этом, угрожая, в нарушение своего сложившегося житейского обихода, покинуть среди зимы Петербург и уехать «куда глаза глядят», оставив юбилейное чествование без виновника торжества. Только после неоднократных попыток и с большим трудом удалось уговорить его принять самый тесный кружок его друзей по «Вестнику Европы», поднесших ему мраморные столовые часы с бронзовым изображением Марфиньки из «Обрыва» и воздержавшихся, щадя старика, от всяких приветственных речей [18]. И этот же, как он сам себя называл, «угрюмый нелюдим» бывал жив, остроумен и даже весел, когда оставался вдвоем или в самом небольшом кружке. Таким я помню его во время долгих прогулок по берегу моря на Рижском штранде и в Усть-

Нарове, когда прелесть его ярких воспоминаний и рассказов заставляла его спутника забывать свою усталость. Между этими воспоминаниями было много таких, которые не вошли во «Фрегат „Палладу"». Живая наблюдательность искрилась в них; нежная любовь к русскому человеку и глубокое понимание его милых и оригинальных свойств проникали их. Особенно помнится мне его рассказ о наших матросиках, которые покатывались со смеху, указывая пальцами на голые колена двух неподвижно стоявших у одного из лондонских дворцов часовых в шотландском костюме, красных от гнева, но покорных дисциплине. «Что вы тут делаете? — спросил их Гончаров.— Чему смеетесь?» — «Да ты посмотри, ваше благородие, королева-то им штанов не дала!» Или другой рассказ о том, как в окрестностях Капштадта, подойдя к кучке матросов, что-то любопытно разглядывавших, он увидел на ладони одного из них огромного скорпиона, тщетно силившегося пробить ядовитым хвостом толстый сплошной мозоль на руке, привыкшей лазить по вантам. «Что ты? Брось, брось! — воскликнул Гончаров. — Он тебя до смерти укусит!» — «Укусит? — недоверчиво спросил матрос, презрительно скосив глаза на скорпиона. — Этакая-то сволочь?! Тьфу!» И он бросил скорпиона на землю, раздавив его необутой для прохлады ногой. Был между этими рассказами один, который, кажется, не оставил следа в истории Крымской войны по скромности и сдержанности участников. Когда в далеком Японском море адмиралом Путятиным было получено на «Палладе» известие об объявленной России Францией и Англией войне, он позвал к себе в каюту Посьета (командира фрегата) и, сколько мне помнится, Лесовского (старшего офицера) [19] и, в присутствии Гончарова, связав их обязательством хранить тайну, объявил им, что, зная о невозможности для парусного фрегата успешно сразиться с винтовыми железными кораблями неприятеля или уйти от последнего, он решил сцепиться с ним вплотную и взорваться... [20]

Не менее милым собеседником бывал Гончаров за своими обычными обедами вдвоем в Hôtel de France у Полицейского моста, и в кружке сотрудников «Вестника Европы» за еженедельными обедами у покойного Стасюлевича. Здесь, ничем не стесняемый и согреваемый атмосферой искренней приязни, он иногда подолгу

вызывал особое внимание слушателей своими экскурсиями в область литературы и искусства. Скрестив перед собой пальцы красивых рук, приветливо смотря на окружающих, он оживлялся, и в глазах его появлялся давно уже, казалось, потухший блеск. Так продолжалось многие-многие годы, но не без перерывов. Эти перерывы совпадали с приездами в Петербург Тургенева, во время которых Гончаров избегал бывать на обедах у Стасюлевича. Однажды, во время такого перерыва, на мой вопрос, когда же мы увидимся в Галерной, он с некоторым замешательством ответил: «Да вот все никак не могу собраться: все что-нибудь да помешает» и, очевидно, сознавая, что такое объяснение идет вразрез с его регулярной и размеренной жизнью, прибавил, помолчав: «Чеченец ходит за рекой!» [21]

Гончаров не любил вспоминать о своей внутренней жизни в прошлом, но из того, что он всегда описывал свою жизнь и то, что к ней прирастало, можно заключить, что он в полной мере испытал то чувство, которое возбуждали его Ольга и Вера, эти превосходные олицетворения того, что Гёте назвал das ewig Weibliche *. Едва ли он был мучеником своей любви, как Тургенев, или пережил какую-либо тяжелую в этом отношении драму... Он говорил по крайней мере, что в словах пушкинского Мефистофеля, упрекающего Фауста за то, что «хитро так в деве простодушной он грезы сердца пробуждал» [22], содержится поучительный завет всякому честному человеку. Но бури в этой жизни, без сомнения, были. Он называл не раз жизнь тяжелым испытанием и часто цитировал по этому поводу слова Пушкина о «мучительных снах», повторяя: «И всюду страсти роковые, и от судеб спасенья нет» [23]. Во всяком случае, когда я узнал его ближе, в начале семидесятых годов, его сердечная жизнь была в застое. Но сердце у него было нежное и любящее. Это был капитал, который не мог оставаться без употребления и должен был быть пущен в оборот. Человеку бывает нужно, необходимо уйти от тоски одиночества, от края мрачной пропасти глубокого разочарования в людях и в самом себе в какую-либо привязанность. Так случилось и с Гончаровым.

* Вечно женственное *(нем.)*.

В течение многих лет у него служил камердинером и заведовал его домашним хозяйством честный и усердный курляндский уроженец. В конце шестидесятых годов [24] он умер скоропостижно, и Иван Александрович, соболезнуя положению его вдовы с тремя малолетними детьми, оставил ее служить у себя, предоставив ей маленькое помещение через площадку лестницы своей квартиры, и заменил ею умершего ее мужа в домашних заботах о своем маленьком хозяйстве старого холостяка. С годами, когда стали подрастать дети, сердце Ивана Александровича откликнулось на их чистую ласку, и он привязался к ним, и особливо к старшей девочке, глубоко и трогательно. Его заботам, просьбам, материальным жертвам, ходатайствам, письменным и словесным, эти дети были обязаны своим воспитанием и образованием в средних учебных заведениях, за чем он следил с исключительным вниманием. Возможность дать им средства, чтобы подышать чистым воздухом и укрепить свои силы где-нибудь на даче или на берегу моря, сердечно радовала старика, которому в этом нередко помогали дочери его старого друга А. В. Никитенко [25]. И в этой вполне бескорыстной привязанности Гончаров дошел до крайних пределов. Заботы о детях, их мысли, чувства, привычки, складывавшиеся особенности характера, шутливые и нежные прозвища, им даваемые, наполняли его жизнь, вплетались в его беседу. Внимание их, ласка Сани (так звали старшую из них) вызывали горячую благодарность с его стороны. Мало-помалу их жизнь пустила в его существование крепкие, неразрывные корни.

С половины восьмидесятых годов жизнь Гончарова пошла заметно на убыль, в особенности после того, как он ослеп на один глаз вследствие кровоизлияния, причинившего ему тяжкие до слез страдания. Он побледнел и похудел, почерк его стал хотя и крупнее, но неразборчивее, и он по целым неделям не выходил из своей мало уютной и темноватой квартиры на Моховой, в которой прожил тридцать лет. На летнее время далекий и любимый Дуббельн сменился более близкой Усть-Наровой, а затем и Петергофом [26]: угасающего автора «Фрегата „Паллады“» продолжало тянуть к морю. Но с тех пор, как смерть, очевидно уже недалекая, простерла над ним свое черное крыло и своим дыханием помрачила его

зрение и затем ослабила его слух, он просветлел духом и проникся по отношению ко всем примирением и прощением, словно не желая унести в недалекий гроб свой какие-либо тяжелые чувства. Он стал трогателен в своем несчастии и, выражаясь словами его любимого поэта, «прост и добр душой незлобной»[27]. В этом уединении, принимая только немногих близких знакомых, весь отдавшись заботам о будущем приголубленной им семьи, он ждал кончины со спокойствием усталого от жизни и верующего человека. «Я с умилением смотрю, — писал он мне в 1889 году, — на тех сокрушенных духом и раздавленных жизнью старичков и старушек, которые, гнездясь по стенкам в церквах или в своих каморках перед лампадкой, тихо и безропотно несут свое иго, видят в жизни и над жизнью только крест и Евангелие, одному этому верят и на одно надеются. «Это глупые и блаженные», — говорят мудрецы-мыслители... Нет — это те, которым открыто то, что скрыто от умных и разумных». В 1889 году с ним произошел легкий удар, от которого, однако, он оправлялся с трудом, а в ночь на 15 сентября 1891 года он тихо угас, не перенеся воспаления легких. Глубокая вера в иную жизнь сопровождала его до конца. Я посетил его за день до его смерти, и при выражении мною надежды, что он еще поправится, он посмотрел на меня уцелевшим глазом, в котором еще мерцала и вспыхивала жизнь, и сказал твердым голосом: «Нет, я умру! Сегодня ночью я видел Христа, и он меня простил...»

На новом кладбище Александро-Невской лавры течет речка, один из берегов которой круто подымается вверх. Когда почил Иван Александрович Гончаров, когда с ним произошла для всех нас неизбежная *обыкновенная история,* его друзья — Стасюлевич и я — выбрали место на краю этого крутого берега, и там покоится теперь автор *«Обломова»*... на краю *обрыва*...[28]

ПРИМЕЧАНИЯ

Г. Н. Потанин

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ И. А ГОНЧАРОВЕ

Потанин Гавриил Никитич (1823—1910) — писатель, уроженец и житель Симбирска. В 40-х годах был домашним учителем детей сестры И. А. Гончарова А. А. Кирмаловой, затем преподавал в Самарском уездном училище. Наиболее значительным его произведением является роман «Старое старится — молодое растет» («Современник», 1861, №№ 1—4).

Воспоминания Г. Н. Потанина являются единственными, относящимися к симбирскому периоду жизни И. А. Гончарова и к пребыванию его на родине летом 1849 года. И в этом их неоспоримая ценность. Однако они в большей мере, чем воспоминания других авторов, грешат неточностями и фактическими ошибками.

Воспоминания печатаются не полностью; снята заключительная часть, относящаяся к более позднему периоду жизни писателя и вызывающая особенное недоверие своей недостоверностью. Печатается по тексту журнала «Исторический вестник», 1903, № 4, стр. 99—117.

[1] Стр. 23. В первой публикации отец Гончарова назван неверно — Александром Ильичом.

[2] Стр. 24. Иван Александрович был младшим сыном, старшим был Николай Александрович.

[3] Стр. 24. Отец Гончарова умер в 1819 году, когда И. А. Гончарову было не три года, а семь лет.

[4] Стр. 25. Здесь и ниже Потанин цитирует воспоминания И. А. Гончарова «На родине».

[5] Стр. 28. Гончаров учился в частном пансионе священника Ф. С. Троицкого, расположенном в заволжском селе Репьевка, в

имении княгини Е. П. Хованской («Русская старина», 1912, № 5, стр. 17—19).

[6] Стр. 28. Священника Троицкого звали Федор Степанович.

[7] Стр. 29. И. А. Гончаров был определен в Московское коммерческое училище вместе с братом 8 июля 1822 года и, не закончив курса, уволен из третьего возраста по прошению матери, ссылавшейся на «трудную болезнь» брата и «расстройство коммерческих дел». Сам И. А. Гончаров вынес весьма тяжелое впечатление об этом училище. В письме к брату от 29 декабря 1867 года он писал: «Об училище я тоже не упомянул ничего в биографии, потому что мне тяжело вспоминать о нем, и если пришлось вспомнить, то надо бы было помянуть *лихом*, а я этого не могу, и потому о нем ни слова. По милости тупого и официального рутинера, Тита Алексеевича [Каменецкого], мы кисли там восемь лет, восемь лучших лет, без дела! Да, без дела. А он еще задержал меня четыре года в младшем классе, когда я был там лучше всех, потому только, что я был молод, то есть мал, а знал больше всех. Он хлопотал, чтоб было тихо в классах, чтоб не шумели, *чтоб не читали чего-нибудь лишнего,* не принадлежащего к классам, а не хватало его ума на то, чтобы оценить и прогнать бездарных и бестолковых учителей... Нет, мимо это милое училище!» (И. А. Гончаров, Собрание сочинений, т. VIII, изд-во «Правда», М. 1952, стр. 362).

[8] Стр. 29. До поступления в университет И. А. Гончаров жил в Москве не просто по склонности к ней; он учился там в Московском коммерческом училище вместе с братом.

[9] Стр. 30. Неточность: Гончаров учился в Московском университете в 1831—1834 годах и, следовательно, в этот период не мог писать брату о романе Э. Сю «Le Mystères de Paris», появившемся в печати в 1842 году.

[10] Стр. 30. В «Телескопе» (№ 15 за 1832 год) опубликованы две главы из романа Э. Сю «Атар-Гюль» в переводе И. А. Гончарова (без подписи).

[11] Стр. 32. И. А. Гончаров служил секретарем канцелярии симбирского губернатора А. М. Загряжского с осени 1834 по апрель 1835 года. В Петербург Гончаров выехал с Загряжским в мае 1835 года (см.: А. Д. Алексеев, Летопись жизни и творчества И. А. Гончарова, изд-во АН СССР, М.—Л. 1960, стр. 19).

[12] Стр. 32. Служебная деятельность Гончарова продолжалась не «пять лет», а тридцать, с 1835 по 1867 год, с небольшим перерывом в 1860—1862 годах.

[13] Стр. 32. Инициатива издания рукописного журнала «Подснежник» принадлежала Владимиру Андреевичу Солоницыну, а не племяннику его («молодому») Владимиру Аполлоновичу Солоницыну.

[14] Стр. 32. Имеются в виду повести «Лихая болесть» («Подснежник», 1838, № 12) и «Счастливая ошибка» (альманах «Лунные ночи», 1839).

[15] Стр. 33. Вероятно, имеется в виду восторженный отзыв об «Обыкновенной истории» Ап. Григорьева, опубликованный в №№ 66, 67 и 119 «Московского городского листка» за 1847 год.

[16] Стр. 33. «Сто русских литераторов», издание книгопродавца А. Смирдина, тт. 1—3, СПб. 1839—1845.

[17] Стр. 37. «Слово о полку Игореве» в переводе Д. И. Минаева было издано в Петербурге в 1846 году; перевод этот действительно посвящен Н. А. Гончарову.

[18] Стр. 38. Сведения о брате Трегубова как «важном лице» в Петербурге справочниками не подтверждаются.

[19] Стр. 38. Имеются в виду преподавание И. А. Гончаровым наследнику Николаю Александровичу в 1858 году русского языка и словесности и более позднее знакомство его с великими князьями. Но «видным человеком» при дворе Гончаров никогда не был.

[20] Стр. 38. Все высказанные выше рассуждения мемуариста о легком и счастливом жизненном пути Гончарова носят весьма поверхностный характер. В действительности Гончаров прошел трудный и длительный путь по чиновничьей лестнице, причем успех ему сопутствовал далеко не всегда.

[21] Стр. 43. И. А. Гончаров выехал из Симбирска в начале октября 1849 года.

[22] Стр. 44. Второе и последнее пребывание И. А. Гончарова в Симбирске относится к периоду с 16 мая по 11 июля 1862 года.

И. И. Панаев

ВОСПОМИНАНИЕ О БЕЛИНСКОМ

(Отрывки)

Панаев Иван Иванович (1812—1862) — писатель и журналист, один из ближайших друзей В. Г. Белинского. С 1847 года вместе с Н. А. Некрасовым — издатель обновленного журнала «Современник», автор «Литературных воспоминаний», посвященных 30—40-м годам и в особенности В. Г. Белинскому.

Гончаров познакомился с И. И. Панаевым в начале 40-х годов в кружке Майковых, а с весны 1846 года встречался с ним в кружке Белинского.

Впервые — «Современник», 1860, № 1, стр. 364—369. Печатается по изданию: И. И. Панаев, Литературные воспоминания. Гослитиздат, М. 1950, стр. 305—308.

[1] Стр. 45. Встреча Гончарова, Григоровича, Некрасова, Дружинина и Панаева с Гоголем у А. А. Комарова состоялась в сентябре или в начале октября 1848 года. Это был, вероятно, единственный случай, когда Гончаров встретился с Гоголем. Эту же встречу описывает и А. Я. Панаева в своих «Воспоминаниях», ошибочно приурочивая ее к 1847 году; кроме того, по ее воспоминаниям, встреча происходила не у Комарова, а у Панаева и на ней присутствовали также Белинский, Боткин и Кронеберг. Но известно, что Гоголь в 1847 году в Петербурге не был — он был там осенью 1848 года. П. В Анненков, вспоминая эту встречу, датирует ее также ошибочно — 1849 годом («Анненков и его друзья», СПб. 1892, стр. 515). Представляет интерес и рассказ Некрасова об этой же встрече, записанный с его слов А. С. Сувориным и тоже ошибочно приуроченный к 1847 году: «Раз он изъявил желание нас видеть. Я, Белинский, Панаев и Гончаров надели фраки и поехали представиться, как к начальству. Гоголь и принял нас, как начальник принимает чиновников: у каждого что-нибудь спросил и каждому что-нибудь сказал. Я читал ему стихи «К родине». Выслушал и спросил: «Что же вы дальше будете писать?» — «Что бог на душу положит». — «Гм», — и больше ничего. Гончаров, помню, обиделся его отзывом об „Обыкновенной истории“» («Литературное наследство», № 49—50, М. — Л. 1946, стр. 204).

[2] Стр. 46. *«Письма»* — «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847), ответом на которые явилось зальцбруннское письмо В. Г. Белинского к Гоголю, названное В. И. Лениным «одним из лучших произведений бесцензурной демократической печати» (В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 25, стр. 94).

[3] Стр. 47. Описываемое И. И. Панаевым чтение Гончаровым в кружке Белинского первой части «Обыкновенной истории» происходило в середине апреля 1846 года. О впечатлении, произведенном чтением на Белинского, спустя много лет Гончаров вспоминал в «Необыкновенной истории»: «Белинский месяца три по прочтении при всяком свидании осыпал меня горячими похвалами, прочил мне много хорошего в будущем» («Сборник Российской публичной библиотеки», т. II, Пг. 1924, стр. 7).

А. Я. Панаева

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

Панаева Авдотья Яковлевна, по второму мужу Головачева (1820—1893) — писательница, сотрудничавшая в «Современнике», автор очерков, повестей и романов, посвященных главным образом

бесправному положению русской женщины. В соавторстве с Н. А. Некрасовым ею написаны романы «Три страны света» (1848) и «Мертвое озеро» (1851). А. Я. Панаева — автор «Воспоминаний», над которыми она работала в 80-х годах. Несмотря на имеющиеся в них ошибки и неточности, они, по словам А. Н. Пыпина, отражают «много справедливого при некоторых личных пристрастиях».

Впервые — «Исторический вестник», 1889, № 4, стр. 49, 54; № 7, стр. 47. Печатается по изданию: А. Я. Панаева (Головачева), Воспоминания, Гослитиздат, М. 1956, стр. 168, 174, 183—184, 267.

[1] Стр. 48. Роман «Обыкновенная история» печатался в №№ 3 и 4 (март, апрель) «Современника» за 1847 год.

[2] Стр. 48. В 1847 году Гоголь в Петербурге не был (см. прим. на стр. 266).

[3] Стр. 49. Знаменитое письмо В. Г. Белинского к Гоголю было написано в июле 1847 года в Зальцбрунне. Не исключена возможность, что Белинский мог читать письмо у Панаева в 1847 году по возвращении из Зальцбрунна.

[4] Стр. 49. Повесть «Полинька Сакс» («Современник», 1847, № 12).

[5] Стр. 49. Имеется в виду Ф. М. Достоевский, о котором в эпиграмме, сочиненной Некрасовым и Тургеневым, имелись строки:

Рыцарь горестной фигуры,
Достоевский, милый пыщ,
На носу литературы
Рдеешь ты, как новый прыщ.

А. В. Старчевский

ОДИН ИЗ ЗАБЫТЫХ ЖУРНАЛИСТОВ

(Из воспоминаний старого литератора)

(Отрывки)

Старчевский Альберт Викентьевич (1818—1901) — журналист, историк русской литературы, переводчик и публицист. С конца 40-х годов принимал участие в редактировании «Библиотеки для чтения», в 1856—1870 годах — редактор «Сына отечества», в 1873—1885 годах — редактор второстепенных изданий: «Современность», «Улей», «Эхо» и др. Данный очерк посвящен критику С. С. Дудышкину и лишь фрагментами — Гончарову.

Печатается по тексту журнала «Исторический вестник», 1886, № 3, стр. 363—364, 374—378.

Д. В. Григорович

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ»

Григорович Дмитрий Васильевич (1822—1899) — писатель, начавший литературную деятельность в 40-х годах. Знакомство Григоровича с Гончаровым относится к середине 40-х годов; в 1846—1847 годах и тот и другой были посетителями кружка В. Г. Белинского, часто встречались во второй половине 50-х годов, но в последующие годы близких отношений между ними не было.

Публикуемые отрывки о Гончарове из «Литературных воспоминаний» Д. В. Григоровича свидетельствуют о недружелюбном отношении к автору «Обломова», а история его взаимоотношений с Тургеневым представлена в них поверхностно и односторонне. Однако, несмотря на их односторонность и недостаточную объективность, все же следует учитывать, что они написаны писателем, близко общавшимся с Гончаровым на протяжении почти всей его литературной деятельности.

Впервые — «Русская мысль», 1893, № 1, стр. 32—34. Печатается по изданию: Д. В. Григорович, Литературные воспоминания, Гослитиздат, М. 1961, стр. 115—118.

[1] Стр. 56. См. примечание 4 на стр. 267.

[2] Стр. 56. Гончаров приехал в Петербург в мае 1835 года и поступил переводчиком в департамент внешней торговли Министерства финансов, в просторечии — таможенное ведомство.

[3] Стр. 56. Срок этот Григоровичем, так же как и ранее Панаевым (см. стр. 47), преувеличен.

[4] Стр. 57. «Дворянское гнездо» появилось в № 1 «Современника» за 1859 год. Но непосредственным толчком к ссоре между Гончаровым и Тургеневым, завершившейся третейским судом, явилось не «Дворянское гнездо», а «Накануне» (1860).

[5] Стр. 57. Судьями были П. В. Анненков, А. В. Дружинин, С. С. Дудышкин и А. В. Никитенко (подробнее см. на стр. 117).

[6] Стр. 57. Это неверно. Роман «Обрыв» при своем появлении вызвал большое количество отрицательных отзывов и прежде всего со стороны демократической критики.

[7] Стр. 57. Имеется в виду статья Гончарова «Лучше поздно, чем никогда».

Е. А. Штакеншнейдер

ИЗ «ДНЕВНИКА»

Штакеншнейдер Елена Андреевна (1836—1897) — дочь архитектора А. И. Штакеншнейдера, в доме которого со второй половины 50-х годов был литературный салон, возглавлявшийся М. Ф. Шта-

кеншнейдер, матерью мемуаристки. Салон посещался по субботам многими известными литераторами. Начиная с 1855 года, Гончаров вместе с Майковыми бывал частым гостем на литературных вечерах у Штакеншнейдеров, а с Е. А. Штакеншнейдер находился в приятельских отношениях.

Печатается по первому полному изданию: Е. А. Штакеншнейдер, Дневник и записки. 1854—1886. Изд-во «Academia», 1934, стр. 209—211, 251—253.

[1] Стр. 59. Имеется в виду роман «Обломов», опубликованный в №№ 1—4 «Отечественных записок» за 1859 год. «Сон Обломова» опубликован десятью годами раньше в изданном «Современником» «Литературном сборнике с иллюстрациями» (1849).

[2] Стр. 59. Е. П. Майкова. См. статью: О. М. Чемена, «„Обломов" И. А. Гончарова и Екатерина Майкова» («Русская литература», 1959, № 3, стр. 159—168), а также ее книгу «Создание двух романов. Гончаров и шестидесятница Е. П. Майкова», изд-во «Наука», М. 1966, стр. 34—51.

[3] Стр. 60. Вступление Гончарова в должность цензора было встречено в писательских кругах неодобрительно (см. об этом во вступительной статье, стр. 16—17).

[4] Стр. 60. Предложение преподавать наследнику великому князю Николаю Александровичу русскую словесность было принято Гончаровым 6 декабря 1857 года, а 21 декабря он был определен на эту должность. Весной 1858 года Гончаров отказался от преподавания, а осенью того же года, вновь получив приглашение, отказался вторично, сославшись на чрезмерную занятость по службе (A. Mazon, Un maître du roman russe Ivan Gontcharov, Paris, 1914, pp. 339—341).

[5] Стр. 61. Появление в печати «Губернских очерков» М. Е. Салтыкова-Щедрина в 1856 году (отдельное издание — в 1857 году) было восторженно встречено Н. Г. Чернышевским, писавшим: «„Губернскими очерками"» гордится и долго будет гордиться наша литература. В каждом порядочном человеке русской земли Щедрин имеет глубокого почитателя» (Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. IV, Гослитиздат, М. 1948, стр. 302). Естественно, что в стане либералов «Губернские очерки» были встречены враждебно, как «мутный поток», пробивающийся в литературу.

[6] Стр. 61. В первоначальной редакции стихотворения Н. А. Некрасова «Тишина» («Современник», 1857, № 9) имелись строки о «божьей благодати», о награде молящимся за «благодушного царя»,

впоследствии им изъятые, которые и вызвали недовольство передовых демократических кругов.

[7] Стр. 61. Имеется в виду предстоящее редактирование Полонским журнала «Русское слово».

[8] Стр. 61. Речь идет о первой жене Я. П. Полонского Елене Васильевне, рожденной Устюжской.

[9] Стр. 62. Имеется в виду перевод Н. А. Штакеншнейдером книги «О размножении рыб», автора которой установить не удалось.

[10] Стр. 63. В стихотворении «Молитва» Гончаров обратил внимание на строки: «Боже, спаси ты от всяких цепей» и «Жизнь разбуди на святую борьбу». Однако в издании «Стихотворения Я. П. Полонского. Дополнение к стихотворениям, изданным в 1855 году», вышедшем в 1859 году, «Молитва» напечатана без изъятия этих строк.

К. Т.

СОВРЕМЕННИЦА О ГОНЧАРОВЕ
(Письмо из Сочи)

Автор корреспонденции из Сочи, подписанной инициалами К. Т., неизвестен. Она написана, по-видимому, непосредственно со слов Е. П. Майковой и, следовательно, имеет определенно выраженный мемуарный характер.

Майкова Екатерина Павловна, рожденная Калита (1836—1920) — писательница, сотрудница детских журналов «Подснежник» (1858—1863) и «Семейные вечера» (1864—1866), издававшихся ее мужем Владимиром Николаевичем Майковым, публицистом и переводчиком.

С середины 50-х и до конца 60-х годов Гончарова связывали с Майковой дружеские отношения. Черты ее легли в основу лучших женских образов Гончарова — Ольги и Веры. Обладая беллетристическими способностями и художественным чутьем, Майкова оказывала Гончарову помощь в подготовке к печати рукописи романа «Обломов». В 1869 году, сойдясь с представителем «новых людей», студентом Ф. В. Любимовым, демократка по происхождению и воспитанию, Е. П. Майкова оставила семью Майковых и уехала с Любимовым на Кавказ, в коммуну. С этого времени ее отношения с Гончаровым были прерваны, хотя в последних письмах к ней Гончаров старался предотвратить семейную катастрофу, а затем и вернуть Майкову в семью (см.: О. М. Чемена, Создание двух романов. Гончаров и шестидесятница Е. П. Майкова, изд-во «Наука», М. 1966, стр. 114).

Печатается по публикации «Московской газеты», 1912, 4 июня.

[1] Стр. 65. В 1912 году, когда публиковались воспоминания, Майковой было семьдесят шесть лет.

[2] Стр. 65. В. Н. Майков соредактором «Современника» не был.

[3] Стр. 65. Известно, что с 1835 года Гончаров преподавал Аполлону и Валериану Майковым курс истории русской литературы, риторику и латинский язык. И позже в кружке Майковых Гончаров вел увлекательные беседы о русской литературе, слушательницей и участницей которых в 50-х годах была и Е. П. Майкова.

[4] Стр. 65. *«Подснежник»* — ежемесячный журнал для детского и юношеского возрастов, издавался В. Н. Майковым при ближайшем участии Е. П. Майковой не с 1852 года, а с 1858 по 1863 год. Гончаровым был опубликован в нем очерк «Два случая из морской жизни» (1858, №№ 2—3).

[5] Стр. 66. Заграничное путешествие Гончарова, частично вместе с В. Н. и Е. П. Майковыми, совершалось летом 1859 года по маршруту: Дрезден, Мариенбад, Швальбах, Париж, Булонь, Дрезден. Во время путешествия Гончаров встречался в Дрездене с А. Н. Майковым, в Париже — с Д. В. Григоровичем и В. А. Соллогубом. С Тургеневым заграничных встреч летом 1859 года, по-видимому, не было. Гончаров встречался с Тургеневым в Париже летом 1857 года.

[6] Стр. 66. Произведения величайших мастеров западноевропейского искусства произвели на Гончарова впечатление не менее сильное, чем на Тургенева. Посетив впервые в 1857 году Лувр, Гончаров писал И. И. Льховскому: «Вчера был в Лувре и с полчаса в удивлении просидел перед Венерой Милосской». Посетив в том же году Дрезденскую галерею и увидев там «Сикстинскую мадонну» Рафаэля, он сообщал Ю. Д. Ефремовой: «Я от нее без ума; думал, что во второй раз увижу равнодушно; нет, это говорящая картина, и не картина, это что-то живое и страшное. Все прочее бледно и мертво перед ней» («Невский альманах», 1917, вып. 2, стр. 33). И многими годами позже в письме к великому князю Константину Константиновичу Гончаров снова выражает свое отношению к Рафаэлю: «Рафаэль был, конечно, гений... Ни Тициан, ни Гвидо Рени, ни Мурильо, ни Рубенс с Рембрандтом не достигли (хотя и гении) той высоты творчества, какой достиг Рафаэль в Сикстинской мадонне...» (ИРЛИ, ф. 137, № 65).

[7] Стр. 67. Это утверждение не соответствует действительности, так как в 1859—1860 годах И. И. Льховский находился в кругосветном плавании на корвете «Рында».

[8] Стр. 68. Первым обвинительным письмом было письмо от 28 марта 1859 года. В еще более резком тоне написаны письма от 3 и 27 марта 1860 года, имеющие прямое отношение к роману Тургенева «Накануне».

[9] Стр. 68. И. И. Льховский на суде не присутствовал.

[10] Стр. 68. Во избежание сходства Тургенев действительно изъял из рукописи «Дворянского гнезда» главы, посвященные описанию семейных портретов предков Лаврецкого и ночную сцену Лизы с Марфой Тимофеевной.

[11] Стр. 68. Историк русской литературы Д. Н. Овсянико-Куликовский, проживавший на даче в Хосте, бывал частым гостем у Е. П. Майковой в Сочи. Один из разделов своей «Истории русской интеллигенции» (гл. XI, «Обломов и Штольц», раздел 3) Д. Н. Овсянико-Куликовский снабдил посвящением Е. П. Майковой. (Д. Н. Овсянико-Куликовский, История русской интеллигенции, ч. I, изд. 2-е. М. 1907, стр. 326).

[12] Стр. 68. В письме к И. С. Тургеневу от 28 марта 1859 года Гончаров сообщал: «Разбор и переписку моих ветхих лоскутков программы взяла на себя милая больная Майкова» («Русская литература», 1961, № 4, стр. 199). А самой Майковой в начале 1869 года Гончаров писал: «Помните, как усердно и радушно переписывали мне, лет десять тому назад, программу нынешнего моего романа «Обрыв»? Во второй части этого романа у меня еще цела переписанная вашей рукой тетрадь... Я смело могу обратиться к вам и вашему свидетельству, вместе с немногими другими лицами, как участнице моих литературных замыслов» (И. А. Гончаров, Собрание сочинений, т. VIII, Гослитиздат, М. 1955, стр. 396).

А. М. Скабичевский

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ»

Скабичевский Александр Михайлович (1838—1910) — критик и историк русской литературы либерально-народнического направления, сотрудник «Отечественных записок», «Русского богатства» и многих других изданий. Ему принадлежат несколько статей, посвященных творчеству Гончарова. Наиболее значительны из них: «О воспитательном значении произведений гг. Тургенева и Гончарова» («Невский сборник», т. I, СПб. 1867), «Старая правда» («Отечественные записки», 1869, № 10), выражающая резко отрицательное отношение демократической части русской интеллигенции к роману «Обрыв», и «Эпидемия легкомыслия» («Русское богатство», 1880, № 2), резко критикующая очерк Гончарова «Литературный вечер».

«Воспоминание о пережитом» частично публиковалось в «Русском богатстве» (1907, № 7); «Кое-что из моих личных воспоминаний» вошло в книгу: А. Скабичевский, Сочинения, т. II, изд. 3-е, СПб. 1903.

Печатается по изданию: А. М. Скабичевский, Литературные воспоминания, ЗИФ, М. — Л., 1928, стр. 113—115, 168—169.

[1] Стр. 71. По желанию Николая I Н. А. Майков в течение десяти лет расписывал иконостасы Исаакиевского собора, за что в 1835 году получил звание академика исторической живописи.

[2] Стр. 71. Екатерина Павловна Майкова (см. о ней примеч. на стр. 270).

П. М. Ковалевский

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ

(Отрывок)

Ковалевский Павел Михайлович (1823—1907) — беллетрист, поэт, переводчик, художественный критик, сотрудничавший в «Современнике», «Отечественных записках», а затем в «Вестнике Европы»; племянник министра народного просвещения (1858—1861) Евграфа Петровича Ковалевского и писателя, путешественника и многолетнего председателя Литературного фонда Егора Петровича Ковалевского. Служил управляющим Экспедицией для ревизии материальной отчетности Морского министерства. С Гончаровым знаком с конца 50-х годов.

Впервые — «Русская старина», 1910, № 1, стр. 32—33. Печатается по изданию: Д. В. Григорович, Литературные воспоминания. С приложением полного текста воспоминаний П. М. Ковалевского. «Academia», Л. 1928, стр. 428—430.

[1] Стр. 73. *Любим Торцов* — персонаж пьесы Островского «Бедность не порок» (1854).

[2] Стр. 73. «Дворянское гнездо» И. С. Тургенева опубликовано в № 1 «Современника» за 1859 год. Из этого следует, что обед, о котором рассказывает мемуарист, относится к концу декабря 1858 года.

Л. Ф. Пантелеев

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПРОШЛОГО

(Отрывок)

Пантелеев Лонгин Федорович (1840—1919) — видный участник революционного движения 60-х годов, один из активных деятелей первой «Земли и Воли». По возвращении из ссылки (1874) сотрудничает в «Отечественных записках» и становится известным книгоиздателем.

Вошло в книгу: Л. Ф. Пантелеев, Из воспоминаний прошлого, СПб., 1905. Печатается по изданию: Л. Ф. Пантелеев, Воспоминания, Гослитиздат, М. 1958, стр. 220—223, 225—227.

[1] Стр. 76. Генслер Иван Семенович (1820—187?) — писатель-юморист и переводчик 60-х годов, по профессии ветеринарный врач, автор очерков «Гаванские чиновники в домашнем быту, или Галерная гавань во всякое время года (Пейзаж и жанр)», опубликованных в № 11 журнала «Библиотека для чтения» за 1860 год.

[2] Стр. 77. Имеются в виду необоснованные обзинения по адресу Некрасова в отстранении им Белинского от участия в редакции «Современника» и о присвоении Некрасовым и Панаевой принадлежащих Огареву денег. Обвинения эти документально опровергнуты исследованиями советских литературоведов (см.: Я. З. Черняк, Огарев, Некрасов, Герцен, Чернышевский в споре об огаревском наследстве, изд-во «Academia», М. — Л. 1933; В. Е. Евгеньев-Максимов, «Современник» в 40-е годы, Л. 1934, стр. 79—110).

П. В. Анненков

ШЕСТЬ ЛЕТ ПЕРЕПИСКИ С И. С. ТУРГЕНЕВЫМ
1856—1862
(Отрывок)

Анненков Павел Васильевич (1812 или 1813—1887) — литературный критик и мемуарист, находившийся в близких отношениях с Белинским, Гоголем, Герценом, Тургеневым и многими другими писателями. В 1855—1857 годах П. В. Анненков отредактировал и издал первое научное издание сочинений А. С. Пушкина в семи томах. Наибольшую ценность из его литературного наследия составляют мемуары, собранные в книге «Замечательное десятилетие. 1838—1848» (1880).

Знакомство Гончарова с Анненковым относится, по-видимому, ко времени его личного знакомства с Белинским, то есть к весне 1846 года.

Впервые — «Вестник Европы», 1885, № 3, стр. 39—40. Печатается по изданию: П. В. Анненков, Литературные воспоминания, Гослитиздат, М. 1960, стр. 441—443.

[1] Стр. 79. Четвертого эксперта, А. В. Никитенко, П. В. Анненков не называет. Это же упущение было сделано позже и Л. Н. Майковым в статье «Ссора между И. А. Гончаровым и И. С. Тургеневым в 1859—1860 годах» («Русская старина», 1900,

№ 1). Однако Гончаров в «Необыкновенной истории» («Сборник Российской публичной библиотеки», т. II, Пг. 1924, стр. 29), а также сам А. В. Никитенко (см. стр. 117 наст. изд.) свидетельствуют, что четвертым экспертом на третейском суде был А. В. Никитенко.

Р. И. Сементковский

ВСТРЕЧИ И СТОЛКНОВЕНИЯ
И. А. ГОНЧАРОВ

Сементковский Ростислав Иванович (1846—1918) — писатель, публицист и литературный критик; сотрудник многих либеральных газет и журналов. По образованию юрист. В 1872—1876 годах — сотрудник «Нового времени», с 1897 года — редактор «Нивы».

Печатается по публикации в «Русской старине», 1912, № 11, стр. 264—268.

[1] Стр. 81. Опекуном и воспитателем Р. И. Сементковского был генерал Иван Иванович Тутчек, участник (в чине капитана) Отечественной войны 1812 года и кампании 1813—1814 годов; затем (1835—1861) — военный комендант Варшавы.

[2] Стр. 81. Отзыв этот высказан В. Г. Белинским о стихотворении Е. Бернета «Призрак» в рецензии на его поэму «Елена» (1838) (В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. II, изд-во АН СССР, М. 1953, стр. 412).

[3] Стр. 81. И. И. Льховский не плавал с Гончаровым на фрегате «Паллада». В 1859 году с помощью Гончарова Льховский был определен на корвет «Рында», совершивший кругосветное плавание по маршруту, близкому фрегату «Паллада». Эта же ошибка повторяется Сементковским и на стр. 83.

[4] Стр. 81. В «Морском сборнике» (№№ 1, 2, 11 за 1861 год) И. И. Льховским опубликован очерк «Сан-Франциско (Из заметок о кругосветном плавании)», в № 2 за 1862 год — очерк «Сандвичевы острова».

Ф. А. Кудринский

К БИОГРАФИИ И. А. ГОНЧАРОВА

Кудринский Федор Андреевич — историк, публицист, сотрудник «Киевской старины», «Виленского вестника» и других изданий.

Очерк воспроизводит воспоминания об И. А. Гончарове Александры Яковлевны Колодкиной, начальницы виленского Мариин-

ского высшего женского училища (1876—1890). Воспоминания относятся к периоду пребывания писателя за границей в летние месяцы 1866 года.

Печатается по публикации в «Вестнике Европы», 1912, № 7, стр. 354—362.

[1] Стр. 87. Письмо написано Гончаровым в в августе 1866 года.

[2] Стр. 89. Бароном Шериваль-Валлен.

[3] Стр. 89. Летом 1866 года, находясь в Мариенбаде, а затем в Булони, Гончаров продолжал работу над романом «Обрыв».

[4] Стр. 92. У Пушкина: «Не все я в небе ненавидел...».

[5] Стр. 92. Несколько видоизмененные строки из стихотворения А. А. Фета «Венера Милосская» («Современник», 1857, № 10, стр. 310).

Е. П. Левенштейн

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ И. А. ГОНЧАРОВЕ

Левенштейн Евдокия Петровна (1848—1911) — приемная дочь сестры Гончарова, А. А. Музалевской, вышедшая замуж за московского врача-психиатра, имевшего свою лечебницу для бедных. И. А. Гончаров относился к ней с большой симпатией.

Воспоминания Е. П. Левенштейн записаны с ее слов Е. А. Гончаровой и состоят из двух разрозненных частей. Первая часть опубликована М. Ф. Суперанским в сборнике «Огни» (кн. 1, Пг. 1916, стр. 179—184), вторая — в «Вестнике Европы», 1908, № 12, стр. 44—45. Печатается по вышеуказанным публикациям.

[1] Стр. 96. В книге «Фрегат „Паллада"».

[2] Стр. 96. Находясь за границей, Гончаров отдыхал и лечился преимущественно в Мариенбаде и в Булони.

[3] Стр. 99. Гончаров выехал из Симбирска на пароходе 11 или 12 июля 1862 года.

В. М. Чегодаева

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ И. А. ГОНЧАРОВЕ

Чегодаева Вера Михайловна, рожд. Дмитриева, княгиня — внучка московского поэта М. А. Дмитриева и родственница поэта и баснописца XVIII века И. И. Дмитриева. Ее мать Аделаида Карловна — сестра жены брата писателя. Воспоминания были написаны В. М. Чегодаевой по просьбе биографа И. А. Гончарова М. Ф. Су-

перанского к столетию со дня рождения писателя и для печати не предназначались.

Печатается впервые по рукописи, хранящейся в Центральном государственном архиве литературы и искусства в Москве (ЦГАЛИ, ф. 488, оп. 1, № 14).

[1] Стр. 105. В 1844 году И. А. Гончаров в Симбирске не был. Известно также, что первоначально героиню «Обрыва» звали не Вера, а Елена (см. стр. 250).

[2] Стр. 106. Посылая Н. А. Гончарову автобиографию для публикования в «Сборнике исторических и статистических материалов о Симбирской губернии», И. А. Гончаров писал ему 29 декабря 1867 года: «Скажу тебе откровенно, меня удивляет немного это помещение биографий, да еще подробных (в «Симбирской памятной книжке», то есть в местном календаре), сочинителей, особенно таких, как Мих. Дмитриев, например, и как твой возлюбленный братец и некоторые другие... Прочие симбирские уроженцы писатели, не исключая и великолепного действительного тайного советника И. И. Дмитриева, писавшего в свое время элегантные стихи, должны уступить свое место в календаре деятелям другого рода, принесшим более пользы и добра краю, нежели мы своими песнопениями и рассказами» («Новое время», илл. прилож., 1912, 30 июня).

[3] Стр. 107. Племянник И. А. Гончарова А. Н. Гончаров в своих воспоминаниях о дяде писал: «Мать рассказывала мне, что, прочитав «Обрыв», она узнала в учителе Козлове своего мужа, — сходство несомненное; ее же самое, в лице Ульяны Андреевны, Гончаров изобразил «распутной», из чувства мести: он не любил ее за то, что она часто резко высказывала то, что думала, и даже однажды назвала его Ванькой Каином» («Вестник Европы», 1908, № 11, стр. 19).

[4] Стр. 108. Н. Г. Чернышевский был лично знаком с Н. А. и Е. К. Гончаровыми. В своем дневнике (конец марта 1851 года) он писал: «Лизавета Карловна — славная женщина, хороша собою, только весьма худа и зелена, должно быть, от скуки, тоски, может быть, и от болезни... к ней довольно идут эпитеты, которые придает ей Дмитрий Иванович: «воздушная», «Ундина Карловна» и т. п.» (Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. I. Гослитиздат, М. 1939, стр. 402).

[5] Стр. 109. Не Дмитрий Дмитриевич, а его отец — Дмитрий Иванович Минаев. Н. Г. Чернышевский в том же дневнике записывал: «Как тут у них после обеда забавничал Дм[итрий] Ив[анович], как он вырезывал у них себе ордена из карт, покуда спал муж, и заставлял Лизавету Карловну хохотать так, как «я не хохотала

пять лет», т. е. со дня отъезда Дм[итрия] Ив[ановича]» (там же, стр. 404).

[6] Стр. 109. *Гернгутеры* — религиозная секта (возникла в Западной Европе в XV веке); в числе ее требований было сохранение безбрачия.

[7] Стр. 109. В письме к брату от 25 мая 1857 года И. А. Гончаров писал: «Если ты продашь дом, то придержись моего совета: деньги прятать и притом на свое имя, чтоб они перешли к детям, а не на имя жены. Я не на счет одной только жены твоей говорю, а вообще о всех женщинах: разумею так, что чем меньше им доверяешь, тем лучше. Особенно деньги проходят у них сквозь пальцы и быстро обращаются в тряпки... Может быть, я этим советом кое-кому и не понравлюсь, но что за важность: пусть посердятся, а все-таки считаю не излишним сказать свое мнение, потому что — ум хорошо, а два лучше» («Новое время», илл. прилож., 1912, 30 июня).

[8] Стр. 109. Сестра И. А. Гончарова А. А. Музалевская, если верить А. Н. Гончарову, тратила много средств безрассудно. А. Н. Гончаров вспоминал: «По временам она делалась совершенно ненормальной, или, как говорил ее муж, начинала «куролесить»: она накупала в магазинах множество разных материй и без конца кроила, шила для себя и для своих приемных дочерей платья, юбки, кофты при помощи нескольких приглашенных на дом портних» («Вестник Европы», 1908, № 11, стр. 20).

М. В. Кирмалов

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ И. А. ГОНЧАРОВЕ

Кирмалов Михаил Викторович (1863—1920) — сын племянника И. А. Гончарова В. М. Кирмалова, пользовавшегося наибольшей симпатией и вниманием со стороны писателя. Так, в одном из писем 1863 года к Кирмаловым И. А. Гончаров писал: «Ты собираешься, Виктор Михайлович, в конце мая приехать сюда и спрашиваешь, рад ли я буду тебя видеть; еще бы! Не только рад, но дам тебе и деньжонок на проезд из Москвы и обратно. Скажу даже тебе, что мне очень часто скучно бывает, что вас нет с Дашенькой здесь, и что при вас мне было бы гораздо веселее, как с близким и милым семейством» («Вестник Европы», 1908, № 12, стр. 432). Не изменились его симпатии к молодым Кирмаловым и четверть века спустя. В 1888 году в письме к Д. Л. Кирмаловой он снова подтверждает: «Из родных, кроме сестер, Александры и Анны Александровны, вы с Виктором Михайловичем ближе мне других племянников». И в том же письме об их сыне: «Миша твой был у меня: он такой хоро-

шний, скромный молодой человек, — и мне остается повторить с тобою: дай бог, чтоб он таким и остался!» (там же, стр. 435).

По окончании Петербургского лесного института М. В. Кирмалов служил лесничим в городах Себеж и Речица.

Воспоминания М. В. Кирмалова, как и воспоминания Е. А. Гончаровой и В. М. Чегодаевой, написаны по просьбе М. Ф. Суперанского к столетию со дня рождения И. А. Гончарова и для печати не предназначались. Нет сомнения в том, что в большей своей части они написаны со слов отца, хорошо знавшего И. А. Гончарова с 1858 года, «в самый богатый в смысле переживаний и встреч период его жизни». Сам М. В. Кирмалов, посылая М. Ф. Суперанскому в январе 1913 года свои воспоминания, писал ему: «Высылаю вам «навозну кучу» набросков воспоминаний об И. А. Гончарове. Буду счастлив, если в этой куче вы найдете зерно — не говорю жемчужное, а хотя бы ячменное» (ЦГАЛИ, ф. 488, оп. 1, № 51).

Публикуется впервые, с сокращениями, по рукописи, хранящейся в Центральном государственном архиве литературы и искусства в Москве (ЦГАЛИ, ф. 488, оп. 1, № 51).

[1] Стр. 110. Имеется в виду издание басен И. А. Крылова 1834 года с иллюстрациями А. П. Сапожникова.

[2] Стр. 111. О Л. М. Гулак-Артемовской и ее процессе см.: А. Ф. Кони, Собрание сочинений, т. I, Юриздат, М. 1966, стр. 139—147.

[3] Стр. 112. Варвара Лукинична Лукьянова, в замужестве Лебедева, была гувернанткой детей сестры И. А. Гончарова А. А. Кирмаловой. Впоследствии, при содействии Гончарова, стала классной дамой и начальницей петербургского Николаевского сиротского института. Варвара Лукинична — первое сильное увлечение И. А. Гончарова во время его приезда в Симбирск летом 1849 года. Роман не завершился браком, но дружеские отношения между ними и переписка продолжались до 80-х годов. Известно, что в 1882 году В. Л. Лукьянова просила И. А. Гончарова дать благословение под венец ее дочери Варе (ИРЛИ, ф. 134, оп. 8, № 29).

А. В. Никитенко

ИЗ «ДНЕВНИКА»

Никитенко Александр Васильевич (1804—1877) — литературный и общественный деятель умеренно-либерального направления; профессор Петербургского университета, академик; в течение многих лет служил в различных учреждениях цензурного ведомства и Министерства народного просвещения и редактировал правительственные

органы — «Журнал Министерства народного просвещения» и газету «Северная почта». Начиная с пушкинских времен, А. В. Никитенко был лично знаком со многими писателями. В 1847—1848 годах он был официальным редактором «Современника». К этому времени, по-видимому, и относится его личное знакомство с Гончаровым, ставшее особенно близким в период службы Гончарова цензором Петербургского цензурного комитета, а затем в Министерстве внутренних дел.

Последние годы жизни А. В. Никитенко жил в Павловске, почти не встречаясь с Гончаровым. В статье «Мысли о реализме в литературе» (1872) он неодобрительно отозвался о романе Гончарова «Обрыв», что не могло не сказаться в какой-то мере и на их личных отношениях.

В 1888 году, когда С. А. Никитенко подготовляла к печати «Дневник» своего отца, Гончаров имел намерение написать в качестве предисловия к нему очерк жизни и деятельности А. В. Никитенко. М. И. Семевский вспоминал: «Весною 1888 года в С.-Петербурге Иван Александрович прочел нам этот очерк, и мы находимся еще и теперь под живым впечатлением мастерской его характеристики... Сердечно желаем видеть помянутый очерк в печати» («Русская старина», 1888, № 12, стр. 775—776). Но очерк в печати не появился, и рукопись его неизвестна.

Впервые — «Русская старина», 1888—1892. Публикуется по изданию: А. В. Никитенко, Дневник, тт. I—III, Гослитиздат, М. 1955—1956.

[1] Стр. 115. Обед был организован, по-видимому, Н. А. Некрасовым для примирения редакции «Современника» с И. С. Тургеневым, обидевшимся на статью Н. Г. Чернышевского «Русский человек на rendez-vous».

[2] Стр. 115. Князь Г. А. Щербатов, будучи с 26 августа 1856 года по 18 июля 1858 года председателем Петербургского цензурного комитета, являлся непосредственным начальником цензора Гончарова и находился с ним в хороших отношениях. Гончаров бывал частым гостем на вечерах у Щербатова и от его имени приглашал петербургских литераторов посещать его пятницы, с той целью, чтобы председатель цензурного комитета имел возможность лично познакомиться с редакторами журналов и с писателями, что являлось одним из проявлений показного либерализма Г. А. Щербатова.

[3] Стр. 116. «Роскошный» литературный обед был дан Гончаровым по поводу предстоящего выхода из печати первой части романа «Обломов», публиковавшегося в «Отечественных записках».

[4] Стр. 116. Имеется в виду стихотворение Н. А. Некрасова «Я посетил твое кладбище...», написанное в 1849 году и напечатанное в № 9 «Современника» за 1856 год.

[5] Стр. 116. По установившейся традиции Некрасов отмечал выход каждого номера «Современника» литературным обедом.

[6] Стр. 116. Известной поэтессы Каролины Карловны Павловой.

[7] Стр. 116. По-видимому, С. А. Никитенко, подготовлявшая первую публикацию «Дневника», здесь допустила ошибку в датировке: И. С. Тургенев выехал из Петербурга 29 апреля 1859 года, — 30 апреля было уже датировано его письмо из Крестов (возле Пскова) к графине Е. Е. Ламберт (И. С. Тургенев, Полное собрание сочинений и писем. Письма, т. III, изд-во АН СССР, М. — Л. 1961, стр. 298). Обед состоялся, вероятно, 27 или 28 апреля 1859 года.

[8] Стр. 116. Гончаров выехал за границу вместе с Вл. Н. и Ек. П. Майковыми 22 мая 1859 года.

[9] Стр. 116. «Художник» — одно из предполагаемых Гончаровым названий («Эпизоды из жизни Райского», «Райский», «Вера») будущего романа «Обрыв». Окончательное название роман получил летом 1868 года, когда Гончаров вместе с М. М. Стасюлевичем находился в Швальбахе («М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. IV, СПб. 1912, стр. 32).

[10] Стр. 121. Летом 1860 года Гончаров, находясь за границей, напряженно работал над романом «Обрыв» и по возвращении в Петербург опубликовал из него два отрывка: «Портрет» и «Бабушка» («Отечественные записки», 1861, №№ 1, 2). Образ Веры по первоначальному замыслу во многом не соответствовал тому, который появился в окончательном тексте романа. Сам Гончаров в письме к Ек. П. Майковой (апрель 1869 года) признавался: «У меня первоначальная мысль была та, что Вера, увлеченная героем, следует после, на его призыв, за ним, бросив все свое гнездо, и с девушкой пробирается через всю Сибирь» (И. А. Гончаров, Собрание сочинений, т. VIII, Гослитиздат, М. 1955, стр. 398).

[11] Стр. 122. Обед был дан Гончаровым по случаю вступления его с 29 сентября 1862 года в должность главного редактора «Северной почты».

[12] Стр. 123. На первом заседании совета Гончарову было предусмотрено наблюдение над «Современником», «Русским словом» и несколькими второстепенными изданиями.

[13] Стр. 124. Статья М. А. Антоновича «Пища и ее значение» предназначавшаяся для «Современника», после запрещения ее к печати Петербургским цензурным комитетом поступила на рассмотрение Совета по делам книгопечатания, ввиду протеста редактора журнала Н. А. Некрасова. Заключение о статье было поручено сделать

И. А. Гончарову, который в своем отзыве от 27 января 1864 года находил возможным дозволить печатание статьи с некоторыми исключениями («Северные записки», 1916, № 9, стр. 149—150). Однако на заседании совета 30 января Гончаров просил дать эту статью на рассмотрение еще кому-либо из членов совета. После отзыва А. В. Никитенко статья была запрещена (см. его запись от 5 марта 1864 года).

[14] Стр. 124. На похоронах А. В. Дружинина и на обеде в его память произошло примирение Гончарова с Тургеневым после разрыва их отношений в 1860 году (подробнее см. на стр. 11—12).

[15] Стр. 127. В это время Никитенко не служил в Главном управлении по делам печати. Недовольный новой цензурной политикой, он вынужден был уйти в отставку 28 августа 1865 года.

[16] Стр. 128. Более обстоятельную характеристику деятельности Главного управления по делам печати, данную А. В. Никитенко, см. на стр. 19.

[17] Стр. 128. А. А. Краевский был привлечен к суду за опубликование статьи И. А. Острикова «Остзейский край со стороны религиозной нетерпимости» («Голос», 1865, 2 декабря), в которой вскрывался ряд фактов преследования раскольников «со стороны неразумных ревнителей православия». Цензурное ведомство усмотрело в статье «восстание против правительства» и потребовало на этом основании ссылки Краевского в каторжные работы. Так как судебная палата не согласилась с подобной квалификацией, дело по протесту прокурора было перенесено в сенат, который 27 мая 1866 года определил подвергнуть Краевского двухмесячному аресту на военной гауптвахте, Острикова — трехдневному («Материалы о цензуре и печати», т. III, ч. 1, стр. 12—64).

[18] Стр. 129. Это суждение А. В. Никитенко получило развитие в его статье «Мысли о реализме в литературе» («Журнал Министерства народного просвещения», 1872, № 1, стр. 53—54).

[19] Стр. 129. Удрученное состояние Гончарова было вызвано резко отрицательными отзывами критики о романе «Обрыв».

[20] Стр. 129. Литературный сборник «Складчина», составленный из трудов русских литераторов в пользу голодающих Самарской губернии, был издан в Петербурге в 1874 году.

А. П. Плетнев

ТРИ ВСТРЕЧИ С ГОНЧАРОВЫМ

Плетнев Алексей Петрович (род. 1854) — писатель и критик; сын П. А. Плетнева и его второй жены, А. В. Плетневой, многие годы живший в Париже. Гончаров был в добрых отношениях с его

родителями. Сохранились три письма его к А. В. Плетневой, в одном из которых (от 26 февраля 1870 года) он писал: «Приношение вам книги [«Обрыв»] — простой долг с моей стороны, слабое выражение признательности и вам и к памяти Петра Александровича. Друг Карамзина, Жуковского, Крылова, Пушкина — он до конца жизни не переставал и не уставал одобрительно-ласково встречать всякое новое, даже незначительное дарование в литературе. И меня, при первом моем шаге в литературе, он приветствовал с дружеской добротой, которая не изменялась в течение двадцати лет. Вы... Нужно ли напоминать вам ваше любезное радушие и тонкую, живую внимательность, которую вы вместе с ним оказывали и оказываете до сих пор автору поднесенного вам «Обрыва» — и этих строк?» («Временник Пушкинского дома. 1914», Пг. 1915, стр. 128—129).

Впервые — «Одесский листок», 1912, 7 июня. Печатается по изданию: А. П. Плетнев, Собрание сочинений, т. III, Одесса, 1913, стр. 38—40.

[1] Стр. 131. Первая встреча А. П. Плетнева с И. А. Гончаровым произошла или в мае, или в августе 1869 года в Берлине, где А. П. Плетнев был с матерью, когда ему было пятнадцать лет.

П. Д. Боборыкин

ТВОРЕЦ «ОБЛОМОВА»
(Из личных воспоминаний)

Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921) — писатель. В 1863—1865 годах издавал журнал «Библиотека для чтения». Сотрудничал во многих либеральных и народнических журналах. Начиная с 90-х годов жил за границей, где и умер.

С И. А. Гончаровым знаком с 1870 года. В 1874 году Гончаров одобрительно отозвался об очерке Боборыкина «Василий Игнатьевич Живокини», предназначенном для сборника «Складчина» (ИРЛИ, ф. 357, оп. 2, № 90).

С воспоминаниями о Гончарове, кроме опубликованных в настоящем издании, П. Д. Боборыкин выступал также в 1901 году в связи с десятилетием со дня смерти И. А. Гончарова («Новости», 1901, 29 октября) и в 1912 году («Русское слово», 1912, 6 июня) в связи со столетием со дня рождения. Мы опускаем эти очерки, как не вносящие ничего принципиально нового в сравнении с публикуемым.

Впервые — «Русские ведомости», 1892, 8 декабря. Печатается по изданию: П. Д. Боборыкин, Воспоминания в двух томах,

т. II, изд-во «Художественная литература», М. 1965, стр. 434—446. Отдельными фрагментами воспоминания эти вошли в книгу П. Д. Боборыкина «За полвека. Мои воспоминания», ЗИФ, М. — Л. 1929 (см. указанное выше издание, т. II, стр. 107—110).

[1] Стр. 133. Имеется в виду статья Гончарова «Нарушение воли», в заключении которой автор обращался с настоятельной просьбой: «Пусть же добрые, порядочные люди, джентльмены пера, исполнят последнюю волю писателя, служившего пером честно, — и не печатают... ничего, что я сам не напечатал при жизни и чего не назначал напечатать по смерти». Статья отрицательно сказалась на сохранности эпистолярного наследия Гончарова. Сам Гончаров незадолго до смерти уничтожил почти все из своей обширной переписки и многие рукописи художественных произведений. С. М. Шпицер рассказывает со слов экономки Гончарова, А. И. Трейгут: «Однажды, это было зимою, как раз после болезни Ивана Александровича, топился вечером камин, у которого мы вместе сидели. Вдруг смотрю, Иван Александрович встает, подходит к письменному столу, достает всю свою огромную переписку и просит меня помочь ему спалить письма — бросать их в камин. Долго мы тогда сидели, подбрасывая письма в огонь, а камин все топился, ярко освещая вспыхивающим пламенем нашу комнату. Таким образом, очень много бумаг было тогда сожжено» (С. М. Шпицер, И. А. Гончаров, изд-во «Школа», СПб. 1912, стр. 35).

[2] Стр. 133. Об этом писал Н. С. Лесков в статье «Литературный вопрос» («Северный вестник», 1892, № 6) в связи с публикацией В. Русаковым (С. Ф. Либровичем) очерка «Случайные встречи с И. А. Гончаровым» (см. примеч. на стр. 287—288).

[3] Стр. 134. Имеется в виду изданное в 1884 году «Первое собрание писем И. С. Тургенева. 1840—1883 гг.».

[4] Стр. 134. Имеются в виду «Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену. С объяснительными примечаниями М. Драгоманова», Женева, 1892.

[5] Стр. 134. В 1863—1865 годах Боборыкин был издателем-редактором журнала «Библиотека для чтения».

[6] Стр. 135. «Физиология человека» Ф. К. Дондерса вышла в переводе П. Д. Боборыкина и В. И Бакста в Петербурге в 1860 году.

[7] Стр. 135. Владимир Николаевич Пирогов и Владимир Антонович Бистром, брат второй жены Н. И. Пирогова, Александры Антоновны.

[8] Стр. 137. Вероятнее всего, у редактора «Вестника Европы» М. М. Стасюлевича, с которым Гончаров находился в дружеских

отношениях, а Боборыкин в 70-х годах сотрудничал в «Вестнике Европы». Но не исключено, что вечер мог быть и у редактора-издателя «Русской старины» М. И. Семевского.

[9] Стр. 138. Передовая демократическая критика отрицательно оценила роман «Обрыв», — см. статьи Н. Щедрина «Уличная философия» («Отечественные записки», 1869, № 6), Н. В. Шелгунова «Талантливая бесталанность» («Дело», 1869, № 8), А. М. Скабичевского «Старая правда» («Отечественные записки», 1869, № 10), М. К. Цебриковой «Псевдоновая героиня» («Отечественные записки», 1870, № 5).

[10] Стр. 138. Редактор журнала «Вестник Европы» М. М. Стасюлевич в письме А. К. Толстому 10 мая 1869 года писал по этому поводу: «О романе Ивана Александровича ходят самые разнообразные слухи, но все же его читают, и многие читают. Во всяком случае, только им можно объяснить страшный успех журнала: в прошедшем году за весь год у меня набралось 3700 подписчиков, а нынче, 15 апреля, я переступил журнальные геркулесовы столпы, то есть 5000, а к 1 мая имел 5200» («М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. II, СПб. 1912, стр. 331).

[11] Стр. 138. В «Необыкновенной истории», рассказывая о своих творческих замыслах, относящихся к 1855 году, Гончаров писал: «Вместо нигилиста Волохова, каким он вышел в печати, у меня тогда был намечен в романе сосланный под надзор полиции, по неблагонадежности, вольнодумец. Но такого резкого типа, каким вышел Волохов, не было, потому что в сороковых годах нигилизм еще не проявился вполне. А посылали по губерниям часто заподозренных в вольнодумстве лиц. Но как я тянул, писал долго, то и роман мой видоизменялся, сообразно времени и обстоятельствам. Я был вторично в 1862 году на Волге — и тогда Волоховы явились повсеместно уже такими, каким он изображен в романе» («Сборник Российской публичной библиотеки», т. II, Пг. 1924, стр. 15).

[12] Стр. 139. Помимо обвинений в плагиате И. С. Тургенева, чрезмерно подозрительный Гончаров утверждал в «Необыкновенной истории»: «Если б я не пересказал своего «Обрыва» целиком и подробно Тургеневу, то не было бы на свете — ни «Дворянского гнезда», «Накануне», «Отцов и детей» и «Дыма» в нашей литературе, ни «Дачи на Рейне» в немецкой, ни «Madame Bovary» и «Education sentimentale» во французской, а может быть, и многих других произведений, которых я не читал и не знаю» («Сборник Российской публичной библиотеки», т. II, Пг. 1924, стр. 109—110).

[13] Стр. 142. Впервые Гончаров отдыхал в Дуббельне (ныне Дубулты, Латвийской ССР) в 1879 году, затем каждое лето в 1880—

1886 годах и в 1888 году. С Боборыкиным Гончаров впервые встретился в Дуббельне в 1880 году.

[14] Стр. 142. С А. Ф. Кони, одним из наиболее близких друзей Гончарова.

[15] Стр. 143. Имеются в виду слова Гончарова: «Пора бы оставить в покое ничего не выражающую фразу «искусство для искусства».Этим грехом, между прочим, еще не так давно упрекали почти всех наших писателей, даже, кажется, и Пушкина! Что-нибудь одно: или у писателя нет таланта — и он пишет только для искусства писать, но тогда не было бы никакой живописи, никаких живых лиц и ничего бы не выходило. А если признают талант, а с ним и живопись, тогда последняя что-нибудь да выражает. Живой, то есть правдивый, образ всегда говорит о жизни, все равно какой» (И. А. Гончаров, Собрание сочинений, т. VIII, Гослитиздат, М. 1955, стр. 110). В неопубликованном при жизни Гончарова «Предисловии к роману „Обрыв“», написанном в ноябре 1869 года и предназначавшемся для отдельного издания романа, эти же мысли высказывались Гончаровым с еще большей определенностью: «Искусство объективно смотрит на жизнь, не терпит никакой лжи и натяжек. «Искусство для искусства» — бессмысленная фраза, если в ней выражается упрек, обращаемый к художникам, строго и объективно относящимся к искусству. Он справедлив единственно в отношении к бездарным художникам, то есть не художникам, а тем личностям, которые, под влиянием «раздражения пленной мысли», творят то, в чем нет ни «правды», ни «жизни», упражняясь из любви к процессу собственного своего искусства» (там же, стр. 161—162).

[16] Стр. 143. См. примечание 9 на стр. 285.

[17] Стр. 144. Гончаров до конца остался того мнения, что Тургенев не способен к созданию подлинно художественных произведений большой формы, считая, что самое лучшее из всего им написанного — «Записки охотника». Еще в 1859 году он предсказывал Тургеневу: «Сколько вы ни напишете еще повестей и драм, вы не опередите вашей «Илиады», ваших «Записок охотника»; там нет ошибок; там вы просты, высоки, классичны, там лежат перлы вашей музы: рисунки и звуки во всем их блистательном совершенстве!» (И. А. Гончаров, Собрание сочинений, т. VIII, Гослитиздат, М. 1955, стр. 307—308).

[18] Стр. 145. Письма Гончарова к П. Д. Боборыкину 80-х годов неизвестны.

[19] Стр. 145. Гончаров воспитал троих детей своего слуги, умершего в 1878 году: Александру, Елену и Василия Трейгут.

[20] Стр. 145. Имеются в виду очерки «Слуги» («Нива», 1888, №№ 1—3, 18).

Н. И. Барсов

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ И. А. ГОНЧАРОВЕ

Барсов Николай Иванович (1839—1903) — духовный писатель, автор ряда статей по истории религии и раскола. По окончании духовной академии служил преподавателем русской словесности в Петербургской духовной семинарии и в женских гимназиях. В 1869—1889 годах — профессор богословия и гомилетики Петербургской духовной академии.

Печатается по первой публикации в «Историческом вестнике» (1891, № 12, стр. 624—632). Заключительная часть статьи, не носящая мемуарного характера, опускается.

[1] Стр. 151. Адмирал Е. В. Путятин в 1852—1855 годах возглавлял экспедицию фрегата «Паллада» к берегам Японии и Восточной Сибири, на котором находился и Гончаров в качестве секретаря адмирала.

[2] Стр. 152. См. примечание 1 на стр. 294.

[3] Стр. 152. По-видимому, речь идет о чтении А. К. Толстым драмы «Царь Федор Иоаннович» у В. П. Боткина, состоявшемся 1 марта 1868 года в присутствии Гончарова (см. стр. 128).

[4] Стр. 153. Педагог, деятель народного образования, занимавший в 60-х годах видные должности в Министерстве народного просвещения, А. С. Воронов был горячим сторонником введения в России обязательного обучения. Его проект не вызвал одобрения и поддержки в высших правительственных сферах.

[5] Стр. 156. Имеются в виду цикл очерков Гончарова «Слуги» и очерк «По Восточной Сибири (В Якутске и Иркутске)».

В. Русаков (С. Ф. Либрович)

СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ С И. А. ГОНЧАРОВЫМ

Либрович (псевдоним В. Русаков) Сигизмунд Феликсович (1855—1918) — писатель, историк, библиограф, сотрудник и редактор многих изданий Товарищества М. О. Вольф.

Полученный от Н. С. Лескова сразу же по выходе из печати очерк Либровича вызвал недовольство Гончарова как недостоверностью изложенных в нем отдельных фактов из частной жизни, так и развязной манерой повествования (подробнее см. во вступительной статье, стр. 15). Желая рассеять неприятные Гончарову «преувеличения» в очерке и внести в него некоторые разъяснения и по-

правки, Лесков написал для «Нового времени» хроникальную заметку и послал ее для ознакомления Гончарову с сопроводительным письмом, в котором писал: «Не откажите пробежать эти строки, и если они не усугубляют путаницы и вам не противны, то возвратите заметку мне, а я отошлю ее Суворину» (Н. С. Лесков, Собрание сочинений, т. XI, Гослитиздат, М. 1958, стр. 367). В несохранившемся ответном письме Гончаров дал понять Лескову, что публикация этой заметки ему нежелательна, так как она может вызвать полемику и привлечь внимание читателей. На этом переписка между Лесковым и Гончаровым прекратилась. И только после смерти Гончарова, в статье «Литературный вопрос» (1892), Н. С. Лесков, возвращаясь к очерку С. Ф. Либровича, писал: «Переписка по случаю одного воспоминания происходила со мною; в этом печатном воспоминании, появившемся несколько лет тому назад и подписанном псевдонимом, было сообщено: 1) о некоторой близости Ивана Александровича к одной книгопродавческой фирме, 2) о сочинении им библиографических статей и заметок для одной известной газеты и 3) об интимных беседах его с одним известным литератором. Иван Александрович был возмущен этим и называл воспоминание «выдумкою» и хотел его опровергать, но потом отдумал это, «чтобы никому не досаждать», причем разыгралась еще и другая черта характера покойника — его мнительность... Он стал думать: «А что, если они еще заведут со мной спор?! Пожалуй, еще подберут каких-нибудь свидетелей, которые станут утверждать на их сторону!.. Извольте тогда с ними ведаться!» Он и не ведался, но оставил мне ведение, что он отвергает упомянутое воспоминание, как неверное.

И так как я знаю, что Гончаров это воспоминание отрицал, то кажется, что я и должен бы сказать теперь об этом господам биографам, и я это говорю; но я не могу ничем их удостоверить в основательности моих слов, потому что доказательство находится у меня *в письме*, а на всяком гончаровском письме лежит его запрет» («Северный вестник», 1892, № 6, отд. II, стр. 156).

Но, несмотря на выраженный Гончаровым протест, мы все же решили включить очерк С. Ф. Либровича в настоящий сборник, мотивируя это тем, что, помимо недостоверного, в нем содержится и ряд достоверных, весьма интересных фактов из жизни писателя. Учитывался при этом и субъективный момент в отзыве Гончарова, вызванный, с одной стороны, нежеланием писателя делать общеизвестными факты и события из своей частной жизни, а с другой стороны, допущенной мемуаристом бестактностью, заключавшейся в публикации без ведома и согласия Гончарова писем его к А. Ф. Писемскому.

Печатается по тексту журнала «Новь», 1888, № 7, стр. 137—144. В несколько измененном виде очерк вошел в книгу С. Ф. Либровича «На книжном посту» (1916) под названием «Кое-что из жизни автора „Обломова“».

[1] Стр. 160. Вопрос об анонимном сотрудничестве Гончарова в газете «Голос» еще недостаточно изучен. Но известно, что в 60-х—70-х годах он сотрудничал в органе Краевского, помещая там обычно небольшие хроникальные заметки (см.: А. Мазон, Материалы для биографии и характеристики И. А. Гончарова. — «Русская старина», 1911, №№ 10, 12; 1912, №№ 3, 6; А. Д. Алексеев, Летопись жизни и творчества И. А. Гончарова, изд-во АН СССР, М.—Л. 1960). Из рецензий Гончарова, написанных для «Голоса», пока известна одна — на книгу К. Ф. Ордина «Попечительный совет заведений общественного призрения в С.-Петербурге» («Голос», 1878, 8 марта).

[2] Стр. 160. Первое Полное собрание сочинений И. А. Гончарова в восьми томах в издании И. И. Глазунова вышло из печати 7 декабря 1883 года. В 1879 году вышло отдельное (третье) издание «Фрегата „Паллада“».

[3] Стр. 161. Переписка Гончарова с М. О. Вольфом не сохранилась.

[4] Стр. 161. Речь идет о пьесе А. Ф. Писемского «Подкопы».

[5] Стр. 162. В первом действии ранней редакции драмы А. Ф. Писемского «Ваал» («Русский вестник», 1873, № 4) одна из героинь, Евгения Николаевна Трехголовова, говорит Клеопатре Сергеевне Бургмейер: «Тебе, вероятно, иногда хочется поболтать, понежничать, поминдальничать, видеть от мужа, как говорит Гончаров, голубиную ласку...» В последующих изданиях драмы Писемский по настоянию Гончарова убрал конец фразы, начиная со слова «видеть».

[6] Стр. 164. Речь идет о хлопотах Гончарова в Главном управлении по делам печати относительно пьесы А. Ф. Писемского «Подкопы».

[7] Стр. 166. См. примечание 1 на стр. 284.

С. Ф. Либрович

ИЗ КНИГИ «НА КНИЖНОМ ПОСТУ»

(Отрывки)

Печатается по изданию: С. Ф. Либрович, На книжном посту, изд. Т-ва М. О. Вольф, Пг. 1916, стр. 23—27, 29, 201—203, 235—239.

[1] Стр. 168. «Литературный «почти-клуб» или, как другие его называли, «Маврикиева каморка», — пишет в названном очерке С. Ф. Либрович, — это было крошечных размеров помещение, всего в два аршина ширины да два с половиной длины, в Гостином дворе, № 18, где в то время, в семидесятых годах, помещалось русское и французское отделение книжного магазина Маврикия Осиповича Вольфа. Помещение это, отделенное от магазина стеклянною дверью с маленьким окошком посередине, фактически служило кабинетом М. О. Вольфа. Тут он вел все свои издательские дела, тут он давал распоряжения многочисленным своим служащим, заведующим и управляющим, здесь велись переговоры с писателями и художниками, обдумывались и обсуждались планы новых изданий, и проч., и проч. По вечерам, а нередко и днем, этот чисто деловой кабинет превращался в место собрания петербургских литераторов всех рангов, всех течений и направлений...

В непринужденной, часто очень громкой и оживленной беседе здесь иногда засиживались до одного-двух часов ночи...

Как-то раз, поздно ночью, в самый разгар такого заседания, к магазину Вольфа неожиданно подкатила коляска грозного петербургского градоначальника Трепова. Войдя быстрым шагом в магазин и заметив в открытую дверь кабинета собравшихся, Трепов сказал:

— Да у вас, Маврикий Осипович, здесь почти клуб!..

С легкой руки Трепова собрания у Вольфа и получили название Литературного «почти-клуба», название, которое упрочил за ним Лесков» (С. Ф. Либрович, На книжном посту, Пг. 1916, стр. 12—14).

Посетителями «почти-клуба», постоянными и случайными, были многие петербургские литераторы 70—80-х годов, в том числе и Гончаров. Наездами его посещали И. С. Тургенев, А. Н. Островский, А. Ф. Писемский, П. И. Мельников-Печерский.

[2] Стр. 168. Роман Писемского «Мещане» публиковался в №№ 18—49 еженедельного журнала «Пчела» за 1877 год.

[3] Стр. 170. В 1875 году «Русский вестник» Каткова отказался печатать пьесу А. Ф. Писемского «Финансовый гений». Пьеса была опубликована в №№ 3 и 4 «Газеты Гатцука» за 1876 год.

[4] Стр. 171. Письма Гончарова к М. О. Вольфу неизвестны.

[5] Стр. 172. Трехтомное издание «Божественной комедии» Данте в переводе Д. Д. Минаева с иллюстрациями французского художника Г. Доре вышло в издании М. О. Вольфа в 1874—1879 годах.

[6] Стр. 172. Перевод «Дон-Жуана» Байрона, сделанный Д. Д. Минаевым, вышел в Петербурге в 1866 году.

[7] Стр. 173. Первый русский перевод первой части «Фауста» Гёте, сделанный Э. И. Губером, вышел в Петербурге в издании А. Плюшара в 1838 году.

[8] Стр. 173. Экземпляр перевода первой части «Фауста» был подарен А. Н. Струговщиковым Гончарову в 1856 году. В настоящее время этот экземпляр хранится в Ульяновской областной библиотеке «Дворец книги» им. В. И. Ленина.

[9] Стр. 174. В письме к А. А. Краевскому от 20 декабря 1868 года Гончаров в шутливом тоне писал: «А газету мне нужно! Платить я по крайней нищете моей, в качестве отставного чиновника, не могу, да и нет и не было для меня в жизни ничего гнуснее, как платить за книгу или за журнал...» («Русская старина», 1912, № 6, стр. 499).

О том, что Гончаров не любил приобретать книги, свидетельствуют неоднократные высказывания в его письмах. Так, в конце 1867 года он пишет брату: «Я никогда не собирал книг у себя»; а в 1884 году — библиофилу А. А. Журавлеву: «Я библиотеки не собираю». Однако книг у Гончарова было довольно много. Начиная с 1881 года, они были переданы им по частям в дар Карамзинской общественной библиотеке в Симбирске (ныне Ульяновская областная библиотека «Дворец книги» им. В. И. Ленина). При отсылке первой партии книг И. А Гончаров писал председателю комитета Карамзинской библиотеки А. П. Языкову 11 ноября 1881 года: «Считаю себя, как симбирский уроженец, как литератор и как член библиотеки, не вправе передать мои книги, каково бы ни было их количество, в какое-либо другое место, кроме этой библиотеки» («Красный архив», 1923, № 2, стр. 259). Всего им было передано библиотеке около 900 томов книг и журналов (см.: П. С. Бейсов, Гончаров и родной край, изд. 2-е, Куйбышев, 1960, стр. 98—115).

[10] Стр. 175. См. «Биржевые ведомости», 1912, 5 июня.

[11] Стр. 175. Это утверждение вызывает сомнение. По словам И. И. Ясинского, Гончаров в 80-х годах внимательно следил за развитием русской художественной литературы (см. наст. изд., стр. 215).

Е. А. Гончарова

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ И. А. ГОНЧАРОВЕ

Гончарова Елизавета Александровна, рожд. Уманец, — жена племянника писателя, А. Н. Гончарова.

Воспоминания написаны ею по просьбе биографа И. А. Гончарова, М. Ф. Суперанского. Они состоят из двух разрозненных и разновременных по написанию частей. Первая часть, написанная

в 1907 году, была опубликована М. Ф. Суперанским в его обработке и с некоторыми сокращениями в 1908 году в «Вестнике Европы» (№ 12), вслед за воспоминаниями о Гончарове ее мужа. Желая в какой-то мере оправдать своего мужа в глазах общественного мнения и в то же время внести ясность в его отношения с дядей, Е. А. Гончарова в юбилейный гончаровский год (1912) вновь обратилась к воспоминаниям об И. А. Гончарове, так мотивируя их написание в письме к М. Ф. Суперанскому от 28 мая 1912 года: «Мужа моего нет более в живых, он не может выяснить этих отношений, но они были тяжелы, и это не вымысел, все это пережито. Александр Николаевич был человек правдивый, честный, во многом не сходился с дядей, был, может быть, горяч в своих нападках, но явной неправды не было в его словах, и я желала бы по возможности выяснить некоторые причины раздора» (ЦГАЛИ, ф. 488, оп. 1, № 49).

Первая часть печатается по публикации в «Вестнике Европы» (1908, № 12, стр. 417—419), вторая — впервые, по рукописи, хранящейся в Центральном государственном архиве литературы и искусства в Москве (ф. 488, оп. 1, № 49).

[1] Стр. 179. После этих слов М. Ф. Суперанским было исключено в рукописи: «В темной парадной, куда он вышел проводить меня, подала мне шубу та же высокая женщина с хмурым лицом, которая подавала нам чай и сторожила его всю последнюю половину его жизни, удаляя от него родных, как мне думается, боясь сближения его с кем-либо из них. Жалкий, жалкий старик, никем не любимый, эгоист, и теперь одинокий, в беспросветной тьме доживающий свой век, не имея ничего отрадного впереди» (ЦГАЛИ, ф. 488, оп. 1, № 49). «Высокая женщина с хмурым лицом» — А. И. Трейгут, экономка И. А. Гончарова и мать детей, воспитанных И. А. Гончаровым.

[2] Стр. 180. После этих слов в рукописи следовало: «Я обыкновенно, — продолжал он, — сторонюсь от родных и родственных отношений, да вообще я не признаю их. Племянник был у меня, надумал приехать в Петербург и прямо ко мне в объятья: «Я, говорит, к вам, дядюшка, маменька прислала». Надеялся через меня попасть и туда и сюда, повидать свет, найти занятие. «Хорошо, милый друг, — успокоил я его: не хотелось мне сразу огорчить такого жизнерадостного провинциала. Но он не успокоился, все в объятья мои кидался. «А это что такое?» — спросил я его, указывая на какие-то чемоданы и узлы. «Это мои пожитки, дядюшка, я прямо к вам с вокзала». — «Так мы сейчас распорядимся». Я велел призвать старшего дворника, нашлась во дворе комнатка, куда я направил моего племянника со всеми его вещами и продуктами, наделенными его маменькой из провинции. (По словам мужа моего, это

мог быть Виктор Михайлович Кирмалов, около 1860 года.) Я его угостил обедом в Hôtel de France, куда хожу всегда обедать. Угомонился он потом, ничего стал, в объятья больше не лез, говорил разумно. Хороший вышел чиновник.

Вообще меня родные не балуют, и я их не балую, мало кого из них вижу, мало кто и помнит меня. Вот только с Александром Николаевичем больше, чем с кем-либо из родных, сошлись, помнит меня, заходит ко мне. Да, родных у меня никого нет, — по крови родные есть, да я не придаю им никакой цены. Какие это родные, что в них близкого мне? Чужие, но близкие по мысли, по чувствам могут быть мне более дорогими, чем кровные родные, — только таким родством я дорожу и высоко ценю его» (ЦГАЛИ, ф. 488, оп. 1, № 49).

Рассказанный писателем эпизод с приехавшим из Симбирска племянником действительно относится к В. М. Кирмалову, явившемуся к И. А. Гончарову 31 июля 1858 года.

[3] Стр. 181. Известны два более ранних письма И. А. Гончарова к А. Н. Гончарову, еще студенту Дерптского университета — от 16 декабря 1861 года и 16 февраля 1862 года («Новое время», илл. прилож., 1912, 16 июня).

[4] Стр. 182. По-видимому, саратовский предприниматель, у которого служил в начале 70-х годов А. Н. Гончаров.

[5] Стр. 183. И. А. Гончаров всю жизнь тяготился своим купеческим происхождением. Еще до поступления на государственную службу, 18 февраля 1835 года указом сената он был исключен из купеческого звания. В статье «Лучше поздно, чем никогда», говоря о заводчиках-предпринимателях 20—40-х годов типа Адуева-старшего, Гончаров писал: «Тайные советники мало решались на это. Чин не позволял, а звание купца не было лестно». Этим, по-видимому, объясняется и то обстоятельство, что в произведениях Гончарова мы не встречаем образов купцов, хотя сам он восторженно отзывался о творчестве А. Н. Островского.

[6] Стр. 184. Письмо к поэту В. М. Жемчужникову, директору департамента общих дел Министерства путей сообщения в 1876—1879 годах, от 12 апреля 1876 года (ЦГАЛИ, ф. 135, оп. 1, № 23).

[7] Стр. 184. К. Н. Посьету — министру путей сообщения в 1874—1878 годах.

Д. Н. Цертелев

ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ И. А. ГОНЧАРОВЕ

Цертелев Дмитрий Николаевич, князь (1852—1911) — поэт, публицист и философ. В 1890—1896 годах редактировал московский журнал «Русское обозрение». С И. А. Гончаровым познакомился

в конце 1873 года. В числе «девяти муз» (вместе с М. М. Стасюлевичем, А. Ф. Кони, А. Н. Пыпиным и др.) Д. Н. Цертелев принимал участие в чествовании Гончарова 31 декабря 1882 года по случаю пятидесятилетнего юбилея его литературной деятельности.

Печатается по тексту «Московских ведомостей», 1910, 7 июля.

[1] Стр. 187. Чествование, устроенное Гончарову друзьями М. М. Стасюлевичем и А. Ф. Кони 31 декабря 1882 года, приурочивалось к пятидесятилетнему юбилею литературной деятельности Гончарова, первое печатное произведение которого (перевод двух глав из романа Э. Сю «Атар-Гюль») появилось в «Телескопе» в 1832 году.

[2] Стр. 187. В 80-х годах Гончаров довольно часто принимал участие в литературных чтениях в Коломенской женской гимназии при Ивановском девичьем институте, в которой училась его старшая воспитанница Александра Трейгут.

С. В. Павлова

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

(Отрывок)

Павлова Серафима (Сарра) Васильевна, рожд. Корчевская (1859—1947) — жена физиолога академика И. П. Павлова.

Воспоминания относятся к 1880 году, ко времени пребывания С. В. Павловой на Высших педагогических женских курсах в Петербурге.

Печатается по публикации в «Новом мире», 1946, № 3, стр. 117—118.

[1] Стр. 189. Это утверждение не соответствует действительности. Гончаров был хорошим чтецом как своих, так и чужих произведений и неоднократно выступал с чтением и в узких кругах и публично. Популярность Гончарова-чтеца к 80-м годам была настолько велика, что в одном из писем он сообщал: «К прискорбию моему — я вынужденным нахожусь отвечать отрицательно на все делаемые мне с разных сторон предложения участвовать в литературных чтениях — кроме причины слабого здоровья, между прочим и потому, что у меня нет ничего нового для чтения» (И. А. Гончаров и И. С. Тургенев, По неизданным материалам Пушкинского дома, изд-во «Academia», Пг. 1923, стр. 97).

[2] Стр. 190. Чтение отрывка из «Литературного вечера» на вечере педагогических курсов происходило, по-видимому, осенью 1880 года. «Участие мое в кругу педагогичек, о чем вы изволите

упоминать, — писал Гончаров в октябре 1880 года А. П. Шуйской,— ограничилось прочтением нескольких страниц частным образом — и это чтение публичного характера не имело» (там же, стр. 97).

И. А. Купчинский

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ И. А. ГОНЧАРОВЕ

Купчинский Иван Александрович (1844—1917) — московский прозаик и драматург.

Впервые, в сокращенном виде, опубликовано в «Сборнике „Московской иллюстрированной газеты"», вып. 1, М. 1892, стр. 105—109. Подпись: И. К....й. С дополнениями — в «Русском обозрении», 1898, № 3, стр. 253—261. Подпись: И. К. Печатается по последней публикации.

[1] Стр. 192. В 1876 году на собрании членов московского Общества русских драматических писателей И. А. Гончаров вместе с А. Н. Майковым и А. Н. Пыпиным был избран в состав жюри по присуждению ежегодной премии за лучшее драматическое произведение. 22 марта 1876 года комитет Общества под председательством А. Н. Островского обратился к И. А. Гончарову с просьбой принять на себя обязанность судьи, на что тот ответил согласием. В 1879 году в связи с пятидесятилетием со дня смерти А. С. Грибоедова премия была названа Грибоедовской. В начале 1884 года Гончаров обратился к А. Н. Островскому с просьбой освободить его по болезни от участия в работе жюри.

[2] Стр. 192. Название пьесы И. А. Купчинского, представленной им на конкурс в 1880 году, неизвестно.

В. М. Спасская

ВСТРЕЧА С И. А. ГОНЧАРОВЫМ

Спасская Вера Михайловна (род. в 1855) — переводчица, дочь метеоролога и физика профессора Московского университета М. Ф. Спасского.

Печатается по журналу «Русская старина», 1912, № 1, стр. 96—104.

[1] Стр. 205. После смерти слуги Гончарова в 1878 году его заменила в качестве экономки вдова, оставшаяся с тремя малолетними детьми: Александрой, Еленой и Василием, к которым Гончаров привязался, полюбил и всем дал хорошее воспитание и образование. Старшая воспитанница, А. К. Трейгут (1871—1928), окончила Коломенскую гимназию при Ивановском девичьем институте, затем Высшие женские педагогические курсы и в 1891 году вышла замуж за пре-

подазателя музыки А. Д. Резвецова (1850—1918). Е. К. и В. К. Трейгут также воспитывались в закрытых учебных заведениях на средства Гончарова и закончили их после смерти писателя.

[2] Стр. 211. Персонажи комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь».

И. И. Ясинский

ИЗ КНИГИ «РОМАН МОЕЙ ЖИЗНИ»

Ясинский Иероним Иеронимович (1850—1931) — писатель и журналист; с 70-х годов — сотрудник многих демократических и либеральных изданий.

Впервые — «Исторический вестник», 1898, № 2, стр. 568—571. Вошло с дополнениями в книгу: И. И. Ясинский, Роман моей жизни. Книга воспоминаний, ГИЗ, М.—Л. 1926, стр. 143—146, 182—183. Печатается по последнему изданию.

[1] Стр. 213. Не сорокалетнего, а пятидесятилетнего литературного юбилея (см. примеч. 1 на стр. 294).

[2] Стр. 213. Карандашный рисунок собаки Гончарова Мимишки был сделан *Иваном Николаевичем* Крамским в 1873 году, во время работы над портретом Гончарова, и был подарен ее хозяину. В настоящее время этот рисунок находится в собрании Б. А. Резвецова (Москва), сына воспитанницы Гончарова А. К. Трейгут.

[3] Стр. 213. В кабинете Гончарова висели две иллюстрации художника К. А. Трутовского к роману «Обрыв», выполненные им в 1869 году, а в 1870 году подаренные автору романа.

[4] Стр. 213. В 1901—1903 годах И. И. Ясинский издавал в Петербурге литературно-художественный журнал «Ежемесячные сочинения». В № 11 за 1901 год им был опубликован отзыв И. А. Гончарова о рассказе начинающей писательницы, по-видимому Э. А. Центковской, датированный 11 апреля 1882 года, в котором Гончаров, между прочим, одобрительно отозвался о повести Максима Белинского (псевдоним И. И. Ясинского) «Всходы. Картины провинциальной жизни», опубликованной в № 3 «Отечественных записок» за 1882 год. «Из молодых начинающих писателей, — писал Гончаров, — можно, впрочем, указать на одного с явными признаками недюжинного таланта и значительного уменья писать, — это на [М. Белинского] и на его повесть, напечатанную в мартовской книжке «Отечественных записок» («Ежемесячные сочинения», 1901, № 11, стр. 187).

[5] Стр. 215. Картина А. А. Наумова «Белинский перед смертью», изображающая Некрасова и Панаева у постели больного Белинского, была написана в 1884 году. Подлинник находится в мемориальном музее-квартире Н. А. Некрасова (Ленинград).

[6] Стр. 215. Повесть Максима Белинского (И. И. Ясинского) «Бунт Ивана Ивановича» была опубликована в №№ 2 и 3 «Вестника Европы» за 1882 год.

[7] Стр. 215. Последняя встреча Ясинского с Гончаровым в редакции «Нивы» могла произойти или в конце 1887, или в начале 1888 года, когда печатались гончаровские очерки «Слуги».

[8] Стр. 216. Сведение это не соответствует действительности.

П. П. Гнедич

ИЗ «КНИГИ ЖИЗНИ»

Гнедич Петр Петрович (1855—1925) — писатель, драматург, историк искусства.

Впервые под заглавием «Последние орлы (Силуэты конца XIX века)» — «Исторический вестник», 1911, № 1, стр. 69—72. Печатается по изданию: П. П. Гнедич, Книга жизни (Воспоминания, 1855—1918), изд-во «Прибой», Л. 1929, стр. 186—190.

[1] Стр. 221. См. примечание 28 на стр. 303.

Л. Н. Витвицкий

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ И. А. ГОНЧАРОВЕ

Витвицкий Леонид Николаевич — журналист, сотрудник и затем редактор газеты «Рижский вестник».

Печатается по публикации «Рижского вестника», 1891, 18 сентября. Подпись: Л. В.

[1] Стр. 224. Сообщение о состоянии здоровья И. А. Гончарова напечатано в «Рижском вестнике», 1886, № 187, 25 августа.

В. И. Бибиков

И. А. ГОНЧАРОВ

Бибиков Виктор Иванович (1863—1892) — писатель.

Печатается по публикации в газете «День», 1890, 1 августа.

[1] Стр. 225. Эпиграф из стихотворения А. С. Пушкина «Второе послание к цензору» (1824).

[2] Стр. 225. После публикации в «Ниве» очерков «Слуги» (1888), посмертно, в 1892 году, в «Сборнике „Нивы“», № 2, был опубликован очерк «Май месяц в Петербурге» и в 1893 году (там же, № 1) очерк «Превратность судьбы».

[3] Стр. 225. «Воспоминаниями» В. И. Бибиков называет очерк «На родине» («Вестник Европы», 1888, №№ 1, 2). «Последняя воля» — это статья «Нарушение воли» («Вестник Европы», 1889, № 3).

[4] Стр. 226. См. примечание 5 на стр. 289.

[5] Стр. 228. Карандашный портрет И. А. Гончарова был сделан И. Е. Репиным 28 января 1888 года. Гравюра В. В. Матэ с портрета впервые воспроизведена в журнале «Всемирная иллюстрация» (1888, № 24). Подлинник был подарен И. Е. Репиным Гончарову и висел у него в кабинете. В настоящее время портрет находится в собрании сына воспитанницы Гончарова А. К. Трейгут — Б. А. Резвецова (Москва).

[6] Стр. 228. Чествование пятидесятилетнего юбилея литературной деятельности А. Н. Майкова состоялось 30 апреля 1888 года в Литературно-драматическом обществе. Гончаров не присутствовал на чествовании по причине плохого состояния здоровья. Поздравительное письмо его читал Я. П. Полонский.

[7] Стр. 229. Гончаров жил в доме М. М. Устинова (Моховая, № 3) в течение тридцати лет.

[8] Стр. 229. См. журнал «Новь», 1888, № 7, и в наст. изд.

[9] Стр. 229. Имеется в виду гелиогравюра Э. М. Андриолли, изображающая Веру, сидящую на берегу Волги (1876). Гелиогравюра находилась в кабинете Гончарова.

М. М. Стасюлевич

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ

Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826—1911) — историк, профессор Петербургского университета, публицист, издатель-редактор журнала «Вестник Европы». С Гончаровым знаком с начала 60-х годов, а с 1868 года — один из самых близких друзей Гончарова. Начиная с 1869 года, Гончаров был сотрудником «Вестника Европы», опубликовав в нем «Обрыв» (1869, №№ 1—5), «Мильон терзаний» (1872, № 3), «Из университетских воспоминаний» (1887, № 4), «На родине» (1888, №№ 1, 2) и «Нарушение воли» (1889, № 3).

Публикуемый очерк является некрологом Гончарова. Печатается по публикации в «Вестнике Европы», 1891, № 10, стр. 859—865. Подпись: М. С.

[1] Стр. 231. Летом 1891 года Гончаров написал три очерка: «Май месяц в Петербурге», «Превратность судьбы» и «Уха», которые были опубликованы посмертно.

[2] Стр. 232. Здесь допущены неточности в датировках: «Обломов» опубликован в 1859 году; отдельные очерки из «Фрегата „Пал-

лада"» печатались в журналах в 1855—1857 годах, полное издание вышло в 1858 году.

[3] Стр. 233. В качестве предисловия к очерку «На родине» («Вестник Европы», 1888, № 1, стр. 5—7).

[4] Стр. 234. Летом 1887 года, находясь в Усть-Нарве (Гунгербурге), Гончаров писал воспоминания «На родине» и подготавливал к печати очерки «Слуги».

А. Ф. Кони

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ

Кони Анатолий Федорович (1844—1927) — видный юрист, прогрессивный общественный деятель, литератор, член Государственного совета, почетный академик (с 1900 года). Был знаком со многими русскими писателями, особенно был близок с И. С. Тургеневым, Н. А. Некрасовым, Л. Н. Толстым, Ф. М. Достоевским, А. П. Чеховым, В. Г. Короленко. Теплые, дружеские отношения связывали Кони и с Гончаровым, начиная с середины 70-х годов и до последнего дня жизни романиста.

Воспоминания о Гончарове были прочитаны А. Ф. Кони в заседании Разряда изящной словесности Академии наук 15 апреля 1912 года, посвященном предстоящему (6 июня) столетию со дня рождения И. А. Гончарова.

Десять лет спустя в очерке «Петербург (Воспоминания старожила)» Кони снова тепло вспоминает о Гончарове как о добром и заботливом воспитателе: «Пройдя Бассейную и перейдя с Литейной в Симеоновский переулок, мы оставляем вправо Моховую улицу, которая в XVIII столетии называлась Хамовой. В конце нее, в доме № 3, поселился в 50-х годах Иван Александрович Гончаров. Часто можно было видеть знаменитого творца «Обломова» и «Обрыва», идущего медленной походкой, в обеденное время, в гостиницу «Франция» на Мойке или в редакцию «Вестника Европы» на Галерной. Иногда у него за пазухой пальто сидит любимая им собачка. Апатичное выражение лица и полузакрытые глаза пешехода могли бы дать повод думать, что он сам олицетворяет своего знаменитого героя, обратившегося в нарицательное имя. Но это не так. Под этой наружностью таится живая творческая сила, горячая, способная на самоотверженную привязанность душа, а в глазах этих по временам ярко светится глубокий ум и тонкая наблюдательность. Старый холостяк, он обитает тридцать лет в маленькой квартире нижнего этажа, окнами на двор, наполненной вещественными воспоминаниями о «Фрегате „Паллада"». В ней бывают редкие посетители,

но подчас слышится веселый говор и смех детей его умершего слуги, к которым он относится с трогательной любовью и сердечной заботливостью» (А. Ф. Кони, На жизненном пути, т. V, Л. 1929, стр. 213).

Впервые, в сокращенном виде, — «Русское слово», 1911, 23 декабря. Печатается по изданию: А. Ф. Кони, На жизненном пути, т. II, СПб. 1913, стр. 473—497.

Указания на источники цитируемых Кони отрывков из писем и статей Гончарова в примечаниях не даются, ввиду не всегда точного воспроизведения их мемуаристом, а также комбинирования им цитат сразу из нескольких источников.

[1] Стр. 239. На рисунке, изображающем Веру и Марка, имеется дарственная надпись художника: «Ивану Александровичу Гончарову слабое выражение высокого наслаждения, испытанного мною при чтении «Обрыва». К. Трутовский, 1870 год» (ИРЛИ, Литературный музей).

[2] Стр. 239. В письме к П. А. Валуеву от 6 июня 1877 года Гончаров писал о Толстом: «Он накладывает — как птицелов сеть — огромную рамку на людскую толпу, от верхнего слоя до нижнего, и ничто из того, что попадает в эту рамку, не ускользает от его взгляда, анализа и кисти» (И. А. Гончаров, Литературно-критические статьи и письма, Гослитиздат, Л. 1938, стр. 302).

[3] Стр. 240. Е. Цабелю принадлежат статьи: «Iwan Gontscharow» («Nationalzeitung», 1891, №№ 573, 585) и «Der Dichter des „Обломов"» («Neue Freie Presse», 1910, № 16 598).

[4] Стр. 241. Завершив работу над поэмой «Возрожденный Манфред», великий князь Константин Константинович рукопись послал Гончарову, который сообщил ему свой отзыв о поэме в письме от 6 марта 1885 года (ИРЛИ, ф. 137, № 65).

[5] Стр. 243. Имеется в виду публикация К. А. Военским цензорских отзывов и документов И. А. Гончарова («Русский вестник», 1906, № 10).

[6] Стр. 248. Один из рассказов И. Ф. Горбунова так и озаглавлен: «Общее собрание общества прикосновения к чужой собственности» (1883).

[7] Стр. 249. *Капитолий* — один из холмов, на которых был расположен древний Рим, центр римского религиозного культа. В капитолийском храме Юпитера, Юноны и Минервы происходили заседания сената, а на площади перед ним — народные собрания. Юго-западный, обрывистый склон холма назывался Тарпейской скалой, с которой сбрасывали преступников. В данном выражении намек на то, что от величия до падения может быть один шаг.

[8] Стр. 249. Есть все основания считать, что упрек этот в адрес автора «Обрыва» был высказан императрицей Марией Александров-

ной. Публикуя посмертно очерк Гончарова «Намерения, задачи и идеи романа „Обрыв“», издательница «Русского обозрения» М. В. Волконская в предисловии к нему писала: «Печатаемая нами ныне рукопись Ив. Ал. Гончарова была написана им для выяснения основной идеи романа «Обрыв» одной высокой особе, покровительствовавшей даровитому писателю, которая еще до прочтения романа, услышав об его содержании, сказала, что она глубоко сожалеет, что Гончаров не пощадил святые седины бабушки» («Русское обозрение», 1895, № 1, стр. 5).

[9] Стр. 250. Гончаров писал в «Необыкновенной истории» о героине романа И. С. Тургенева «Накануне»: «Героиню там зовут Еленой, и у меня в плане, вместо Веры, прежде была Елена». («Сборник Российской публичной библиотеки», т. II, Пг. 1924, стр. 30).

[10] Стр. 251. См. вступительную статью, стр. 11.

[11] Стр. 251. Пародирующий Тургенева образ писателя Кармазинова (См.: А. С. Долинин, Тургенев в «Бесах». — В книге: «Достоевский. Статьи и материалы». Сб. 2. Изд-во «Мысль», Л. 1924, стр. 117—136).

[12] Стр. 251. 27 мая 1861 года в имении А. А. Фета Степановка между Тургеневым и Толстым произошла ссора, поводом к которой явилось резкое замечание Толстого в связи с рассказом Тургенева о том, как гувернантка приучала его дочь к благотворительности. Раздраженный Тургенев ответил грубостью. С этого времени дружеские отношения между ними были прекращены — до примирения, состоявшегося весной 1878 года (подробнее см.: Н. Н. Гусев, Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год, изд-во АН СССР, М. 1957, стр. 438—445; Н. Н. Гусев, Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1870 по 1881 год, изд-во АН СССР, М. 1963, стр. 510—513).

[13] Стр. 251. Имеется в виду горестное недоумение А. Доде, выраженное им в книге «Trente ans de Paris» (1888, стр. 343—344), в связи с неодобрительными отзывами о нем Тургенева, нашедшими место в воспоминаниях о Тургеневе И. Я. Павловского (I. Pavlovsky, Souvenirs sur Tourguéneff, Paris, 1883).

[14] Стр. 251. У М. Ю. Лермонтова: «И для потехи раздували...» («Смерть поэта»).

[15] Стр. 251. И. А. Гончаров считал, что роман Б. Ауэрбаха «Дача на Рейне» является плагиатом, повторением его «Обрыва». 25 июня 1868 года он писал М. М. Стасюлевичу: «Я изъявлял сомнение, не имеет ли эта *дача на Рейне* чего-нибудь общего с *домом на Волге*» («М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. IV, СПб. 1912, стр. 29). А еще позже, в «Необыкновенной истории», Гончаров снова пишет: «Стал читать от скуки все, что попада-

лось под руки, между прочим и «Дачу на Рейне». Меня поразила эта штука. Это не что иное, как перенесенный на немецкую почву и переложенный на немецкие нравы «Обрыв»!» («Сборник Российской публичной библиотеки», т. II, Пг. 1924, стр. 70).

[16] Стр. 254. Из поэмы А. С. Пушкина «Полтава» (1829).

[17] Стр. 256. У Пушкина: «Потух огонь на алтаре» («Евгений Онегин», гл. VI, строфа XXXI).

[18] Стр. 256. Чествование пятидесятилетнего литературного юбилея И. А. Гончарова происходило 31 декабря 1882 года на квартире писателя. Присутствовали: А. Ф. Кони, М. М. Стасюлевич, А. А. Краевский, Я. П. Полонский, А. Н. Пыпин, В. Д. Спасович, Е. И. Утин и князь Д. Н. Цертелев.

[19] Стр. 257. Командиром фрегата «Паллада» был капитан И. С. Унковский. К. Н. Посьет был прикомандирован «для особых поручений» при адмирале Путятине, затем (после откомандирования из Сингапура в Петербург И. И. Бутакова) стал старшим офицером. С. С. Лесовский на «Палладе» не плавал.

[20] Стр. 257. Об этом писал И. А. Гончаров в письме к Е. П. и Н. А. Майковым из Нагасаки от 15 сентября 1853 года: «Если правда, что в Европе война, то нам придется тоже уходить на время отсюда или в Ситху, или в Калифорнию, иначе англичане, пожалуй, возьмут нас живьем. А у нас поговаривают, что живьем не отдадутся, — и если нужно, то будут биться.... до последней капли крови» («Литературное наследство», тт. 22—24, 1935, стр. 399).

[21] Стр. 258. Строка из поэмы Пушкина «Кавказский пленник».

[22] Стр. 258. Неточная цитата из «Сцены из Фауста» (1825).

[23] Стр. 258. У Пушкина: «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет» — заключительные строки поэмы «Цыганы» (1824).

[24] Стр. 259. Слуга Гончарова Карл Людвиг Трейгут умер в 1878 году. Гончаров воспитал трех его детей — Александру, Василия и Елену — и дал им образование.

[25] Стр. 259. Софья Александровна и Екатерина Александровна.

[26] Стр. 259. И. А. Гончаров отдыхал в Дуббельне в 1879—1886 в 1888 годах, в Усть-Нарве (Гунгербурге) — в 1887 году, в Павловске — в 1889 году, в Старом Петергофе — в 1890—1891 годах.

[27] Стр. 260. У Пушкина в «Цыганах»: «Млад и жив душой незлобной».

[28] Стр. 260. 27 августа 1956 года в связи с ликвидацией нового Никольского кладбища Александро-Невской лавры прах И. А. Гончарова был перенесен на Литераторские мостки Волкова кладбища и захоронен поблизости от могил Д. В. Григоровича и И. С. Тургенева.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН[1]

[1] В указатель не включены имена и названия, встречающиеся *только* в научном аппарате издания. Цифры, обозначающие страницы вступительных статей и примечаний, набраны курсивом. Страницы примечаний, на которых находятся сведения о мемуаристах, выделены жирным шрифтом.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

И. А. ГОНЧАРОВ
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

Редактор А. Бихтер

Художественный редактор Г. Курочкина

Технический редактор В. Алексеева

Корректор Э. Урицкая

Сдано в набор 6/IX 1968 г. Подписано к печати 22/I 1969 г. Тип. бум. № 1. Формат 84x108[1]/32. 10 печ. л. 16,8 усл. печ. л. 16,298 уч.-изд. л. + 1 вкл. + альбом вкл. = 17,054. Тираж 50 000 экз. Заказ № 1417. Цена 82 к. Издательство „Художественная литература" Ленинградское отделение. Ленинград, Невский пр., 28.

Ленинградская типография № 2 имени Евгении Соколовой Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР. Измайловский пр., 29.



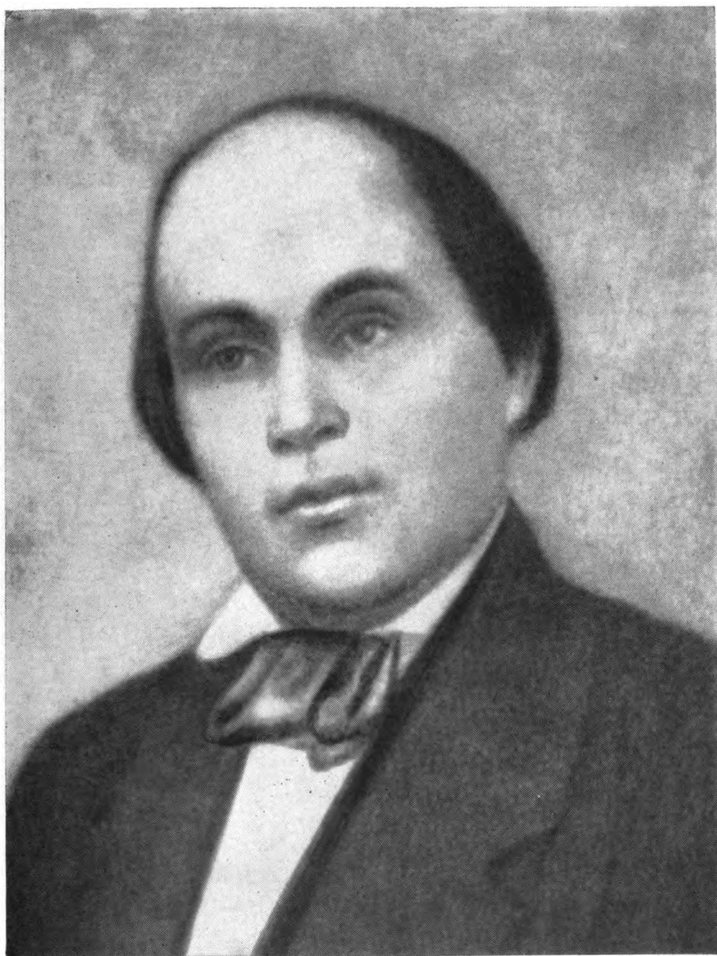
Дом, в котором родился И. А. Гончаров

Фотография



И. А. Гончаров

Портрет работы К. А. Горбунова. Конец 1840-х годов

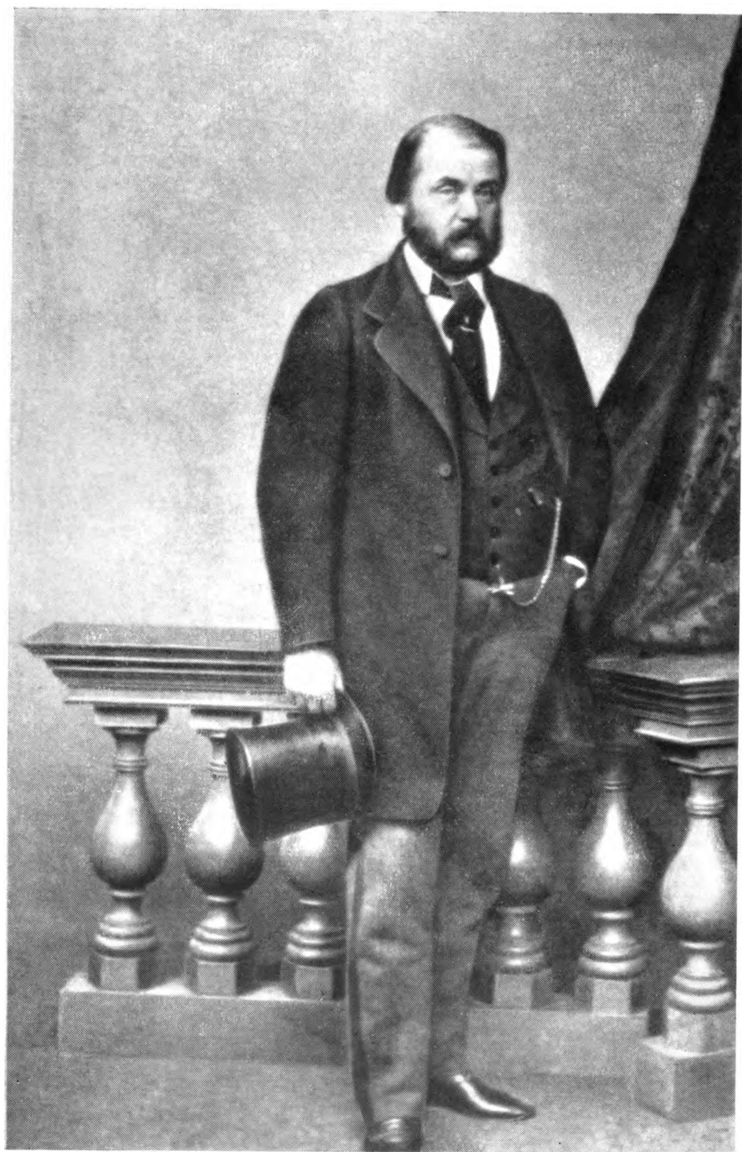


И. А. Гончаров
С дагерротипа



И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, А. В. Дружинин, А. Н. Островский,
Л. Н. Толстой, Д. В. Григорович

Фотография. 1856



И. А. Гончаров

Фотография. 1860—1861

ОБЛОМОВЪ

РОМАНЪ

ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ ЧАСТЯХЪ

Ивана Гончарова

Томъ I

Изданіе Д. Е. Кожанчикова



С.-ПЕТЕРБУРГЪ
1859

«Обломов»
Титульный лист первого издания романа. 1859



И. А. Гончаров

Портрет работы И. П. Раулова. 1868



«Обрыв»

Картина П. И. Пузыревского

ОБРЫВЪ

РОМАНЪ

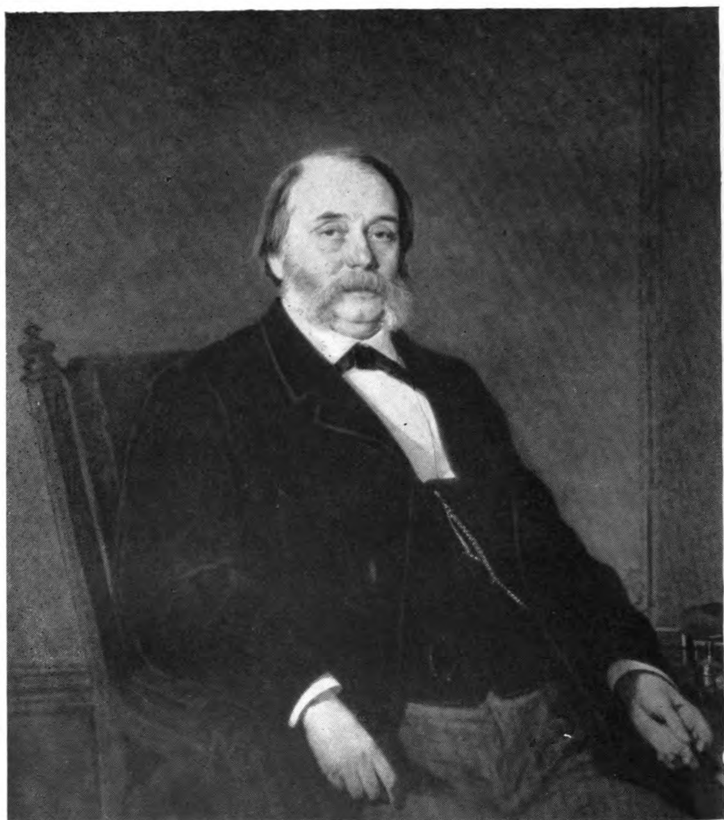
ВЪ ПЯТИ ЧАСТЯХЪ

ИВАНА ГОНЧАРОВА

ТОМЪ ПЕРВЫЙ

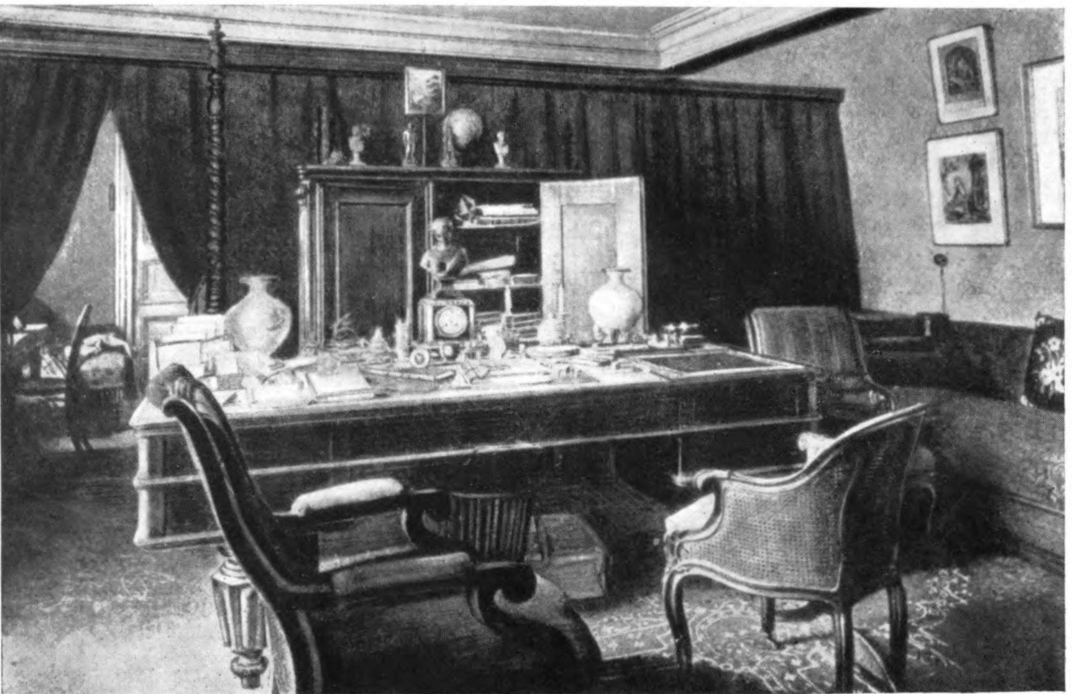
САНКТПЕТЕРБУРГЪ
ПЕЧАТАНО ВЪ ТИПОГРАФІИ МОРСКАГО МИНИСТЕРСТВА,
въ Главномъ Адмиралтействѣ
1870

«Обрыв»
Титульный лист отдельного издания. 1870



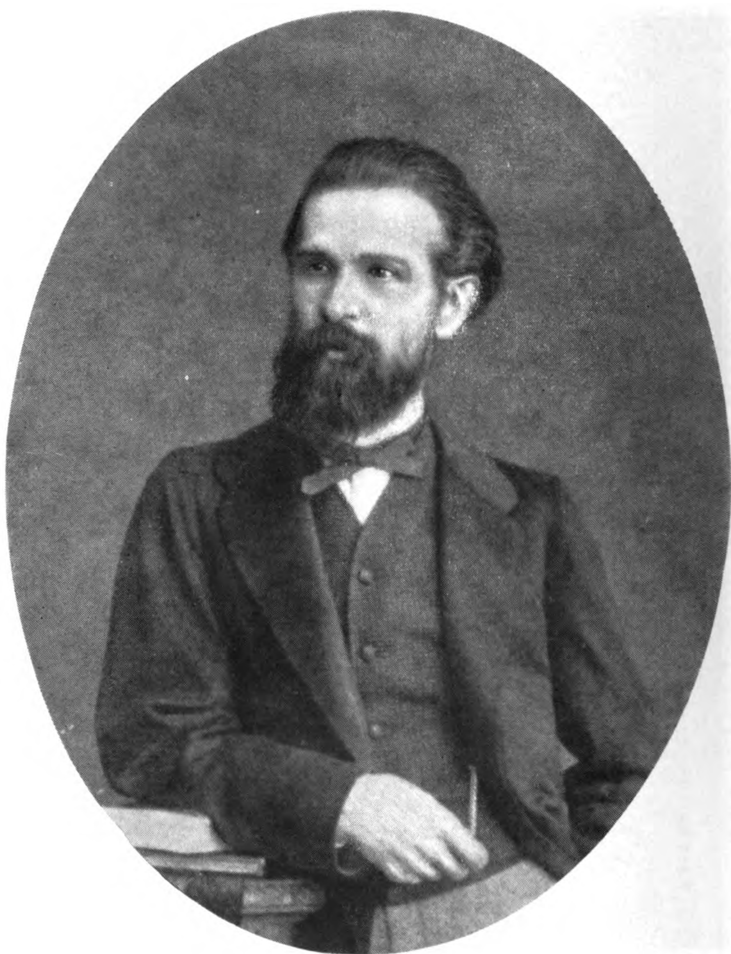
И. А. Гончаров

Портрет работы И. Н. Крамского. 1874



Кабинет И. А. Гончарова в его квартире на Моховой улице, д. 3

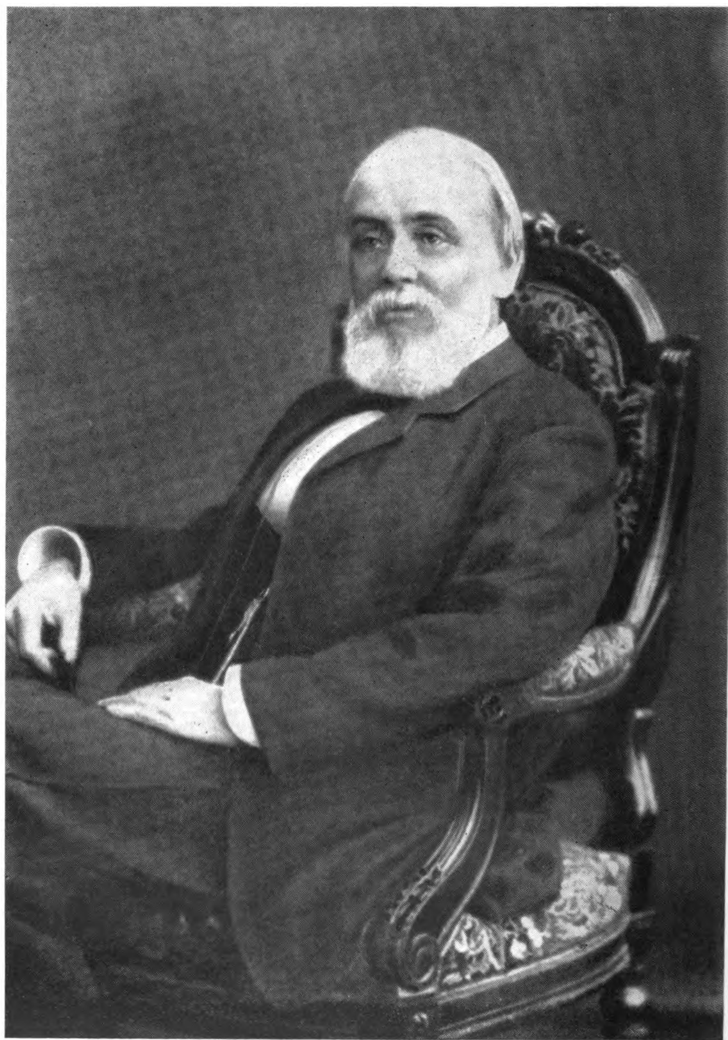
Фотография. 1885



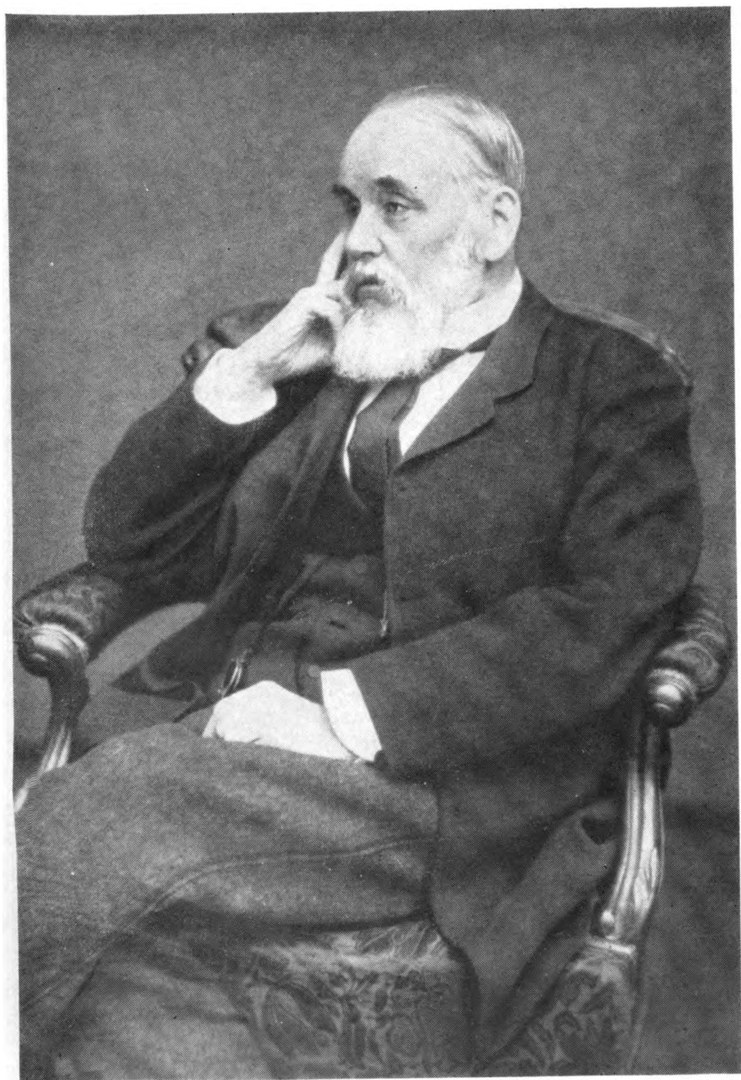
М. М. Стасюлевич, редактор «Вестника Европы»
Фотография.



А. Ф. Кони
Фотография. 1880-е годы



И. А. Гончаров
Фотография. 1884



И. А. Гончаров

Фотография. 1886



И. А. Гончаров

Гравюра В. В. Матэ с портрета работы И. Е. Репина. 1888


PG3337.G6zl13
3 2106 00159 4289